

Дора Штурман

ЗЕМЛЯ

ЗА ХОЛМОМ



Дора Штурман

**ЗЕМЛЯ
ЗА
ХОЛМОМ**

ЭРМИТАЖ

1983

Дора Штурман

ЗЕМЛЯ ЗА ХОЛМОМ

(Сборник статей)

Dora Shturman

ZEMLYA ZA KHOLMOM

("The Land Over the Hill." Collection of articles.)

Copyright © 1983 by Dora Shturman
All rights reserved

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Shturman, Dora.

Zemlià za kholmom.

1. Soviet Union--Politics and government--1953--Addresses, essays, lectures. 2. Soviet Union--Social conditions--1970--Addresses, essays, lectures. 3. Dissidents--Soviet Union--Addresses, essays, lectures. 4. Russian literature--20th century--History and criticism--Addresses, essays, lectures. 5. Authors, Russian--20th century--Addresses, essays, lectures. I. Title.

DK274.S417 1983 947.085 83-5723

ISBN 0-938920-32-4

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

Cover design by Leana Yefimov

Published by HERMITAGE

2269 Shadowood Drive,

Ann Arbor, Michigan 48104, USA

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От автора	7
"О русская земля, ты уже за холмом!.."	11
Правда и ложь	21
Советологи на карнавале детанта	44
Американец на randevу с Россией (О книге Х. Смита "Русские")	64
Стукачи и "гонг справедливости"	91
Законопослушный бунт (По поводу книги В. Буковского "И возвращается ветер")	116
"С кем вы, мастера культуры?" (О статье Г. Померанца "Сон о справедливом возмездии")	158
Блеск и нищета Александра Зиновьева	209
Мысли по поводу (О статье Андрея Синявского "Диссидентство как личный опыт")	229
В тоске по утраченным абсолютам (О статье А. Сахарова "Тревожное время")	243
Сталин и утопия коммунизма. (О брошюре В. Чалидзе "Победитель коммунизма"	147

Собранные в этой книге статьи были опубликованы в 1979—1982 гг. в русских журналах и газетах Израиля, Европы и США. Поскольку у каждого из этих изданий имеется своя, более или менее постоянная аудитория, есть надежда, что каждый читатель найдет для себя в этом сборнике что-то новое. Кроме того, при подготовке статей к печати в иные из них были внесены поправки, сокращения и дополнения (никто из нас не стоит на месте в своих воззрениях).

В статьях сборника изложены преимущественно читательские впечатления автора, возникавшие по ходу чтения свободной русской публицистики наших дней. Исключение составляют статьи о книге Х. Смита "Русские" и о современной советологии. Автор не претендует на исчерпывающий характер последней статьи. Это всего лишь отклик на некоторые доступные автору факты израильского и западного восприятия советского феномена. Естественно, что, стремясь быть по возможности объективным, автор не ушел в своих реакциях от самого себя.

Несколько слов о терминологии, принятой в этой книге. В современной неподцензурной русской печати резко усилилась тенденция переосмысления некоторых общепринятых терминов: "демократия", "социализм", "коммунизм". Возникла склонность к буквальному переводу этих терминов на русский язык: их понимают как "народовластие", "обществизм", "общинность". Понятно, что при чисто этимологическом, а не историческом восприятии этих терминов оказывается, что демократии, то есть прямого, непосредственного, сборно-вечевого народовластия как принципа общегосударственной организации, нет нигде в мире и что именовать социализмом или коммунизмом тоталитарную партократию просто нелепо.

Автор, однако, предпочитает остаться при исторически традиционном наполнении этих терминов, и вот почему. Прежде всего по причине привычности этих терминов для большинства употребляющих их людей. Множество слов во всех современных языках давно отошли от своего первичного этимологического наполнения, и никто не торопится переименовывать обозначаемые ими предметы. Рубль, например, обозначал когда-то отрубленный кусок серебра определенного веса, а теперь

это клочок гербовой бумаги совсем иного достоинства. Что с того?

За словами "западная демократия" в нашем сознании возникает не всенародное вече, а плюралистический строй, подчиненный "четкому, ясному и воспроизводимому праву" (Н. Винер), легализующий свободную конкуренцию вещественных товаров, воззрений, критериев, идей, образов и программ, допускающий к такой конкуренции все неуголовные меньшинства данного общества вплоть до отдельных лиц. Меньшинства и отдельные лица могут выдержать конкуренцию с большинством лишь в том случае, если и они найдут достаточный спрос на свои товары (в том числе — и на свои идеи, образы, программы, решения и услуги). В конечном счете бытие и будущее такого общества зависит от критериев, потребностей и вкусов ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОСА, выступающих в качестве покупателей, заказчиков, избирателей. Поэтому судьбоносное значение обретают в границах ТАКОЙ демократии свойства и вкусы каждого из совокупности лиц, образующих общество (народ, демос).

В рамках такого строя могут существовать и объединения, внутри себя организованные соборно-демократически (артели, кооперативы, кибуцы, товарищества и пр.). Не исключены и объединения, внутри себя построенные авторитарно и даже тоталитарно. Их структура будет организована так, как того пожелали их члены или добились их лидеры. Тоталитарность характерна, например, для организаций преступного мира. Авторитарность нередка в некоторых религиозных объединениях. Но внешне все эти группы конфликтно или лояльно включены в общую конкурентно-демократическую макроситуацию.

Сохраняются в рамках такого общества и некоторые линии жестко-централизованного государственного регулирования (военная, охранная, энергетическая, экологическая, национальные службы и т. д.). Но и государство подчинено "четкому, ясному и воспроизводимому" демократическому праву, отчетливо ограничивающему его полномочия, иначе это не демократия. Независимый суд должен гарантировать возможность иска "гражданин против государства" в случае выхода государства из границ Права.

Главной опасностью для существования демократии, которая в этой книге называется конкурентной, являются постоянно присутствующие внутри нее и очень усилившиеся в последние десятилетия, с одной стороны, тенденции монополизма (разных этиологий) и централизма, а с другой — не-

желание или неумение поставить разумные пределы свободе асоциальных объединений и лиц. Конкурентная демократия — трудная динамическая система, требующая от общества и его депутатов в правительстве непрерывных забот о ее сохранении. Иначе она немедленно начинает двигаться либо к хаосу, либо к централистской стагнации. Но ничего лучшего и *при этом реального* ни теоретики, ни практика, насколько я знаю, человечеству еще не предложили.

Какие доводы, кроме привычки, позволяют сохранить за тоталитарной партократией названия "социализма" или "коммунизма"?

Прежде всего тот исторический факт, что советское новобразование и его метастазы имеют в качестве своего идеологического, политического и структурного первоисточника учение Маркса о построении коммунистического (в первой фазе своей социалистического) общества. Почему первичная этимология данных НАЗВАНИЙ должна играть в этом случае большую роль, чем генеалогия самого ПРЕДМЕТА, обозначенного этим названием?

Кроме того, все попытки осуществить в масштабах современного государства учение Маркса о диктатуре пролетариата и построении коммунизма С НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ приводят к созданию тоталитарной партократической диктатуры. Это наглядно подтверждается не только опытом, но и всеми вдумчивыми попытками произвести такую операцию НА БУМАГЕ — в идеальных условиях. Имеется поэтому достаточно оснований не отказываться от привычных названий только из-за того, что, стремясь к хорошему результату, связанному со словами "общество" (социум) и "община" (коммуна), мы НЕОТВРАТИМО получаем плохой результат, с этими словами сопряженный лишь антагонистически.

Автор стремился избежать в своих размышлениях реактивных суждений, скорее эмоциональных, чем рациональных. Пусть читатель судит, в какой мере этого удалось достичь. Реактивность мысли — это ее маятниковая раскачка из крайности в крайность, из апогея в апогей, от стены к стене, от одного максималистского абсолюта к другому, тоже максималистскому, абсолюту. Могучие социалистические иллюзии начала века сменились яростным отталкиванием изживших эти иллюзии умов не только от социализма-коммунизма, но и от либерализма, космополитизма, демократичности и гуманности, а с другой стороны — от активно-преобразовательного отношения к миру, которые представляются теперь их критикам лишь почвой, вскормившей партократических

монстров XX века. Между тем либеральная, демократическая и реформаторская мысль XIX века принесла нам немало неотменимых ценностей. Может быть, нам следует научиться отделять эпохальные заблуждения мысли от ее завоеваний, не становясь при этом ни конформистами, ни нонконформистами? Ибо и в первом и во втором качестве мы в равной мере, хотя и с обратными знаками, становимся пленниками чужих концепций...

За 2/3 века свободная русская мысль в эмиграции, в Самиздате и в Тамиздате накопила огромный фактографический и аналитический материал о теории и практике социализма-коммунизма. Автор будет счастлив, если окажется, что ему удалось добавить к этому материалу хотя бы крупицу.

Как бы ни называли мы переезд из страны, где родились, выросли, созрели, а иногда и состарились, в другую, иноязычную и инокультурную, страну: эмиграцией, бегством, изгнанием, репатриацией или восхождением, как бы мы этот переезд ни понимали и ни толковали, — это все равно ЭМИГРАЦИЯ.

Эмиграция — шаг болезненный и мучительный, как пересадка взрослого растения с развитой корневой системой. Даже тогда, когда новая почва тучнее старой, когда она по всем показателям должна быть для растения более подходящей. Даже при собственном его, ”растения” (например, искреннего сиониста или немца, предки которого приехали в Россию при Екатерине II, а то и при Ленине-Сталине), убеждении, что новая почва лучше, а старая — это вообще не его почва. Даже в том случае, когда сама почва убеждена, что пересаживаемое растение ей не нужно, и спешит его исторгнуть и выбросить, как бурьян: пусть засыхает. Даже тогда эмиграция мучительно тяжела для существа с развитой корневой системой (в культурном, языковом, эмоциональном и прочих человекообразующих отношениях).

Душевное здоровье — это, мне кажется, основное условие наименее катастрофического вживания иммигранта в новую почву. Одновременно оно же (душевное здоровье) — наиболее дефицитное из свойств людей XX века, имеющих развитые человекообразующие признаки.

Кроме того, вживание в новую почву — каторжный повседневный труд, не для всех посильный. Способности без трудоспособности вообще не включают в себе существенной ценности. В условиях же эмиграции одаренность без очень высокой трудоспособности превращается в отрицательный фактор: способности порождают рост претензий к новому положению, а недостаточная трудоспособность не позволяет занять хотя бы привычное положение — такое, как то, что оставлено позади.

Если бы статья моя была хоть в какой-то мере письмом в Союз, я бы заметила (для начала), что эмиграция (из любых побуждений) требует неотвратимых стимулов (за спиной или впереди, а еще лучше — и за спиной, и впереди), душевных сил и готовности к напряженнейшему труду, привычному и непривычному.

Я не сомневаюсь в том, что, сопоставив заголовок моей статьи с моей фамилией, одни читатели взорвутся вопросом: "О, бедная Русская земля! Когда же ОНИ, наконец, оставят ее в покое?!"

Другие, напротив, страдальчески воскликнут: "Когда же, наконец, МЫ обретем чувство собственного достоинства и перестанем лезть в ИХ дела?!"

Но что же делать, если автор, подобно миллионам других своих современников, существо МНОГОПРИНАДЛЕЖНОЕ? И никто не властен этого отменить, даже он сам. Попытки по собственному решению отменить в себе эту многопринадлежность мы наблюдаем вокруг себя постоянно, и чаще всего они неудачны.

Итак, в "пятом пункте" как советской, так и принятой в некоторых оппозиционно-эмигрантских кругах анкеты автор уверенной рукой выводит роковое "да".

Со своей и своих друзей большими (смешанными, как ни странно) семьями он решил жить и работать в маленьком осажденном Израиле, делу которого верит и задачу коего (создать национальный очаг для всех, пишущих в "пятом пункте" разнообразных анкет "да") считает необходимой, достойной и разрешимой честными средствами.

И тем не менее у автора в сердце звучит постоянно и горестно: "О Русская земля, ты уже за холмом!..."

"За бугром" — как говорили и говорят в России о нынешних наших местопребываниях, мой читатель. И ни "филам", ни "фобам", ни даже "фагам" самых разнообразных происхождений и ориентаций не перечеркнуть этой органической многопринадлежности. В том числе и ни одной из почв — ни старой, ни новой — не исторгнуть из себя корней этих разнопринадлежащих особей. Ведь почву образуют ВСЕ корни, когда-либо жившие в ее пластах, и все останки, в ней захороненные: новейшие и древние, желанные и нежеланные.

Помимо всего прочего, автор еще и экземпляр общего для Земли вида *Homo Sapiens*, — словно мало было для тяжести его положения параметров, перечисленных выше. Не будучи биологом, я не знаю, кто дал виду *Homo* определение *Sapiens* и чем поплатился за высокомерное легкомыслие этого определения. Но название обязывает не меньше, чем положение, и потому, вероятно, мы так много умствуем, устно и письменно...

Сказанное мною должно оправдать ту настойчивость, с которой, по моему глубокому убеждению, житель каждой точки нашей маленькой, но горячей планеты имеет право и

основание обсуждать любые ее проблемы: планета одна; вид — один; любая индивидуальность — МНОГОПРИНАДЛЕЖАЩА. Кроме того, транспорт все более быстроходен, а вооружение дальнобойно. Исходя из этого, позволю себе высказать несколько наблюдений весьма малоопытного эмигранта (два года не срок)¹ над нашим мировым эмигрантским лагерем и некоторые соображения, связанные с этими наблюдениями. Наблюдения эти отнюдь не исчерпывающи и на точность, а также на научную строгость, не претендуют. Они субъективны, как лирическое стихотворение, и автор просит расценивать этот очерк лишь как реплику в диалоге.

Здесь, в Израиле (речь идет о количественно не очень большом, но активном и качественно весомом круге), весьма существенно осложняет вживание в новую почву явление, которое я условно назову синдромом лидерства. Этот комплекс присущ, мне кажется, чаще всего достаточно ярким личностям, энергичным людям, которые в пору своей борьбы за выезд из СССР вдохновляли и возглавляли группы то ли друзей, то ли единомышленников, то ли просто людей одного пути, одной судьбы. В израильском русском журнале "22", в одном из первых номеров этого года, В. Богуславский с блестящей и грустной иронией объяснил, почему Моисей не вошел в Ханаанскую землю, а покинул народ свой на ее пороге: он исчерпал свою миссию.

Если лидерство человека определялось задачей, которая теперь уже решена им, или ситуацией, которая снята самим фактом его победы, если человек богат и силен качествами, весьма исключительными и существенными в той, старой ситуации, но ненужными в новой, — ЧТО ЕМУ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? Вероятно, стать равным среди равных в рядах вчерашних "ведомых" и учиться с азав новой для всех жизни. Научись раньше и лучше других — опять станешь лидером, если последнее так уж для тебя существенно. Для многих это оказалось настолько существенным, что непосильным стал даже минимальный интервал необходимой учебы: языку, основам нового общежития, требованиям нового способа существования. Какое-то время жилось за счет накоплений (моральных и социальных) вчерашнего лидерства: интервью, разъезды, форумы, воспоминания, хлопоты о выезде еще не выпущенных... А потом? Пришел момент, когда все-таки необходимо стало начинать разбивать шатры, рыть колодцы, осваивать пастбища, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В С Е (цитирую в пересказе В. Богу-

¹ Статья писалась в 1979 году.

славского). Некоторым из вчерашних лидеров ИСХОДА, КОТОРЫЙ КОНЧИЛСЯ, ИБО ПРИШЛИ НА МЕСТО, это "КАК ВСЕ" оказалось вполне под силу. И они — по личной своей одаренности стали решать свои и общие задачи лучше и быстрее других и тем восстановили свое привычное, хотя и видоизмененное, положение в старом или в каком-то новом кругу. Но иные этого обидного и непереносимого для них "КАК ВСЕ" так и не осилили. И рухнули в тяжкую бытовую или психологическую (а то и в обе одновременно) прострацию. Даже для тех, кто ехал не потому, что решительно не мог жить в Союзе, а потому, что рвался в Израиль, то есть уходил "ТУДА", а не "ОТТУДА", это неизбежное безвестное напряжение ученичества при глубоко въевшемся синдроме лидерства оказалось тяжким, а иногда — невозможным. *Отчасти* отсюда — горькие жалобы на несовершенство нового мира, на неблагодарность и непонимание окружающих, на... Разумеется, лишь отчасти, ибо несовершенств и непонимания и в самом деле хватает.

В том, как трудно остаться лидером при переходе, именуемом пусть не эмиграцией, а возвращением, репатриацией, сказала, мне кажется, одна из особенностей, притом весьма распространенная, оппозиционного лидерства в тоталитарной стране. В безнациональном СССР выйти на улицу и сказать: "Эй, вы, слышите, Я — ЕВРЕЙ!" — это подвиг. Это уже акция, действие. Там ЛЮБУЮ национальную принадлежность, ВКЛЮЧАЯ РУССКУЮ, опасно акцентировать В УЩЕРБ "СОВЕТСКОМУ ПАТРИОТИЗМУ" (государственно-системно-идеологической, а не национальной гордости, преданности и верности).

Во укрепление и восхваление такового — пожалуйста; в противовес — ни в коем случае. Что же тогда говорить о сепаратизме или стремлении выехать в страну, которую считаешь более близкой себе, чем СССР? Для еврея же декларирование своей национальности сопряжено с дополнительным (как бы помягче выразиться?) социальным дискомфортом. Это справедливо и для более свободных стран, чем СССР (иногда). Многие на это решаются там, в СССР. Естественно, что такая решимость увеличивает и самоуважение, и уважение со стороны окружающих. В Израиле же на подобную декларацию ("Я — еврей!") вам удивленно ответит любой старожил или абориген: "Аз ма? Куляну йегудим". Или: "Ну, и что? Все мы евреи". И недавняя героическая акция обретет юмористический оттенок. Согласитесь, что это неприятно. И особенно неприятно, если, кроме этого "Я — еврей!", сказать ПОКА ЧТО по сути и нечего.

Я понимаю, что мои размышления кажутся европейскому или заокеанскому эмигранту, да еще нееврею, безынтересными. Но не будем спешить. ЛЮБОЕ советское оппозиционное лидерство (прошу не сразу тезис мой отвергать) УПРОЩЕНО тем, что в СССР всякий человек с нормальным инстинктом самосохранения обычно держит язык за зубами. Там каждый, кто существенно смелей окружающих, кто громче и чаще, чем они, выражает даже весьма распространенные, но не высказываемые другими мысли, — **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО И БЕЗ КАВЫЧЕК ГЕРОЙ**. Я не говорю уже о тех, у кого и мысли нетривиальные. Таких везде мало. Далее: содержание высказываний смелого человека в СССР как правило бывает негативным. Там иначе и быть не может. ТАМ нас более всего поражает смелость ругать давящую на всех силу.

Свобода для нас, покинувших СССР, устойчиво ассоциируется прежде всего с отказом, с несогласием, с решимостью "все перестроить", с так долго нам до этого недоступным гласным СПОРОМ. Конструктивность позиции для жителей мира, воспринимаемого ими в первую очередь как тюрьма, есть нечто пока еще необязательное, маячащее где-то там, впереди, в далеком "после победы". Не будем здесь говорить о вещах, доказанных горчайшими опытами истории: ни один разрушительный шаг не имеет смысла и оправдания вне четкой РЕАЛЬНОЙ положительной антитезы. Отметим лишь следующее: в новом нашем окружении крикунов, протестантов, отрицателей, разрушителей, несогласителей и без нас — хоть отбавляй. Мне приходилось уже не раз слышать, что и в этом мире (в Израиле и вне его) свободы слова нет: одни не могут найти себе издателя, другие — средств для издания своих работ; третьи, издав их, встречают равнодушие или антипатию, не раскупаются или дружно обруганы критикой и публикой; четвертые будто бы подвергаются законспирированным карательным санкциям: их не берут на государственную работу и пр. Все это, возможно, и так (судить о том еще не могу). И вместе с тем в мировом океане демократической печати всех родов и жанров бушует океан САМОосуждения, САМОобвинения, САМОобличения ДЕМОКРАТИИ — демократических правительств, лидеров, институтов, общества и т. п. Израиль в этом смысле отнюдь не исключение. Перешагнув границу между отсутствием гражданских свобод и наличием таковых, то есть добившись того, за что он столетиями боролся, демократический мир словно бы не заметил, что достиг цели своей борьбы. Теперь, казалось бы, надобно ему не дальнейшее раскрепощение (ОТ ЧЕГО?), а самоочищение, самоисправление,

самоукрепление, самооборона. Нынешняя демократия в полном объеме всех ее рынков удовлетворяет не что иное, как запросы всех своих сочленов. Любые запросы: от высоких до самых низменных. Возникла настоятельная необходимость **СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СПРОС**. Демократия же продолжает бороться за увеличение своих свобод, т. е. действовать в пользу полной своей дестабилизации и небороноспособности.

Нас в этом многоголосии, еще, по-видимому, не нащупавшем золотой середины между свободой слова и внутренней ответственностью за свои слова, и не слышно. Мудрено ли, что весь пыл отрицаний, несогласия, разрушения, который и мы воспринимаем как самую суть свободы, мы обращаем друг против друга? Ведь мы на первых порах единственные реальные собеседники друг для друга в новой жизни. Не потому ли политические эмигранты (современность показала, что и те, кто считают себя не эмигрантами, а репатриантами) всегда так неистово спорят друг с другом? А за спиной у нас не только общественное безмолвие, но и привычные, незабвенные, многочасовые комнатные дискуссии, составляющие хлеб и воздух души.

Но допустим, что новый язык освоен, и мы заговорили со своим новым окружением лексически полноценно, тем самым весьма расширив для себя поле общения. В Союзе в качестве "выигрыша", "очка" засчитывается уже одно только невосхваление того, что "сверху" велят хвалить, умолчание о том, о чем ритуалом положено упоминать, намеки, которые можно толковать весьма широко, в том числе и крамольно... Интонация — и та засчитывается как нравственная победа над господствующим раболепием. Иными словами, когда **ВСЕ МОЛЧАТ**, уже только один намек на то, о **ЧЕМ ВСЕ МОЛЧАТ**, делает человека личностью выдающейся. Но когда **ВСЕ** могут говорить **ОБО ВСЕМ**, критерий отбора меняется. Чтобы стать лидером, надо либо говорить о том, о чем думает какое-то множество, но **ТАК ГОВОРИТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕГОВОРИТЬ МНОГИХ ДРУГИХ** (ибо говорить-то никому не заказано); либо сообщать (и умело, хорошо сообщать) **НЕТРИВИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ**. Да еще **ЗАСТАВИТЬ КАК-ТО СЕБЯ УСЛЫШАТЬ**, что в этом наперебой галдящем, "безумном, безумном, безумном, безумном мире" отнюдь не просто!

Я знаю, что мое последующее рассуждение покажется многим ошибочным, но рискну его изложить. Честолюбие часто рассматривается как положительный компонент политической, или научной, или творческой, или производственной и т. п. деятельности. Положительный, потому что стимулирую-

ет соревновательную активность. Иногда честолюбие оценивается как неизбежный и обязательный элемент всякой общественной деятельности. По всей вероятности, честолюбие в качестве стимула деятельности хорошо (или терпимо?) в меру: до тех пор, пока оно не начинает заслонять смысл самого дела и не приводит к неразборчивости в средствах. Но, мне кажется, честолюбие всегда **ОСЛОЖНЯЕТ** наши задачи: одно дело — быть до конца поглощенным смыслом самой работы, другое — думать (постоянно? Еще и? Более всего?..), работая, о том, как ты выглядишь со стороны за этим занятием, обеспечен ли лстящий твоему честолюбию "обгон" соперников на данной дистанции, что следует делать, дабы его обеспечить. Поэтому, будь заметка моя (повторяю) хоть немного письмом в Союз, я бы посоветовала потенциальным эмигрантам и репатриантам загодя справиться с инфантилизмом обостренного честолюбия. Или, на худой конец, загнать его в себе куда-то поглубже, подальше — до лучших времен, чтобы его не чувствовать излишне остро, чтобы оно не болело. Иначе, если подростковая тщеславность не изжита в нас, как ей и положено, с наступлением зрелости, она угрожает, говоря фигурально, каждому из нас своей внутренней Святой Еленой. ТАМ у нас всегда, в случае наших неудач, наготове было справедливое (чаще) или несправедливое (реже) объяснение: "Не дают", "Не пускают", "Невозможно"!.. "Не дают" самолюбию куда легче перенести, чем "не получается". От последнего наша гордость страдает горше. Нам и ЗДЕСЬ порой куда легче думать, что НЕ ДАЮТ, чем что НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. И напрасно: причины нынешнего "не получается" (или "получается медленно", "плохо", "не сразу") так же объективны, как и причины прежнего утешительного "не дают". Здесь перед нами гигантский труд "пересадки", вживания, переучивания. Здесь, будь мы и семи пядей во лбу, "сразу" получиться не может. Не из-за злонамеренности среды (восприятие, подсказанное нам нашим советским манихейским комплексом), а из-за ее инокачественности для нас.

Есть у нас, на мой взгляд, и еще одна общая слабость. Мы не ощутили, перешагнув границу, что демократические страны, в которые мы попали (включая Израиль), — это и есть общественная реальность, альтернативная в своих определяющих системных чертах ненавистой нам диктатуре. Нас так долго учили служить Исчерпывающей Непогрешимой Единственно Верной Идее, которая должна привести нас к Идеальной Действительности, что и противопоставить ей мы стремимся нечто во что бы то ни стало Всеобъемлющее, Исчерпывающее и Иде-

альное — как в теории, так и на практике (каждый из нас — со своей точки зрения, разумеется). И если уже приходим от отрицания того, что у нас за спиной, к тому, что модно сейчас называть "конструктом", то желаем, чтобы это был "конструкт" не менее всеобъемлющий и категорический, чем отвергнутый. Нечто неидеальное, но лучшее, чем отвергнутое, вполне терпимое, а главное — способное улучшаться, нас устраивает. Нам нужен всеобъемлющий "антиабсолют". Это вынуждает нас, отталкиваясь от одной глухой стены, лететь к противоположной стене же. Маятниковый принцип мышления — принцип метаний из крайности в крайность — проносит нас мимо самых ценных зон мысли и чувствования. Он порождает в нас взаимную нетерпимость и не дает нам противопоставить отвергнутому тоталитаризму плюралистическое единство. Практически, на менее отвлеченных (жизненных и деловых) уровнях это наше свойство в сочетании с другими конкретными и отвлеченными причинами тоже ведет нас к состоянию перманентной эмигрантской внутренней битвы. А ведь для россиян выработка парламентских способов взаимоотношений разномыслящих лиц и групп особенно важна. Для демократических стран Запада парламентаризм есть функция их естественного социально-экономического развития. Всякий, кто мало-мальски непредвзято занимался русской историей, знает, что в России 1860-х—1917-го гг. парламентаризм тоже складывался, медленно, с поражениями и победами, с наступлениями и отходами, но В ОБЩЕМ — он развивался, вращался в государственный и общественный быт, набирал силу и устойчивость. Социализм более всего страшен тем, что по ряду конкретных и общих причин, о которых здесь говорить невозможно, он прерывает историческое существование и развитие государственного организма и заменяет его произволом парткратического "псевдобога", во зле — всемогущего, в добре — беспомощного. Но ведь коль скоро в социалистических странах естественное развитие общества ПЕРВАНО, ОСТАНОВЛЕНО, то и демократия как структура уже не сложится в них с той высокой мерой эволюционности, постепенности, стихийности, с какой она складывалась в Западной Европе или в той же России! Я хочу быть понятой верно: и там были политические движения, литературная борьба, восстания, революции. Но они возникали, как волны, над глубинными изменениями образа жизни, миропонимания, способов добывания хлеба насущного, толкований хлеба духовного. В условиях социализма вся небывалая мощь государственной монопартократии направлена на консервацию

существующего порядка, на уничтожение в зародыше возможностей эволюции. Такому целенаправленному самосохранительному движению бессознательно противостоять нельзя. Не является ли сейчас одной из неотложнейших задач оппозиционной и эмигрантской России сознательное, практическое освоение в общем литературном быту парламентских форм взаимоотношений? Ведь иначе, как СОЗНАТЕЛЬНО, нам плюрализма не восстановить, не овладеть его техникой и содержанием. Можно бы даже эстетизировать его нынешние гладиаторские приемы, которые мы наблюдаем по телевизору, — ведь у нас есть, к сожалению, для этого время. Нам скорый созыв Учредительного собрания в Москве не угрожает.

И опять — ощущение двухсторонней неприязни со стороны апостолов двух миропониманий из-за неуместного "нам" в устах израильянки. Но дело не только в той многопринадлежности, о которой сказано в начале этой статьи. Дело еще и в том, что Россия страной однопациональной никогда не станет. И даже евреи и немцы, которым есть куда уезжать, уезжают не все, а лишь в некой своей части. Реальность состоит не только в том, что человечество делится на народы и что народу нужен национальный дом, но и в том, что евреи (к примеру) живут в России лет четыреста, если не больше, и что как россияне они "старше" очень многих других российских народностей. Короткий опыт жизни в многонациональном и разноверном ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ государстве, даже таком осложненном и молодом, как Израиль, убеждает, что жить, не мешая друг другу и не уничтожая друг друга, а, напротив, сотрудничая, силы разнородные, чуждые и даже друг другу не симпатичные могут только в демократических обстоятельствах. Мое "нам" естественно для меня и потому, что в моем российском прошлом друзья не спрашивали милого им человека о национальности и не по национальному признаку от неприятного человека отвращались. Я дружила, роднилась и сближалась только с такими людьми, для которых личностный подход к человеку превыше всего.

Как там, так и здесь общество состоит отнюдь не только из таких людей. Там же и государство всей своей мощью препятствует такому подходу людей друг к другу, чего здесь нет. Но Демократическая Россия сумеет справиться с историческим фактом своей многонациональности, а демократический Союз республик предоставит своим сочленам свободный выбор. Думаю, что не все республики ТАКОЙ союз разорвали бы. Как же в любых групповых взаимоотношениях найти в себе силы и умение перестать быть отпечатком давящей силы, которая

порождает оппозицию как РЕ-акцию на свой гнет? Много раз писалось, что тоталитарные партии суть туго свернутые эмбрионы завтрашнего партократического государства, готовые в любой подходящий момент молниеносно в него развернуться. Не могут ли оппозиции и эмиграции стать неким оперативным и прагматичным прототипом парламента, более счастливого, чем российские Думы и Учредительное собрание?

Вполне возможно, что призраки тоталитарного экстремизма, которые мне то и дело чудятся во взаимоотношениях лиц и групп, — это только плоды моего расстроенного воображения: пуганая ворона куста боится. Во всем том, что здесь сказано, куда меньше "ума холодных наблюдений", чем "сердца горестных замет", накопившихся в течение двухлетнего срока, о котором упомянуто выше.

"22" Москва – Иерусалим" №8, 1979. Тель-Авив.

ПРАВДА И ЛОЖЬ

1. "КОГДА Я ВЫРАСТУ..."

Один мой не очень юный друг, мечтая о времени, когда перед ним откроются жизненно необходимые ему возможности, по сей день говорит с горьковатым юмором: "Когда я вырасту..."

Мне же при воспоминании о нашем доэмигрантском отношении к печатному (и тем более — к свободному) Слову, хочется написать: "Когда мы были маленькими..."

Ибо мы действительно были очень наивными, пока не столкнулись с беспомощностью раскрепощенного Слова.

Люди с кляпом во рту думают лишь о том, чтобы выплюнуть кляп. Когда во рту кляп, кажется, что достаточно произнести свои мысли вслух — и мир замрет, потрясенный их правдой. Но вот выплюнут кляп, и покончено с нервной лихорадкой из-за нескольких рукописей, пущенных в подземные ручейки Самиздата.

Когда мы были маленькими, мы думали, что правдивые книги способны поставить мир с головы на ноги. Но и правдивейшие из книг не ставят человечество с головы на ноги потому, что у людей нет Единого Мирового Уха, которое впивало бы все к нему обращенное. Люди разделены. Каждый из нас обладает отдельным слухом. А тем, кто пишет самые лучшие книги, мешает увидеть свою беспомощность утешительная иллюзия единого мирового слуха. Чувствуя за весь мир, говоря для всего мира, честная мысль (дадим ей условное имя Правда) ограничивается самовыражением и надеждой, что мировой слух ее уловит, что мировой разум ее поймет, что мировая душа на нее отзовется.

Но жизнь устроена так, что никто не может ничего услышать и понять за другого. Один может говорить за всех или для всех, но услышать, понять, впитать услышанное может только каждый сам за себя.

В отличие от простодушной Правды корыстная Ложь никогда не забывает об отсутствии благодарно настроенного Мирового Уха. Ложь всегда озабочена технологией, техникой и ресурсами для своего внедрения в ряд конкретных сознаний и душ. Она не полагается на случайных слушателей с их пассивностью и ленью мысли. Она вползает в мозг получате-

ля, вьет в нем гнездо, осваивает и перестраивает его нужным ей образом.

В XX веке Ложь, управляющая поведением миллиардов людей, обрела планетарные масштабы и вооружилась всемогущей технологией, техникой и ресурсами своего внедрения в управляемое сознание.

Правда же осталась такой, как была: полагающей, что каждый волен услышать ее и за ней последовать. "Когда я вырасту, — говорит Правда, — я изыщу — с миру по нитке — большие деньжищи, соберу правдоискателей и открывателей и научусь находить дорогу ко всем, кого я хочу приобщить к себе".

Но Правда может и не вырасти: не все дети становятся взрослыми, некоторые до этого не доживают.

Не заботясь всерьез об адресате, беспечная Правда не заботится и о том, в каком языковом и понятийном оформлении адресат способен ее воспринять. Между тем учителя и ученые, пишущие о науке для широкого круга читателей-неспециалистов, знают: нет мысли настолько сложной, чтобы ее нельзя было изложить доступно. И еще: ни одна самая верная мысль не становится личным достоянием слушателя, читателя, зрителя, если ее освоение не затрагивает их чувств. Чувство же затрагивается лишь тогда, когда мысль говорящего пересекается с личным опытом и личными интересами слушателя.

2. ОДНОСТОРОННЯЯ БИТВА

Незадолго до смерти Владимир Высоцкий спел горькую песню о Правде и Лжи, где в качестве вывода прозвучал трагический предрассудок: "Чистая Правда когда-нибудь восторжествует, Если проделает то же, что явная Ложь".

Кому охота пачкать себя тем, чем не брезгует только грязная Ложь?

В действительности же, то, что должна совершить Правда во спасение человечества от тенет Лжи, *противоположно* по смыслу и *этике* тому, что делает Ложь. Ложь пропагандирует *ложь*, а Правда может пропагандировать *правду*, при этом проверенную на опыте. Не изменяя этому своему преимуществу, Правда никогда на одну доску с Ложью не станет.

Правда согласуется с экспериментом и может выдержать фундаментальную проверку и критику. В той области, о кото-

рой мы говорим, она не берет на себя обязательств, противоречащих законам Природы (в том числе — человеческой природы). Она не обещает ни гармонического, ни всемогущего, ни идеально-справедливого общества. Она отстаивает возможность нормального существования — возможность удовлетворительной амортизации социальных эксцессов и кризисов, возможность *улучшения* человеческой жизни, возможность такой борьбы человека за свои интересы, которая не грозила бы гибелью ни другим людям, ни ему самому.

Ложь может *завоевать мир, но не осчастливить*. Завоевав мир, она убьет его.

Мимоходом замечу, что Ложь не бывает "явной": у явной Лжи слишком короткие ноги для того, чтобы она могла выполнить свои задачи. Сделать *правдоподобную Ложь явной* — для тех, кому адресована Ложь, — в этом и состоит задача поборников Правды. Разоблаченная Ложь — это уже не Ложь, а сорванное с нее тряпье и *Правда о Лжи*. Сказано ведь в той же песне Высоцкого: "Чистая Ложь — это чистая Правда, ребята, если, конечно, и ту и другую раздеть..."

У Правды есть множество доводов против Лжи, но Правда упрямо не хочет или не имеет возможности "работать на публику", хотя, обретя необходимую технологию и ресурсы, могла бы овладеть аудиторией Лжи, не изменяя при этом себе самой. Материала для этого вполне достаточно.

Над доской сидят два партнера. Первый играет в шашки, а второй — в поддавки. Надо ли первому быть гениальным шашистом, чтобы выиграть партию? Ведь второй до конца так и будет считать, что он выигрывает! Пока судья не объявит, во что играли. Достаточно было бы второму *вовремя* понять, какая идет игра, чтобы возросли его шансы на выигрыш. Но он не хочет или не может заставить себя отказаться от необременительной игры в поддавки. В этом, а не в беспроигрышности приемов того, который играет в шашки, заключена основная из грозящих миру опасностей. Играющий в поддавки может опомниться слишком поздно для выигрыша (и даже для ничьей; впрочем, здесь ничья — это всего лишь приостановка игры).

Для доказательства того, что один из партнеров играет в шашки, а другой — в поддавки, достаточно привести один пример.

Как известно, нет ни одной школы в коммунистическом мире, где не читалось бы партийное агрессивно-фальсификаторское "обществоведение". Одновременно в свободном мире нет школ, где читалось бы *целенаправленное* (как говорил

один из персонажей незабвенного Евгения Шварца, "я не боюсь этого слова"), доступное и научно честное обществоведение, знакомящее подростков с работой и выводами мировой мысли, защищающей демократию от социализма-коммунизма. Напротив: в стенах учебных заведений Запада, как правило, запрещена партийная политическая пропаганда и агитация. Вместе с тем коммунистические, прокоммунистические, террористические и т. п. тенденции легко и безнаказанно вторгаются в школы и вузы под традиционной для них неполитической маской защиты человеколюбия, равенства и справедливости.

Самое страшное, что Правда (Правота) старается выполнить соглашение о недопущении в школы и вузы всего того, что может рассматриваться как политизация воспитания, а Ложь использует это соглашение, как всегда и везде, в своих интересах, заполняя оставленный Правдой мировоззренческий вакуум.

Вопрос о воспитании из школьников и студентов демократов, *способных к самозащите*, очень тонок. Но может быть, он утратит свою чрезмерную утонченность, если мы вспомним еще одно обстоятельство: свободу коммунистической и любой другой экстремистской пропаганды в демократическом мире и абсолютную невозможность пропаганды демократии в мире коммунистическом. Это ли не игра в поддавки (разумеется, со стороны демократии)?

Еще в комнатных дискуссиях в СССР мне приходилось, как и сегодня, выслушивать возражения: на плюралистическом Западе *нет* единого миропонимания, такое существует только в тоталитарном обществе, да и то — лишь в официальной плоскости.

Полагаю, что это не так. Даже в столь узком олигархическом образовании, каковым является нынешнее высшее руководство СССР, угадывается некоторый разброс мнений. Но кривая их распределения обеспечивает партократии необходимое единство действий. В условиях демократии (с ее легализованным разнообразием конкурирующих воззрений) кривые распределения разных взглядов накладываются одна на другую, образуя массивные, плотные зоны, обладающие стратегическим весом, и рассеянную периферию, на общую ситуацию влияющую пренебрежимо мало.

Управляющая Ложь партократии построена так, что овладевает именно этими массивными зонами, блистательно эксплуатируя их органические комплексы и предрассудки. Так, губительным для демократии может оказаться усиленно эксплуатируемый управляющей Ложью комплекс колониальной и со-

циальной вины, владеющий эмансипированным сознанием Запада уже второе столетие. Этот комплекс не нов: русская дворянская интеллигенция испытывала его по отношению к своим крестьянам, российская дооктябрьская интеллигенция — по отношению ко всем тем, кто занимается тяжким физическим трудом, а не легким умственным.

Эти комплексы исторически объяснимы и благородны. Но беда в том, что ни колониальные народы, ни люди физического труда *не выигрывают* от передачи их судеб в руки прожектеров и экстремистов, никакими комплексами виновности не страдающих. Не выигрывают даже в тех случаях, когда их судьбами начинают бесцеремонно *распоряжаться братья по расе* или недавние собратья по классу.

Я не буду углубляться в этот специальный вопрос, ибо касаюсь его лишь ради упоминания о дополнительном козыре Лжи в странах, куда партократия целенаправленно пробивается. Ложь использует комплексы виновности западной демократии весьма эффективно, ставя на них серьезные ставки и, как правило, не проигрывая.

Западная свобода, естественно, обеспечивает приоритет индивидуализма над милитарностью, лежащей в основе партократических обществ. Но свободный мир существует в структурно-информационной связи с миром тоталитарным. Поэтому самоубийственным было бы для обеих сторон — не учитывать свойства противника. Партократия изучает и эксплуатирует свойства и убеждения демократии. Демократия от изучения свойств партократии отмахивается, оберегая иллюзию своей безопасности и прочности. Граждане демократических стран продолжают лелеять свой индивидуализм, часы которого сочтены, если индивидуалисты не объединятся для самозащиты.

Но не желающий слышать не слышит предостерегающих голосов.

3. ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Поистине, если бы Правда проснулась и обрела своих теллеров и своих ротшильдов, она могла бы заняться лишь отысканием, компоновкой и технологией доведения до адресата давным давно опубликованных и прочно забытых свидетельств и доводов против партократической Лжи.

Обращусь к одной затерявшейся в журнальных дебрях истории, с которой мне довелось недавно столкнуться. Разыскивая воспоминания современников о Н. И. Бухарине, я перелистывала журнал "Социалистический вестник" начала 1960-х годов. В сборнике №1 (апрель 1964 г.) мне встретился рассказ некоего "товарища Томаса" "На заре Коминтерна" с предисловием и примечаниями Б. Николаевского. "Товарищ Томас", настоящего имени которого Б. Николаевский так и не называет (или не знает), был первым официальным представителем Коминтерна в Западной Европе, представителем ЦК РКП(б) при компартии Германии и центральной в Европе фигурой по распределению ценностей и денег, с помощью которых РКП(б) подчиняла себе европейские компартии (и разлагала партии социалистические).

В официальных изданиях истории Коминтерна имя ленинской "темной лошади" "товарища Томаса" не упоминается. Б. Николаевский (социал-демократ меньшевик) встречался с ним в 1935 году в Праге, где находился подпольный коминтерновский центр. "Товарищ Томас" просил Б. Николаевского спасти архив Коминтерна с письмами Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Радека, оставленный им в Берлине у надежных людей, но оказавшийся по ряду причин под угрозой. Функционер Коминтерна готов был подарить этот архив немецкой социал-демократии, но спасти бумаги не удалось. Уцелела, по словам Б. Николаевского, "не самая ценная часть" его; она в США. Сам "товарищ Томас" благополучно скончался в США в начале 1950-х годов, избежав участи многих своих коллег по Коминтерну, погибших в застенках сталинщины. Историю Коминтерна, которую "товарищ Томас" мечтал написать (без всяких скидок и умолчаний, существенно откорректировав свои взгляды), он так, к сожалению, и не написал.

"Товарищ Томас" был снаряжен из Москвы в Европу с бесчисленными бриллиантами и иными драгоценностями в голодном 1918 году по прямому указанию Ленина. Ленинский эмиссар рассказывает:

"Ильич загорелся старой идеей: надо ломать социалистические партии, которые, по его словам, все прогнили и куплены..." С этой целью — с целью разложения социалистических партий Запада и заполнения места, которое образуется после их крушения, — и создается Лениным Коминтерн. О Коминтерне написано много. Данные о нем могут меняться лишь количественно, но не качественно. Однако сегодня во всем западном мире отлично работает та же технология, которая создала Коминтерн. И работает так, словно о Коминтерне ничего

никому на Западе неизвестно. Изменился только масштаб игры: ставки стали куда крупнее. Речь идет уже не о создании "партий государственной измены"¹ за пределами СССР. Речь идет об уничтожении готовности целых народов к своей самозащите, об их политическом разложении. Как получилось, что, располагая такими свидетельствами, как свидетельства "товарища Томаса" и многие другие, свободный мир не ополчился и не ополчается против надвигающегося на него мрака? Что следует делать для того, чтобы произнесенное оказалось прочитанным, прочитанное — руководством к действию? Не это ли центральная проблема века?

"Социалистический вестник" есть в каждой солидной западной библиотеке. В сборниках №№1 и 2 за 1965 год рассказано, как подготавливался первый конгресс Коминтерна. Со звали всех, кого удалось созвать. Обхаживали индивидуально каждого делегата от коммунистов и левых социалистов Европы. Действовали с помощью женщин. Подготавливали подставные фигуры, имеющие самое отдаленное отношение к революционной работе и рабочему движению. Специально искали людей с несамостоятельными характерами.² Подбирали исполнителей без собственного мнения, зато с авантюристической жилкой. Роза Люксембург, по словам "товарища Томаса", не доверяла Ленину, боялась, что западноевропейские коммунисты попадут в плен Москвы, "Спартак" был против создания нового Интернационала. Но Ленин обошел их всех, играя, по своему обыкновению, без соблюдения каких бы то ни было ограничительных правил. Его испугал, было, слух о возможном приезде на учредительный конгресс нового интернационала Карла Каутского, и он начал бешено торопиться с брошюрой "Октябрьская революция и ренегат Каутский", с ее параллельным переводом на немецкий язык, — сунуть Каутскому на границе, чтобы прочитал, обиделся и уехал. Брошюрка-то, действительно, грубая и оскорбительная, хотя серьезной критики и не выдерживает. Но все-таки сняли для Каутского квартиру, достали "кур и мешок риса" ("тов. Томас") — и зря: не приехал.

Доклад о белом и красном терроре сделал Чичерин. Обсуждения не было. "Манифест" написал Троцкий — набело, по-немецки, приняли без обсуждения. Инспирировали несколько выкриков о создании Коминтерна.

Так положили начало организации, через которую потекли на Запад в распоряжение самых разрушительных сил деньги и заструилась Ложь, управляющая поведением сначала десятков,

¹ Здесь и дальше все сноски будут вынесены в конец статей.

потом — сотен, сегодня — миллионов и миллионов людей. Нежно оплакиваемый нынешними западными социалистами Бухарин состоял в первом же бюро Коминтерна, все знал, везде присутствовал, входил во все ленинские провокации и комбинации. "Товарищ Томас" рассказывает, как отвели исполкому Коминтерна дом Мирбаха, как первые коминтерновцы не могли придумать, чем им заняться.

Начали выпускать журнал "Коммунистический интернационал". Теперь, в 1935 году, "тов. Томасу" "стыдно за оптимизм журнала". Зиновьев предсказывал: через год мировой революции еще не будет, "разве что в Америке и экзотических странах". "Товарищ Томас" возражал: будет вот-вот — в Германии. Делегаты разъехались — как в воду канули. Статьи поступали плохо. Ленин посылает "товарища Томаса" в Германию: "Возьмите как можно больше денег, присылайте отчеты, если можно, газету — а вообще, делайте, что покажет обстановка, только делайте!"... "Ганецкий в это время завел партийной кассой, не официальной, которой распоряжался ЦК партии, и не правительственной... а секретной партийной кассой, которая была в личном распоряжении Ленина и которой он распоряжался единолично, по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь. Ганецкий был человеком, которому Ленин передоверил технику хранения этой кассы..."

"Товарищ Томас" получил "миллион рублей в валюте немецкой и шведской". В следующем кадре этого детектива мы видим его в колоссальной сокровищнице, в подвале московского Дома судебных установлений. "Товарищ Томас" рассказывает далее Б. Николаевскому: "Все эти драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский сдал их сюда на секретные нужды партии..." Так ручейком, потекшим в саквояжи "товарища Томаса", начиналась та Ниагара подкупов, провокаций, террора и лжи, которая сегодня грозит затопить последние острова свободы. Товарищ Томас вспоминает: "...наложил полный чемодан камнями, золота не брал — громоздко... и я продавал их потом в течение ряда лет". Никакой расписки за ценности не взяли, только за деньги. Видно, грабили и ссыпали в сокровищницу без счета. Есть глухие слухи, что Дзержинский не хотел отдавать "фонды ЧК" в распоряжение других инстанций. Но опять же — не с Лениным было ему тягаться.

"Для отношений с Москвой я завел даже два аэроплана, — вспоминает "товарищ Томас". — Подкупленные полиции западных стран пачками штемпелевали коминтерновцам фальшивые паспорта..."

Следующий кадр коминтерновского детектива — повествование "товарища Томаса" о том, как Ленин привлекал и привлек в Коминтерн (сорвалось впоследствии по причинам от него не зависящим) одного из бывших министров последнего турецкого султана, Энвер-пашу, больше кого-либо другого ответственного за истребление почти всего армянского населения Турции. В 1920 году Энвер-паша прибыл в Москву и предложил Ленину направить национализм мусульман Средней Азии против Англии. Ленин все об Энвер-паше знал, но план принял, и тот должен был выступить в начале сентября 1920 года в Баку на "Съезде народов Востока". Выступление не состоялось, так как за кулисами съезда возник армяно-турецкий конфликт, и Энвер-пашу чуть не убили. Но он выступил на специальном митинге "трудящихся мусульман" в бакинском театре под лозунгом "Смерть империализму". Потом он уехал в еще независимую Бухару. Но Бухара вовлекла его в "священную войну" против большевиков, в которой он и был убит.³

Практика привлечения к своей зарубежной деятельности международных авантюристов самого грязного пошиба остается характерной для Кремля по сей день. И по сей день она работает безотказно.

За годы, истекшие после смерти Ленина, Кремль был пойман с поличным на операциях подобного рода неоднократно, но у свободного мира отсутствуют органы целенаправленной контрпропаганды, которые могли бы выставить на всеобщее обозрение подноготную современных националистических, "революционных", "антивоенных", террористических, псевдоэкологических (против ядерной энергетики под лозунгом защиты окружающей среды) и других движений, инспирируемых и дирижируемых Кремлем. Здесь, как и во всем: одна сторона использует любые приемы, рядясь при этом в тогу добродетели и очерняя бесцеремоннейшим образом объекты своего нападения; другая не защищается даже словом, не замечая, что в ее собственном стане словно бы подменяется лицо за лицом, группа за группой становятся волонтерами и диверсантами нападающей стороны. Атакуемый стан покоряется завоевателями изнутри, без объявления военных действий.

Стратегия щедрого подкупа и заполнения всех духовных пустот характерна для управляющей Лжи в тех зонах мира, которые еще только подлежат завоеванию, но не завоеваны. В покоренных районах подкуп сменяется принуждением, а управляющая Ложь просто монополизировала все средства массовой информации, не допуская в обращение никаких других

моделей реальности. Мнение, что избыточность и однообразие управляющей Лжи сводят на нет ее воздействие на адресатов, ошибочно. Слыша непрерывно одно и то же, и только одно и то же, сознание привыкает к этой духовной пище и начинает усваивать ее автоматически ("Клеветайте, клеветайте — что-нибудь да останется"). Тем более, что других источников информации в покоренных районах мира практически нет. Только сама жизнь поставляет впечатления, противоречащие официальной Лжи. Но неумолчная, бессонная пропаганда непрерывно вводит в сознание своих адресатов свою и только свою трактовку этих впечатлений, свои, и только свои, критерии добра и зла, смысла и целесообразности.

Окончание рассказа Б. Николаевского помещено в "Социалистическом вестнике" №2 (октябрь 1965 г.). Для доставки европейских делегатов на второй конгресс Коминтерна "товарищ Томас" нанимает целый пароход. По его словам, П. Леви и Роза Люксембург были очень против засилья Москвы в европейских компартиях, против ленинской мании "расколов" (Ленин селекционировал большевиков в среде европейских социалистов — как же тут без расколов?), защищали отброшенных Лениным от Коминтерна умеренных коммунистов и социал-демократов. "Товарищ Томас" делает личный доклад Ленину, затем беседует с Троцким. Троцкий задает, в основном, литературные вопросы: что издают, что вышло нового? Ленин занят иным: его интересуют политические новости, разведывательная деятельность членов Коминтерна и организационные проблемы. Он советует "товарищу Томасу" купить дом и стать зажиточным домовладельцем в Германии, жить широко, приобретать знакомства и связи в разных слоях общества.

Карл Радек ⁴ показал Павлу Леви доносы "тов. Томаса" на руководящих деятелей немецкой компартии, в том числе и на Леви. "Тов. Томас" недоумевает: зачем? И успокаивается на мысли, что "озорной" Радек "любил сталкивать людей лбами". Радек и на своем процессе 1937 г. будет "сталкивать людей лбами", за что и получит не пулю в затылок, а десять лет заключения, в котором и сгинет.

И все-таки "товарищ Томас" не может понять побуждений человека, который явно ему протезировал: "Радек не мог не понимать, что Леви не станет мои отзывы⁵ держать в секрете от немецкого ЦК, который я называл в лучшем случае собранием провинциальных учителей и секретарей."⁶

Куда же тогда немецкий ЦК годился? "Малому бюро" Коминтерна, то есть Ленину, нужны были не респектабельные чи-

новники провинциального склада, а штурмовики и авантюристы, готовые при первом же подходящем случае повторить октябрьскую эскападу — под ленинским же командованием.

Доносы "товарища Томаса" вызвали возмущение всей КПП. ЦК КПП обвинил "тов. Томаса" в чекистских методах партийной работы, а "тов. Томас" и в 1935 году обвиняет П. Леви в "тенденциозном" подборе цитат из его "отчетов". Ответ "Малого бюро" Коминтерна "немецким товарищам" гласил: "Товарищ Томас" сидит на всех заседаниях ЦК КПП не как его член, а как представитель Москвы и будет сидеть и писать, что хочет, пока Москва его не отзовет". Проглотили. Радек изворачивался, писал письмо Кларе Цеткин в защиту "товарища Томаса". Она заступилась, хотя и дружила с П. Леви.

"Москва оказывала огромную материальную помощь национальным компартиям и условием этой помощи ставила право контроля за их деятельностью", — сообщает впоследствии "товарищ Томас".

Все немцы были против "тов. Томаса", но русский ЦК (по словам Г. Зиновьева, в то время одного из высших руководителей Коминтерна) был весь за него. Это и перевесило.

Г. Померанц в своей недавней статье "Сон о справедливом возмездии"⁷ несколько раз говорит об исходном прекраснодушии зачинателей коммунистического интернационала, о благих побуждениях, двигавших ими. Но фокус, выкинутый историей, состоит в том, что, согласно множеству опубликованных материалов, не было в природе и в самом начале прекраснодушно-идеалистического Третьего интернационала, а была диверсионно-пропагандистская организация международного назначения, созданная Кремлем, Кремлем инспирируемая, управляемая и снабжаемая — как сегодня снабжаются из Москвы оружием и деньгами такие же международные политические инструменты Кремля.

Ленин изначально селекционировал для Коминтерна "сердца полезные, как замки железные, несложные, удобные, все исполнять способные".⁸ Точно так же селекционировались и советские высшие руководящие кадры.

Г. Померанцем владеет по сей день пионерско-комсомольская версия Коминтерна. Между тем, эта ленинская международная мафия была с самых истоков страшной. Именно на ее конгрессах, стенограммы которых давно и достаточно полно опубликованы, Ленин со всей откровенностью высказал мысль о том, что Восток коммунизируется раньше Запада и "похоронит Запад в яме, которую тот сам для себя выроет".

Перед коминтерновцами и поставлена была задача — по мере сил рыть яму Западу и уговаривать Запад рыть себе эту яму самостоятельно, что тот и делает...

Но вернемся к беседе социалиста Б. Николаевского с коминтерновцем "товарищем Томасом": "...все настояния немцев были отклонены и... мои полномочия фактически расширены... мое поведение полностью одобрено..." Для успокоения ЦК КПГ им разрешили (именно разрешили, так "тов. Томас" и выражается) писать и собственные, "самостоятельные" отчеты в Москву об их деятельности. Если и это можно было проглотить, не разорвав отношений, то каков был уровень человеческого достоинства вождей КПГ и на каком прочном крючке они были у Ленина? На этот вопрос отвечает их старший надзиратель от Коминтерна "товарищ Томас": "ЦК немцев по существу бунтовать не мог: материально он целиком зависел от Москвы. Дело было именно в этой зависимости".

Попутно отмечу разницу между этой зависимостью и нынешней зависимостью СССР от помощи Запада. В первом случае игра идет на усиление дающего, во втором — на усиление берущего. В первом зависимость абсолютная, во втором — частичная и избирательная: в нужных берущему размерах и направлении. Кроме того (и это главное), Запад за свою помощь не требует от СССР изменения его социального строя, а Кремль требует от своих западных подопечных работы на изменение социального строя Запада.

"Товарищ Томас" рассказывает еще и о том, как после II конгресса Коминтерна был создан секретный фонд Коминтерна первоначальным объемом 50 млн. немецких золотых марок. Так возвращались в Европу для разрушительных против нее же действий средства, подаренные Германией большевикам.

Секретным фондом Коминтерна распоряжались: в СССР — Ленин, Зиновьев, Троцкий, за границей — в качестве их доверенного лица — "товарищ Томас". Каждая компартия представляла фонду смету своих расходов. Больше всего получала от Ленина денег немецкая компартия — до семи млн. золотых марок в год. Значительную часть выдавали литературой, напечатанной в России, в Гамбурге или в Вене. Компартии протестовали: им не нравилась эта литература, но, как указывает "тов. Томас", "сила была не у них".

Если демократическая западная печать в те времена, как и сейчас, не занималась целенаправленным разоблачением коммунистических происков, то нацистская печать освещала их достаточно широко. Организованный коммунистами Герма-

нии "Ротфронт" ("Красный фронт" — антинацистский союз с разного рода попутчиками) получил в устах "коричневых убийц" обоснованное прозвище "Ротморг" — "красное убийство". Экономические неудачи Веймарской республики и широкое целенаправленное разоблачение деятельности коммунистов в СССР и за его пределами в огромной мере обеспечили победу национал-социалистам на демократических выборах в начале 1930-х годов.

Непонятно, что именно оттолкнуло "товарища Томаса" от его патронов. Но интересуют и Б. Николаевского, и нас не столько психология одного из множества рубашовых,⁹ сколько его одиозные свидетельства.

"Товарищ Томас" сообщает и о том, как Ленин негласно инспирировал восстание в Венгрии под руководством Бела Куна. И добавляет: "Мне было ясно, что он идет на большую авантюру. Пахло прямо провокацией".

Итак, Ленин провоцирует Бела Куна на почти заведомо неудачное восстание. Бессмыслица? Не совсем. Мы вернемся к этому несколько ниже.

Против этого восстания были многие коммунистические деятели и в Москве, и в Европе. По словам "товарища Томаса", "Бела Кун, поддержанный Лениным, отвечал очень резко: "У вас сердце в штанах... Вы не по-большевистски оцениваете ситуацию". Он понимает лучше. Рабочие готовы к восстанию. Вожди мешают".

"Товарищ Томас" рассказывает далее: "Кун начал работать "на русский лад", "по старым рецептам", обрабатывая отдельных членов ЦК".

Интересно следующее: "Рабочие готовы к восстанию. Вожди мешают", — это не слова Бела Куна. Он всего-навсего перефразирует Маркса в подаче Ленина. В 1918 году Ленин, пересказывая Маркса, писал, что даже неудачное восстание лучше мирного прозябания, ибо подъемом, переживаемым революционными рабочими, компенсируется и окупается "гибель *какого угодно числа вождей*".¹⁰ Что же касается "русской" манеры "обрабатывать отдельных членов ЦК", то это ленинская манера: в примечаниях к III изданию Сочинений Ленина неоднократно упоминается об этой его манере. Встречаются упоминания о ней и в стенограммах съездов РКП(б). В "Государстве и революции", цитируя Маркса, Ленин произносит пламенный панегирик оздоравливающей и закаляющей роли революционного насилия как *такового*, независимо от проигрыша или выигрыша его носителей. Упор на не слишком большую ценность "какого угодно числа вождей" (что такое "вож-

ди” при Вожде?) — отголосок ленинского раздражения против не всегда с ним согласной элиты партии, немало доставившей ему хлопот в канун октябрьского переворота, когда буквально никто, кроме Ленина, действовать решительно не хотел.

”Товарищ Томас”, по его словам, утверждал, что в Германии нет никаких предпосылок для восстания. ”Москва отмалчивалась. Удастся восстание — хорошо. Нет — отрекутся”.

После провала восстания в Венгрии ”Бела Кун улетел в Москву. Там было много шума. Кун имел свидание с Лениным... Ленин рвал и метал. У Куна был сердечный припадок: после свидания с Лениным упал на улице. На руках притащили домой — слег. Москва начала расчеты. Всех причастных вызвали в Москву. Был приказ: брошюру о ”наступлении”¹¹ уничтожить” и т. д. Но больное сердце подвело Бела Куна: не убило его и позволило ему получить свой девять граммов свинца в 1938 году.

В том же сборнике ”Социалистический вестник” №2 за 1965 год помещены ”Страницы истории” Анжелики Балабановой. Б. Николаевский отправил ей и Б. Суварину свою рукопись (рассказ о беседах с ”товарищем Томасом”) — для оценки ее достоверности и для выдвигания встречных версий. Оба высказались за публикацию, но указали на ряд мелких неточностей. Частные замечания Б. Суварина Б. Николаевский поместил в примечаниях. Они свидетельствуют более всего о близости Б. Суварина к событиям и людям, связь с которыми не украшает, а устрашает. Не потому ли Б. Суварин по сей день старается, в чем возможно, обелить память Ленина?

Вряд ли стоило бы заниматься замечаниями и дополнениями А. Балабановой, если бы не два-три их пункта.

А. Балабанова уверяет, что лишь в 1915 году выяснилось, что большевики хотели расколоть социалистическое движение всех стран.

Что же тогда делал Ленин с 1902 года в России, если не пытался его расколоть?¹² В России это ему удалось, естественно, раньше, чем в Европе. В мировых масштабах — значительно позже. Но, не перенося ленинское ”грехопадение” с 1902-го на 1915-й год, как оправдать свое сотрудничество с раскольником и диверсантом в мировом социалистическом движении?

Интересно и следующее свидетельство А. Балабановой: ”Будучи высланной в ноябре 1918 года из Швейцарии при весьма драматических обстоятельствах, надолго лишивших меня возможности вернуться в Западную Европу, я немало удивилась, когда, поселившись в Москве, я вместо работы, ко-

торой добивалась, получила "постановление" от ЦК *отправиться в санаторий*".¹³

А. Балабанова не поехала в санаторий ни после первого, ни после второго специального постановления ЦК по этому поводу. Отправка в санаторий неугодного ему функционера — один из любимых видов ленинской партийной опалы.

Опубликовано несколько записок Ленина, в которых он после конфликтов с ним или с другим руководящим работником предписывает отправить лицо, вызвавшее его недовольство, "в санаторий" или "на лечение" — причем отправить "немедленно", "срочно", "категорически" и т. п. Это касалось то Красина, то Чичерина, то Ларина; о том же рассказывает и А. Балабанова. ЦК распоряжается жизнью и здоровьем, трудом и отдыхом коммунистов.

На что же мог жаловаться разболевшийся Ленин, получив от своего ЦК в 1922 году в надзиратели за его здоровьем Сталина?

В 1919 году А. Балабановой предлагают должность наркома иностранных дел на Украине, чтобы удалить ее из Москвы перед первым конгрессом Коминтерна. Но по ее решительному настоянию она допускается на конгресс. Она отмечает численный перевес российских цекистов, узнает Эберлайна — делегата от германских "спартаковцев". Остальные — назначены ЦК РКП(б) из военнопленных и эмигрантов, давно не связанных с движением у них на родине.

"И тут по инициативе Зиновьева, при ближайшем участии Бухарина и, конечно, не без согласия Ленина и Троцкого, был совершен подлог, подобный которому вряд ли существует в истории отношений между людьми минимального этического уровня..."¹⁴

"Вызвали бывшего военнопленного, австрийского печатника, перешедшего к большевикам Штейнгарта (Грубера), находящегося "на работе" в Западной Европе, послали за ним "экстренный поезд", привезли на срывающийся "конгресс" и, уверенные в его покорности любым инструкциям Радека и Зиновьева, приказали прочитать "доклад якобы случайно очутившегося в Москве западноевропейского рабочего". "Докладчик" заявил, что "настроение масс в Западной Европе было революционным, отношение к советской России восторженное, готовность международного пролетариата вступить в немедленный бой в помощь и в подражание русской революции не подлежала сомнению, "вот-вот разгорится пламя"... Это заявление вызвало бурные аплодисменты, в разгар которых Зиновьев предложил объявить недействительным принятое на-

кануне решение (решение не считать конференцию учредительным съездом Коминтерна) и признать совещание первым конгрессом III Коммунистического интернационала.

Ряд оппонентов воздержался, в том числе и А. Балабанова, но — не ушли.

Как-то по приезде в Москву А. Балабанова узнала, что Радек посылает в Италию от имени основанной им секции "иностраных эмигрантов при НКВД" двух "низкопробных авантюристов".¹⁵ Когда я об этом предупредила Ленина, он ответил: "На то, чтобы расколоть партию Турати, и они годятся".

Дверью А. Балабанова в ответ на реплику Ленина, надо думать, не хлопнула. Хотя она и пишет о макиавеллистической логике Ленина, об использовании им любых подонков, в том числе и в Коминтерне, она продолжает работать секретарем Коминтерна. И с некоторой гордостью замечает, что к ней лично Ленин относился очень внимательно и терпимо. Ленин своего макиавеллизма ни от кого в своем окружении не скрывал, так что близость к нему на протяжении многих лет чаще всего говорит не только о его неразборчивости, но и о неразборчивости его приближенных.

Но продолжим рассказ А. Балабановой.

"Окончательный разрыв, — то, что Зиновьев, оказывается, называл "невозможностью работать со мной" — произошел на почве денежной... мне в Стокгольм посылали очень крупные суммы денег, и Ленин в одном из последних ко мне писем писал: "Умоляю вас, не жалеете денег. Тратьте миллионы" (и тут же исправил, написав "десятки миллионов")".

А. Балабанова ездила к Ленину и Троцкому и получила пояснение, "на что тратить деньги: на создание путем подкупа выгодного для большевизма общественного мнения, способствуя переходу на их сторону всякого рода недоброкачественных, продажных элементов для раскола рабочего и профессионального движения. В конце концов, они, вероятно, были не менее удивлены и "разочарованы" моим неприятием таких методов, чем была поражена я тем, что революционеры, стремящиеся к перерождению и обновлению общества, могли к ним прибегнуть".

Так действовали те, кого по сей день пытаются изобразить космополитами-идеалистами — в отличие от нынешних коммунистов — шкурников, карьеристов, тупиц и корыстолюбцев.

Я же осмеливаюсь предположить, что политика коммунистов по отношению к некоммунистическому миру представлена здесь в своих вечных и неизменных качествах. Меняются (все расширяясь, усиливаясь и углубляясь) масштабы и

технология этой диверсионно-деструктивной политики, но не ее существо.

Напомню еще один давно опубликованный документ:

Художник Ю. Анненков, свидетельство которого не вызывает у меня сомнений, пишет в своих мемуарах,¹⁶ что в 1924-м году, в обстоятельствах, о которых он подробно рассказывает, ему удалось переписать в свою записную книжку несколько вопиющих отрывков из ленинских черновиков. Вскоре Ю. Анненков эмигрировал. Ни одно западное периодическое издание не согласилось опубликовать эти тексты. Они увидели свет лишь в книге Анненкова и не получили отклика ни в западной печати, ни в советской прессе, не посмевшей говорить о фальсификации.¹⁷

Вот часть ленинского чернового текста, которую переписал в свою записную книжку Ю. Анненков: "В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил. Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения.

...На основании тех же наблюдений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами.

а) Провозгласить для успокоения *глухонемых* отделение (фиктивное!) нашего правительства и правительственных учреждений (Совет Народных Комиссаров и пр.) от Партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки, терпимые на территории Советских Социалистических Республик. *Глухонемые поверят.*

б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических отношений с капиталистическими странами на основе полного *невмешательства* в их внутренние дела. *Глухонемые снова поверят.* Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органы партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей".

"Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью..."

”Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием советского рынка *закроют глаза* на указанную выше действительность и превратятся таким образом в *глухонемых слепцов*. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техникой, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против *наших поставщиков*. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства”.¹⁸

И стиль и смысл этих отрывков чрезвычайно близок к смыслу и стилю многих ленинских высказываний на эту тему. Тактики же, намеченной в этих отрывках, коммунисты придерживаются неукоснительно по сей день.

Надо бы сосредоточить и мощные умственные силы, и максимально возможные средства на обобщении политического опыта XX века и на доведении этого опыта буквально до каждого человека — на языке и на уровне понимания разнообразнейших адресатов.

Именно это и оказывается сложнее сложного и труднее трудного. Вопреки непрерывным утверждениям управляющей Лжи о том, что ”мировая буржуазия” тратит чудовищные финансовые резервы на пропаганду антикоммунизма, планетарный Савва Морозов под гипнозом и обаянием планетарного Максима Горького тратит деньги на помощь своим потенциальным убийцам.

4. РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

Пожалуй, одна из самых страшных ошибок современной духовной элиты, по существу своему враждебной партократической лжи, состоит в том, что эта элита не верит в сознательность и целенаправленность действий тоталитарного чудища.

Я четко и упрощенно постулирую факт, для меня бесспорный: партократия по ряду причин, в данной статье не рассматриваемых,¹⁹ стремится к мировой гегемонии. Дезинформация — одно из главных ее орудий в этом процессе. Она это не только осознает — она имеет специальные исследовательские учреждения и реализующие аппараты для внедрения выгодных ей версий происходящего в сознание своих адресатов.

К превеликому сожалению, у партократии имеются щупальца и в Самиздате, и в Тамиздате, и в оппозиции, и в эмиграции.

Инспирируемых властью версий, циркулирующих в неподцензурной гласности, я здесь не касаюсь, хотя они есть и существенны по своему удельному весу. Есть в Самиздате и хатическая взаимоцензура. Нелегальная рукопись, представляющая некие оппозиционные к советской власти воззрения, блокируется иногда сторонниками других, и тоже оппозиционных, взглядов, если случайно попадает в руки своих оппонентов по Самиздату и сочтена ими вредной. И наметившаяся партийность, и борьба за свою идеологическую монополию суть атрибуты не только свободной российской, а всякой *свободной* гласности. В пределах плюралистической гласности циркулирует множество направлений и мнений, вплоть до весьма малочтенных, вроде культа аморализма, расизма, "ангажированности" тоталитарными силами или свободной склонности к тайной цензуре. Свобода есть раскрепощение взглядов, а не господство некоего правильного представления. В идеале свобода предполагает легализацию правовой демократической борьбы за *свои* взгляды. Несчастье же заключается в том, что и в свободных обстоятельствах сторонники наиболее продуктивных взглядов не хотят, не умеют или не имеют возможности за себя бороться.

Важно еще одно обстоятельство: управляющая Ложь направлена узкими когерентными лучами на заданные ее генератором объекты и к тому же способна настраиваться на собственные резонансные частоты этих объектов, что в огромной степени способствует ее усвоению. Правда же генерируется множеством несогласованных между собой и не сконцентрированных в нужных направлениях свободных источников. Она освещает лишь то, что случайно оказывается в поле ее излучения. Лазерный луч на частоте спектральной линии и рассеянный белый свет обыкновенной лампы — так соотносятся между собой Ложь и Правда по способу их воздействия на окружающих.

Рассеянный свет не может одолеть силу такой концентрации, такой целенаправленности и такой созвучности соблазнам, одолевающим человечество, как управляющая Ложь XX века.

Ибо Ложь, о которой идет здесь речь, овладевает и продолжает овладевать нами не в силу общечеловеческой или чьей-то национальной приверженности ко Лжи, а потому что была принята нами за Правду. *Она и сама себя долго считала*

Правдой. А потом научилась делать ставку на наши иллюзии.

Социалистическая (коммунистическая) идея так могущественна и живуча потому, что в ней далеко не все и далеко не всегда стимулировалось и порождалось чьей-то злой волей. Тягой к утопиям мы обязаны нетерпению спасти страждущих и филантропическому максимализму, который не удовлетворяется наименьшим из зол, а жаждет "абсолютного" (на Земле!) блага.

Сейчас мы настроены так, что видим лишь реальное Зло ряда бесчеловечных опытов, но не помним (или стремимся не вспоминать) возвышенных побуждений, взлетов самоотверженности, надежд, бескорыстия иллюзий и судеб, вовлеченных нашей общей историей в рождение Зла. Возникла машина, не имеющая ожидавшихся замечательных свойств, но обладающая неожиданными (хотя и предсказанными рядом мыслителей) ужасными свойствами. Одно из худших качеств машины — ее способность и необходимость, если она хочет себя сохранить, ставить на службу своему управляющему устройству все отрицательные свойства человека. А нередко — и положительные. Но из-за того, что Ложь, которая имеется здесь в виду, родилась из мощного универсального заблуждения, а не из сознательно-преступного замысла, она становится не лучше, а хуже, опасней, — вот в чем несчастье. Куда легче разоблачать отталкивающие всякого нравственного и здравомыслящего человека мифы расизма и личного или национального сверхчеловечества, чем гуманистическую по своему происхождению фразеологию социализма-коммунизма. Произошел не для всех очевидный сдвиг: то, что было когда-то внутренней принадлежностью учения (вера, бескорыстие, благие намерения) стало маской, присошедшей к зловещему лику *практики*, предопределенной этим учением. Именно этим учением, а не досадными, искажающими его помехами. Но в маске, в пропагандистском плаще, драпирующем страшную суть оборотня, сохранилась притягательность исходной утопии.

В сочетании с централизованностью усилий, с неограниченностью материальных ресурсов, с отсутствием моральных запретов и этических ограничений эта притягательность обеспечивает носителю маски огромные планетарные преимущества перед теми, кто видит скрытую под маской суть.

Но, когда сострадание, любовь к свободе и мысль (в неведении того) тащат мир в тупики тотала, им не занимать энергии, решительности, инициативы. А потом возникают могучие державные силы, обороняющие и расширяющие выросший из

благих намерений ад. И тогда мысль загоняют в клетку, часто безвыходную.

Сегодня же, когда сострадание, любовь к свободе и разум отвратились от опороченных миражей, им опостытели также и действие, и решительность, и напряжение, и готовность взять на себя ответственность. Они хотят созерцательности, невинности, беспристрастного диалога с равными.

А между тем надо действовать куда напряженной, чем в пору своей приверженности иллюзиям-оборотням. Движение из тупика — это движение против течения, а не по течению: против еще владеющих человечеством утопий, и против целенаправленной деятельности партократий, и против общей тенденции материи переходить самопроизвольно лишь из менее вероятных состояний в более вероятные, двигаясь по линии наименьшего сопротивления, и против склонности людей выбирать наиболее утешительные, духовно-комфортные из версий, предлагаемых разумом или пропагандой.

Только *дух* и *воля* противостоят этой тенденции.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разочарованные тем, что принесла революционная пропаганда последнего столетия, потрясенные тем, что дали миру революционные организации, успешней и больше других занимавшиеся такой пропагандой, нынешние оппозиционеры к тоталитаризму возненавидели пропаганду и организацию.

Это сугубо реактивное неприятие обязательных условий политической деятельности (впрочем, и политическая деятельность, и конспирация отброшены реактивным мировосприятием по той же причине, что и пропаганда, и организация) лишает сопротивление тоталитаризму скелета и мышц. Бронированной машине противопоставляется нечто желеобразное. Есть потрясающие документы, есть неотразимые, казалось бы, книги; есть уничтожительные памфлеты и блистательные аллегории; есть безупречные доказательства своей правоты. Но все это лишено динамики, лишено объединяющих центров — лишено механизмов, которые заставили бы идеи и образы стимулировать определенное поведение общества. В торговой рекламе такие механизмы работают — в самозащитной работе свободной мысли их нет и в помине.

Мысли присуще качество, о котором уже неоднократно писалось: наделив какую-то идею свойствами абсолюта или панацеи, а затем убедившись в уязвимости или порочности этой идеи (точнее — в порочности крайностей этой идеи, ее абсолютов), мысль шарахается в противоположную крайность. Так поступаем и мы сегодня. Разум оказался не всемогущим? Либерализм не научился противостоять экстремизму? Коммунистический интернационализм — враг национальной свободы? Организацией, пропагандой и конспирацией воспользовались тоталитарные силы?

— Долой упования на разум!

— Анафема либерализму!

— Не к чему добиваться взаимопонимания между народами!

— Долой пропаганду, организацию и конспирацию!

Вернемся к чистому мистицизму, возложим наши надежды на экстремизм и воздвигнем между собою стены воинствующего национализма! Иными словами, вернемся в тупик *абсолютизаций — антонимов*, в котором мы, казалось бы, уже побывали (не раз).

Но из тупиков, куда заводят людей сострадание, любовь к свободе и разум, только эти последние и могут их вывести. Правда всегда оказывается либо где-нибудь между крайностями, либо на совершенно иной траектории, чем та, по которой мечется маятник реактивной мысли.

Сегодня бешеный натиск управляющей Лжи на мировое сознание и в малой доле не уравновешивается просветительской и контролпропагандистской работой Правды.

Если учесть еще и фактор времени, задача противоборства между Правдой и управляющей Ложью не порождает особого оптимизма. Но и не становится безнадежной.

Неизвестно, успеем ли мы найти выход из лабиринта, в центре которого поджидает нас Минотавр партократии, *но ничего невозможного в отыскании этого выхода нет*. И, когда вспоминаешь о существовании этого выхода, о его неискключенности (во всяком случае, о неполной его исключенности), в душе начинает тихо играть "надежды маленький оркестрик под управлением Любви" (Б. Окуджава).

"Время и мы" №61, 1981. Нью-Йорк.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. стенограммы X и XI съездов РКП(б).
2. Тактика Ленина при формировании дореволюционных российских ЦК РСДРП.
3. См. книгу Г. Агабекова "ГПУ — Записки чекиста". Берлин, 1930, стр. 40—47.
4. О нем "тов. Томас" говорит с явной симпатией: разочаровавшись ко времени разговора с Б. Николаевским в большевизме, он и должен был симпатизировать двоедушному Радеку, который всегда относился с циничной иронией к тому, чему сам служил.
5. В высоком большевистском кругу доносы принято было именовать отзывами.
6. Б. Николаевский полагает, что позднее "тов. Томас" участвовал в устранении П. Леви.
7. "Синтаксис" №6, 1980.
8. С. Кирсанов, Семь дней недели.
9. А. Кестлер, Слепящая тьма (Мрак в полдень).
10. В. И. Ленин, Государство и революция.
11. Речь идет о брошюре Б. Куна и др. "Теория наступления", Москва, конец 1918 года.
12. Раскол этот был даже отражен в наименованиях созданной Лениным коммунистической партии — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) вплоть до 1952 года, когда она стала называться КПСС.
13. Выделено А. Балабановой.
14. До этого, по-видимому, А. Балабанова и не подозревала, на каком "этическом уровне" пребывают ее коллеги и руководители.
15. Выделено А. Балабановой.
16. Ю. Анненков, Дневники моих встреч, цикл трагедий, т. 2, страницы 279—280, 1966.
17. Дословной публикации этих отрывков нет ни в одном издании сочинений Ленина, но высказываний, очень близких по смыслу, достаточно много.
18. Выделено Лениным.
19. См., например, Д. Штурман, "В поисках упорядочности", ж-л "Грани", №120, 1981.

СОВЕТОЛОГИ НА КАРНАВАЛЕ ДЕТАНТА

В лаборатории рефлексологии одна подопытная собака говорит другой:

— Видишь того чудака? В белом халате? Сейчас загорится красная лампочка, и он принесет нам еду. До чего у них стойкие рефлексы, у этих типов!

Старый советский анекдот.

1. СОВЕТОЛОГИ-ВАМП

Итак, рефлексологи изучают собаку, а собака оценивает рефлексологов...

Когда я впервые услышала от своего американского интервьюера выражение "информационные доноры", скучная анкета, на вопросы которой я должна была ответить, зашуршала пугающе, как в детстве по вечерам в полуосвещенной комнате шелестели страницы Эдгара По или Герберта Уэллса. Собственно говоря, меня не интервьюировали и не изучали — из меня извлекали информацию по задуманной исследователем программе, проводили по анонимной анкете социологическое полевое исследование. Так это и называлось. Но фигура информационного донора немедленно породила в сознании фигуру информационного реципиента (получателя того, что извлекают из донора), в сказочном варианте — вампира, или упыря. Вроде бы и ничего страшного, но все-таки жутковато...

Разнообразные кровососущие чудовища, которые издревле бродят по сказкам и фантастическим сочинениям, перекачивают в себя жизнь своих жертв. Здесь извлекается сущий пустяк — информация, которой от этого в доноре не убывает. А в получателе прибывает ли?

Мой реципиент изучает меня по заранее заготовленным им самим вопросам, то есть спрашивает о том, о чем он хоть что-то знает, слышал, читал. А как открыть ему такие области и процессы прожитой нами жизни, о свойствах и существовании коих он и не подозревает и поэтому не может спросить? А ведь

такие области, вопреки мнению многих наших товарищей по эмиграции, ЕСТЬ...

Как он отреагирует, если ампула с плазмой вдруг возьмет-ся оценивать свое содержимое и действия использующего ее медицинского персонала? Или состояние больного, которому переливают ее содержимое?..

2. ОБЪЕКТИВИСТЫ ДЕТАНТНОЙ ЭРЫ

Подходя к этой теме, я отчетливо осознаю, что советологи меня не услышат (или почти не услышат). Пишу я для русскоязычного читателя. Но и в этой среде немало уверенных голосов твердят, что контейнерам, начиненным некоей информацией, не пристало выдавать ее "на-гора" самопроизвольно, по собственному выбору, а не по программам и сигналам экспертов, отделяющих зерно от плевел в попавшем в их руки грузе. Главный довод этих уверенных голосов обычно таков: мы плохо знаем Запад,¹ а поэтому нам не следует его учить. Помилуйте, господа! Ведь мы не о Западе, а преимущественно о себе пытаемся рассказать! Сотни иностранных писателей переведены за последние два столетия на русский язык. Они не знали ни России, ни языков ее населения, но тем не менее мы жадно глотаем эти переводы всю жизнь. Им незачем знать Россию для того, чтобы рассказать нам о себе и о человечестве — о Человеке. Почему же в ответ на наше желание рассказать о себе и о человечестве из наших же собственных рядов следует саркастический вопрос: а достаточно ли хорошо знаете вы языки, на которые хотите быть переведены? Надо сказать, что, живя на Западе и в Израиле уже годы, языки мы, в массе своей, узнаём все лучше, иные — и в совершенстве. Кроме того, буднично и повседневно пребывая в общем существовании с аборигенами, наблюдая друг друга, следя за периодикой, русской, а зачастую уже и нерусской, одни — делая, другие — читая переводы с языков нового нашего окружения на русский язык, мы познаем окружающее уж никак не хуже, чем знаменитый де-Кюстин — Россию. А на его записки ссылаются часто и многие.

Наше бедноязычие, конечно же, нам мешает быстро вратиться в новую среду и жизнь. Но у скептиков, поучающих нас не выходить за пределы роли, отведенной нам западными коллегами, есть еще несколько доводов в пользу такого поведения.

Первый из них: даже овладев языками своего нового окружения, мы остаемся стилистически, жанрово глубоко ему чуждыми. Наша эмоциональная и тенденциозная русская публицистическая манера, которую мы привносим даже в научные сочинения, отталкивает западного читателя вне зависимости от содержания наших работ. Второй довод: историко-политический опыт, с одной стороны, Запада, с другой — России и СССР столь различен, что нам нечего Западу дать, а ему от нас — взять. Интерес ученых Запада к нам сугубо академичен: так изучают строение кристаллов или кости ископаемых ящеров. К жизни исследователей и их народов предметы таких академических интересов отношения не имеют. Смешно поэтому требовать внимания, всеобщего и повседневного, к тому, что мы могли бы сообщить о себе и о покинутой нами стране народам, нас принявшим.

Подозреваю, что оба довода несостоятельны.

Первый довод принадлежит не самому западному читателю, ибо из-за немногочисленности переводов, плохой (или отсутствующей) рекламы и нашей коммерческо-деловой импотенции он нас не знает. Это мнение "гелертерской", "сайентистской" среды, стоящей между читателем и нами, причем далеко не лучшей части этой среды. Запад дает от античности и по сей день (от Лукреция Кара и до Роберта Фейнмана и др.) блестящие образцы весьма личностной философской и научной эссеистики; проникнутые юмором и изяществом естественнонаучные и системологические сочинения; отнюдь не чуждые политической страстности исторические и социальные исследования и т. д. Кроме того, на Западе издается "левыми" для народа немало популярных пропагандистских работ, построенных на весьма эффективной, стилистически продуманной демагогии, рассчитанных более на эмоции, чем на разум. Конечно, стремясь обрести контакт с академической "сайентистской" средой, следует овладеть и ее стилем. Но при достаточной массовости переводов (если бы последняя чудом осуществилась), при хорошо разработанной рекламе русская публицистическая манера нашла бы отклик в читателях всех континентов. Нашла же его русская художественная литература.

Второй довод (о том, что выходцам из СССР нечего сказать своему окружению) основан на роковом заблуждении. "Мы у себя построили чудовищную систему, — говорят сторонники этого довода, — нам уж во всяком случае нечего поучать других". Да, мы у себя построили чудовищную систему; именно поэтому нам и следует подробнейшим и достоверней-

шим образом рассказать другим, что и как мы (следуя их идеям) построили. Ибо, во-первых, построенная нами система динамична. Этот ад не стоит на месте, а уверенно и упорно надвигается на остальной мир, ведет против него подкоп, перестраивает его изнутри (так генный аппарат вируса, внедряясь в клетку, перестраивает ее генный аппарат по своей программе). А во-вторых, наше новое окружение и по собственной инициативе и воле движется в том же губительном направлении, в котором первыми двинулись мы.

Значительная часть ученых и литераторов — выходцев из СССР — рассматривает западную советологию как нечто для себя первостепенно важное, как возможный канал своего воздействия на миропонимание Запада. Советологи же, с которыми я профессионально общаюсь уже несколько лет, ценят нас даже в качестве полуавтоматических (задали вопрос — отвечай) источников информации гораздо менее, чем, к примеру, официальную советскую периодику. В качестве же источника *мыслей, а не фактографии* в какой-то мере ценятся в университетской среде только те из нас, чьи соображения и стиль тождественны собственным соображениям и стилю советологов местного образца.

Массовая популяция западных советологов наиболее активного возраста (30—50 лет) в наши дни состоит преимущественно из приятных, общительных, жизнерадостных журналистского типа молодых (или моложавых) людей, которые очень страшатся оказаться ненароком причастными к западным настроениям периода так называемой "холодной войны".

Благожелательные и оптимистичные, они стремятся быть прежде всего объективными, не поддаваться предубеждениям и политизированным эмоциям, являясь таким образом функцией современной политики своей страны по отношению к СССР.² Детантники очень боятся сместиться в своем отношении к советскому феномену (а также к марксизму и коммунизму в целом) "вправо", что было бы в их глазах дурным тоном. Заметим, что смещение "влево" современного советолога не компрометирует.

3. ЗАВЯЗКА СЦЕНАРИЯ

Когда мы, родившиеся и учившиеся после 1917 года, поняли (*те, кто поняли*), что тривиальные для советского человека

источники нам лгут, мы ринулись на поиски необычных, нетривиальных источников. Западные советологи детантной формации действуют по той же схеме, что и мы: они отвергают ради повышения своей объективности и осведомленности издавна и легко им доступные досоветские, несоветские и антисоветские источники, зачастую (не все) обходят их не читая, дабы не заразиться их тенденциозностью. Затем они обращаются, как им представляется, к *первоисточнику* — к советскому информационному офицеру. При этом они очень много работают: учат русский язык; добросовестно, в оригинале изучают советские журналы и газеты; исследуют разнообразные выпуски ЦСУ, текущие открытые партийные документы и т. п. Они устремляются на советские гуманитарно-идеологические кафедры для получения ученой степени, для слушания специальных курсов, для участия в официальных программах совместных исследований под руководством светил советских социальных и гуманитарных наук. Они едут в СССР в качестве журналистов и изучают советскую жизнь, как им представляется, в натуре. Но они не вносят необходимых и достаточных поправочных коэффициентов в свои впечатления. Они недостаточно отчетливо понимают следующее обстоятельство: приехав осваивать советскую жизнь и советскую идеологию по легальным источникам, они немедленно попадают в зону организованного воздействия той целенаправленной, всеобъемлющей, агрессивной и, главное, правдоподобной фальсификации, из тисков которой с таким трудом вырываемся мы.

Нельзя забывать и о том, что советологу хорошо известны затруднения и осложнения западной жизни. Свойственная порядочному человеку склонность взыскательней относиться к себе и ко всему своему, чем к другим и ко всему чужому, заставляет его очень придирчиво оценивать свой мир и весьма снисходительно — чужую жизнь³. Поэтому он не склонен видеть, что иноземные гости живут в СССР по безвыходному, совершеннейшим образом разработанному сценарию, в предусмотренном окружении, с плановым постоянным и с плановым "случайным" общением. Выskalзывать периодически за пределы сценария может лишь хорошо подготовившийся и психологически устремленный к этому человек. А советолог-детантник психологически настроен не видеть сценария или видеть его лишь в малой части. Он готов ручаться, что не раз обхитрил сценарий, наличия которого он в принципе не отрицает. Но он не видит главного: почти полной безвыходности навязанного ему общения.

Ведь даже то, что кажется ему бескрайним простором, свободой (как лесная полянка в романе Дж. Орвелла), является чаще всего коридором с цветными звуковыми стереокадрами на уходящих ввысь стенах и с редчайшими, мало ему заметными (и еще менее доступными) щелями.

Попадая в ловушку собственного неведения, объективизма и благожелательности, влекомый опытными распорядителями по почти безысходному тоннелю квазиобщения, лжеслучайностей и псевдодействительности, советолог-детантник чаще всего покидает страну с представлениями и впечатлениями, запланированными — в наиболее важных вопросах — советской властью.

Возникает тот парадокс затмения ясновидящих, который мы в ужасе наблюдали, когда Бернард Шоу писал о добродушном простачке Сталине, о чудесных обедах в столичной гостинице для иностранцев и отрицал сельский голод в СССР 1932—33 годов; или когда Лион Фейхтвангер свидетельствовал об объективности больших процессов 1936—38 годов, об отличном состоянии и добровольных показаниях подсудимых; или когда Ромен Роллан, Анри Барбюс, Пьер Декс и другие левоориентированные интеллектуалы обрушивались на первые разоблачения советской действительности 1920-х—1950-х годов всей мощью своего гуманистического престижа, доказывая лживость и злонамеренность врагов нового общества...

4. САМОВОСПРОИЗВОДСТВО СЦЕНАРИЯ

Советолог, журналист, писатель приезжают из западных стран в СССР не людей посмотреть и себя показать, а за материалом для своих работ. Если по отношению к досужим туристам и деловым людям советскую администрацию занимает, в основном, исключение нежелательных для нее контактов, то с людьми пишущими дело обстоит сложнее. Надо организовать их знакомство с СССР так, чтобы они и дома оставались во власти тех впечатлений, которыми их запрограммирует хорошо разработанный сценарий общения...

”Понимаете ли, — сказал мне обаятельнейший молодой человек, профессор одного из солидных американских университетов, автор двух книг об СССР и многих статей, часто упоминаемых в литературе,⁴ — новейшая американская советология предпочитает заниматься исследованием конкретных вопро-

сов, а не политизированным философствованием. Наши предшественники и старшие современники увлекались общими и оценочными моментами. Мы же исходим из факта, что обе системы существуют, обе имеют достоинства и недостатки, и нет смысла обсуждать желательность или нежелательность их существования. Мы стараемся не вносить оценочного политического субъективизма в наши полевые исследования. Поэтому я жду от лиц, любезно согласившихся ответить на вопросы моей анкеты, точной реакции в рамках заданного вопроса, но не более”.

И вдруг я подумала: почему я жду от этого 33—35-летнего американца бóльшей горячности в подходе к проблемам советологии, чем от себя — в подходе хотя бы к проблемам слитного и раздельного написания ”не” с наречиями? Тоже ведь важно и интересно!.. Он занят Россией и СССР не более, чем любой добросовестный ”профессиональный профессионал” — своей *службой*. Ведь это для меня советология — факт миллиардов биографий, в том числе — моей и моих близких, а не для него! Того, что *это* намерено стать и его биографией, он еще не чувствует... И я взяла в руки его анкеты, а он приготовился включить магнитофон. Но... я читала и перечитывала вопросы и при всем своем желании помочь симпатичнейшему из информационных вампиров, которых я когда-либо видела, не могла начать говорить. Следовало раньше изложить собеседнику свой взгляд на то, почему эти вопросы не приведут его к цели. Он-то хотел знать *правду*, а вопросы попросту не содержали возможности ответить на них правильно.

Объединю примеры, почерпнутые мной из нескольких анкет.

Меня просили однажды ответить, на основании каких данных и качеств трудящиеся СССР *выдвигают кандидатуры* в советы. Я объяснила, что ”трудящиеся” никаких кандидатур ни в какие органы власти не выдвигают: все кандидаты завуалированно или открыто навязываются им сверху. Казалось бы, это общеизвестно. Мне вежливо предложили соблюдать объективность: не могу же я отрицать, что повсеместно идут собрания, на которых трудящиеся *могут* выдвинуть своего кандидата и не поддержать рекомендованного? Я напонила недавний случай с Роем Медведевым и Людмилой Агаповой.⁵ Мне объяснили, что это не типический случай,⁶ ибо Рой Медведев — оппозиционер, а Людмила Агапова — отказница и жена невозвращенца. Автор анкеты был приглашен в начале 1970-х годов в СССР, прошел аспирантуру при МГУ и, по его словам, *сам видел* собрания, на которых кандидатов в местные органы

власти выдвигали рядовые советские люди, а не представители власти. Выдвигали и *обсуждали* — вот что главное!

Мое возражение, что оба мы: он и я — видели много раз, как солнце плывет по небу вокруг земли, а между тем это не так, что для ученого очевидность не доказательство, не сработало. По-моему, хозяин анкеты (не знаю, он ли был ее автором) только лишний раз убедился в неизбежности эмигрантского политического субъективизма.

Владелец другой анкеты интересовался тем, *"кто виноват"* в провале косыгинской (так он ее называл) экономической реформы, призванной либерализовать советскую экономику. В вопросе перечислялись и вероятные виновники: партийная бюрократия; администрация разных рангов; рабочие и служащие, интенсивность труда которых возросла бы, а зарплата и занятость пострадали бы в случае победы реформы... И опять я вынуждена была оспорить вопрос: не *"кто виноват"*, а *"что не позволяет либерализовать советскую экономику"* (с предварительным уточнением понятия экономической либерализации). И опять, разумеется, мое возражение было воспринято как симптом нездоровой, ненаучной тяги от жизненных данностей к беспочвенным умственным спекуляциям.

Однажды меня спросили:

"Знаете ли вы о случаях, когда предприятию давались завышенные планы по чисто политическим причинам, т. е. с целью испортить карьеру директору предприятия или областному руководству (приведите, пожалуйста, сами примеры)". Я перечитала анкету, тщетно пытаюсь найти в ней другой вопрос: *"Является ли объективно возможной выработка Госпланом реальных планов?"* Потом задала подобный вопрос сама. Меня поддержали другие бывшие россияне, приглашенные заполнить те же анкеты. Наш интервьюер, решив, по-видимому, побить врага его же оружием — обобщениями, вытащил из портфеля три маленьких томика,⁷ порылся в них и прочитал вслух:

"...советская система экономического планирования, по-видимому, никак не вяжется с русским национальным характером.

...Предоставленные самим себе русские обычно беспечны, беспорядочны, приятно неорганизованны и не очень деятельны; это — люди, мало знакомые с понятием "эффективность" (знаменательно, что в русском языке даже не было слова для обозначения этого понятия и пришлось его заимствовать из английского).

...Кроме того, иностранец может осмотреть множество заводов, глаза на станки, и так и не узнать, что такое "штурмовщина", не понять, что чувство времени у русских весьма расплывчато или не существует вовсе (это и очаровательно, и одновременно грустно)".

Из этого следует, что "советская система экономического планирования", в общем-то эффективная, не срабатывает в СССР из-за очаровательного непонимания русскими необратимости времени, текущего у них между пальцев...

Ну, рассудите сами, до плана ли тут? Кстати, в русском языке обозначают заимствованными словами и понятия "деспот", "тиран", "садист", "эксплоатация", "диктатура", "тоталитаризм" и многие прочие мерзости. Давайте сделаем на этом основании далеко идущие выводы! Если слова заимствуют, значит, есть что ими называть. Только отсутствие (надеюсь) в моем характере злобной мстительности не разрешило мне пожелать собеседнику проверить эффективность советской системы экономического планирования на американском национальном характере. Кроме сверхмодного в наши дни национально-психологического объяснения, нам было предложено еще и лично-психологическое объяснение того же факта: наш собеседник опять раскрыл один из трех томиков Х. Смита:

"Это — тупик, — сказал мне высокопоставленный партийный журналист незадолго до моего отъезда из Москвы. — Наша экономика нуждается в реформах, но никакие реформы невозможно провести, пока у власти находятся Брежнев, Подгорный и Косыгин. Они не могут согласовать между собой программу действий. И ни один из них, даже Брежнев, не настолько силен, чтобы осуществить сколько-нибудь серьезные перемены против воли двух других".

Теперь оказалось, что корень зла — в несговорчивости трех маразматиков. А не будь их — давно уже все реформировали бы...

Беседа проходила у меня дома. Поэтому я смогла выложить на стол перед гостем несколько журналов, книг и отписок, связанных с интересующими его вопросами и, казалось бы, достаточно широко известных. Эти работы, принадлежащие различным авторам, доказательно опровергали ходячий нынешний международный предрассудок, гласящий, что "социалистические семена не взойшли на русской почве, но были

заживо в ней похоронены”⁸ исключительно из-за свойств самой почвы, а не из-за качества этих добрых в своей основе семян (плохая русская почва сама собой породила монстра, заражающего весь мир бюрократизмом и империализмом).

После длительной паузы, заполненной шелестом страниц, наш гость сказал: ”Я не знаю ни этих авторов, ни этих изданий. В научных целях мы эмигрантов и Самиздат читаем редко”.

Я вспомнила, как лет десять тому назад в Москве один из ближайших моих друзей искал способа бесшумно выстрелить из рогатки или арбалета во двор какого-нибудь западного посольства рулончиком микрофильма одной подпольной научной работы о социализме, которую считал значительной. Общее исконное горестное заблуждение, так хорошо переданное незабвенным ”Айболитом-66”: ”Сейчас я пойду и скажу им все, что я о них думаю!”. И одни устыдятся, другие поймут, что им делать, — и все исправится. И люди в прах разбивают свое бытие, чтобы вручить миру *правду*, а русскоговорящие западные советологи не читают эмигрантских книг, газет и журналов из-за ”политизированности” этих изданий... Так не одержана ли сценаристом победа, уже почти роковая? И ведь многие наши коллеги, тоже покинувшие СССР, упорно доказывают и им, и нам, что читать эти издания и не стоит. А последние ЧРЕЗВЫЧАЙНО богаты сейчас достоверной и значительной информацией.

5. О ВЕРНОСТИ ИСТИНЕ

Общеизвестно, что наши недостатки суть продолжения наших достоинств. Как уже было сказано, слабости современной университетской советологии растут из ее повышенного пристрастия к объективности и к верности фактам. В конце 1940-х, в 1950-х и 1960-х гг. в западной советологии на первом месте стояло стремление к системному анализу, к системной интерпретации фактов. Благодаря тому, что и советской научной мысли в конце 1950-х — начале 1960-х гг. было дозволено обратиться к исследованию самоорганизующихся систем, мы получили в переводах на русский язык целую серию монографий и сборников по системной самоорганизации, открытую книгой Н. Винера ”Кибернетика и общество”. Часть переводных изданий и многие на западных языках пришли в СССР

нелегально, по каналам Тамиздата. Среди них были работы У. Росту, К. Поппера, Р. Конквеста, Ст. Бира и ряда других авторов. Советская научная мысль обратилась к той же тематике, знакомой ей с 1920-х—1930-х гг., и нередко выдавала прекрасные социально-системные исследования в терминах не гуманитарных, а естественных и точных наук.

Что же мы наблюдаем в потоке нынешних западных советологических изысканий? Ее Величество Систему, изучаемую с точки зрения структурно-информационной, оттеснил Его Величество Факт, исследуемый сам по себе. В основе такого предпочтения лежит боязнь неточности и необъективности по отношению к изучаемому объекту. Результатом гипертрофии этой боязни стало неумение увидеть систему и ее тенденции в целом, как сложное и подвижное образование, имеющее специфические внутрискруктурные и внешние связи.

Мне пришлось стать участницей весьма благожелательной беседы между исследователем, приехавшим из СССР, и его здешним научным руководителем. Младший по рангу писал объемистую работу о советской школе. В центре должны были стоять школьные реформы в СССР эпохи Хрущева, но в целом предполагалось проследить принципиальную эволюцию российской школы с 1860-х гг. по 1960-е годы включительно.

— Только, пожалуйста, не отклоняйтесь в общесистемный анализ. Предмет вашего исследования — только школа, школа как таковая, школа как подсистема, а не советский феномен в целом. Факты, факты и факты — жизнь школы, а не влияние на школу советского строя, не ваши оценки такого влияния, — мягко внушал терпеливый руководитель.

— Но, — последовало возражение, — как можно исследовать подсистему вне системных связей? Только локализация внутри более широкой структуры делает некое явление подсистемой, а не шишкой на голом месте...

Руководитель корректно заметил, что исследователь волен трактовать тему по своему усмотрению, но работа весьма проиграет в глазах западного читателя, если она окажется содержащей оценочные моменты, то есть политизированной, и не вполне конкретной, иными словами, отдаляющейся от фактов. В частности, недопустимы в научной работе такие характеристики, как "зловещая" фигура Суслова или "бессменный" Анастас Микоян... Не стоит перечислять и всю идеологическую тематику в советском школьном "воспитательном плане" и в планах учителей-предметников: это длинно и однообразно. И вообще — меньше об идеологии и больше о профессиональной работе школы.

Выходец из потустороннего мира хотел было возразить, что с последним советом следует обращаться не к нему, а в ЦК КПСС, но вовремя прикусил язык: некорректно, а главное — бесполезно.

Предвижу вопрос со стороны читателя: "Чем же плохо уважение к фактам? Разве из достаточно объективных и взятых в реалистическом соотношении фактов не встанет действительность, и притом более убедительно, чем из отвлеченных соображений?"

В том то и дело, что нужны достаточно объективные и взятые в правильном соотношении факты.

Начну свой ответ со второстепенного соображения. Во-первых, исследователь *имеет право* сообщить читателю свою интерпретацию фактов и взаимосвязей между ними. Это сообщение может быть самым главным в его работе (для него — во всяком случае). Во-вторых, читатель не должен проделывать за исследователя, *вместо* него, самую сложную часть работы — анализ, сопоставление и оценку фактов. За читателем всегда остается возможность интерпретировать и оценить факты и связи между ними по-своему, но это не значит, что исследователь не волен закончить свою работу изложением своих выводов, а не только дать основания для них. В естественных и технических науках это общепринятый подход.

Есть, однако, и другие доводы против сугубо фактографического подхода к советологической тематике. Первый из них — наличие в странах советского типа двойной реальности, неочевидное для малоопытного наблюдателя. Есть жизнь (подлинная реальность), и есть макет жизни (неподлинная реальность). Макет строится из различного материала и на различных уровнях: информационном (словесном и образном), функциональном (действие) и вещественном. Юз Алешковский сатирически, даже саркастически, заострил эту двойственность советской жизни в повести "Маскировка". Человеку, не жившему одновременно в обеих плоскостях советской реальности (в жизненной и макетной), очень трудно порой догадаться, к первой или второй относится воспринятый им факт. При этом часть наблюдателей-иностранцев даже не знает о существовании двух реальностей, а часть слышала, но не верит предупреждениям, полагая в предупреждающих комбинированный психоз преследования и критиканства. Кроме того, макет, воспроизводящий неподлинную реальность, функционирует не только внутри "больших зон" социализма, но и энергичнейше выдвигается во внешний мир и внедряется в сознание его обитателей. За "зоной" макет советской псевдореально-

сти действует еще успешнее, чем внутри "зоны", ибо вне "зоны" его не с чем соотносить.

Итак, без помощи аборигенов или без достаточно долгой жизни в "зоне" *на равных правах и в равных условиях с ее туземцами* невозможно составить верное представление о жизни в "зоне" и правильно воспринимать факты. Но и помощь аборигенов не исключает ошибок: нужно еще, чтобы туземец, информирующий потустороннего наблюдателя о своей жизни, был сведущ, честен и смел, то есть не был бы делегирован "второй" (неподлинной, макетной) реальностью.

Второй довод против лишь узко фактографического подхода к изучению *любого* общества состоит в том, что о системе нельзя получить удовлетворительно полное представление, изучая только ее элементы и подсистемы вне их взаимосвязей и связей системы как целого со внешней средой. При переходе же от изучения элементов и подсистем к изучению системы как целого зачастую меняется не только объект исследования, но и наука, чьи аксиомы и теоремы при этом используются.

В естественных науках этот факт сомнения не вызывает. В гуманитарных областях мы почему-то время от времени о нем забываем.

Живое, как теперь известно, состоит из тех же атомов, что и неживое, но исчерпать многообразие живого мира только физикой (биофизикой) и химией (биохимией) невозможно. Потому-то и существует биология — наука о строении и жизни растений и животных. Но и биология (включая молекулярную) не исчерпывает всего того, что нам следует знать о жизни биоценоза как некоего сложного и конфликтного целого. Постепенно сложилась экология — наука о системном существовании всего живого в его природной и техногенной среде.

Наука о человеческом обществе, в свою очередь, не может быть сведена ни к биологии, ни к экологии, ни к психологии, ни к истории, ни к конкретной социологии, хотя все их использует. Общество есть некое целое, со свойствами, не присущими другим плоскостям жизни. На этом уровне возникает системология, кибернетика — не как техническая дисциплина, а как наука о функционировании сложных систем, рассматриваемых преимущественно со стороны их структуры, связей и функций. Сводить изучение общества к изучению только фактографической стороны его бытия — то же самое, что сводить изучение лесной экологической системы к изучению одних только деревьев (в то время, как в ее состав в сложнейших взаимосвязях входят травы, животные, птицы и

насекомые, почвы, черви, микроорганизмы и др.). Отсюда блистательная поговорка — ”за деревьями леса не видеть”. Изучите деревья, начиная с видового и до молекулярного уровня, — но если вы ограничитесь только этим, вы о лесе как о системе так ничего и не узнаете. Чем элементарней уровень, на котором вы изучаете жизнь, тем больше общего и меньше различий между объектами своего внимания вы обнаружите. Если в своем рвении к элементарности (к недробимости) изучаемых вами объектов вы доберетесь до органических молекул, вы увидите химическое единство всего живого, а перейдя на уровень атомов (не говоря уже об уровне составляющих их элементарных частиц) вы включите в это единство и неорганическую материю. Но вы ничего ровным счетом не узнаете о системе, которую разложили до уровня элементарных частиц, как о некоем целом и как о факте социальной природы. Чем выше порядок, на уровне которого вы изучаете жизнь (элементарные частицы, атомы, неорганические молекулы, органические молекулы, белки, органеллы, клетки, ткани, органы, организмы, виды, биоценозы, экосистемы) или общество (человек, семья, народ или цех, предприятие, отрасль, экономическая система, строй), тем больше различий вы обнаружите. Фактография дает нам первостепенной важности материал для анализа, сопоставления и обобщения, но без анализа, сопоставления и обобщения мы никогда ничего не узнаем о целом и о роли в нем собранных нами фактов.

Уход от системных обобщений советологии 1940-х—1960-х годов к частностной эмпирике массовой университетской советологии 1970-х — начала 1980-х годов отдает последнюю почти целиком во власть того динамического и многосоставного макета псевдореальности, который внедряет в мировое сознание КПСС.

6. ГОВОРЯТ НЕУСЛЫШАННЫЕ

А. П. Федосеев в замечательной своей книге ”Западня”⁹ пишет:

Если вам будут известны все данные о государственном хозяйстве на сегодня и законы, определяющие движение этих данных, то, на первый взгляд, вы сможете с абсолютной точностью предсказать, то есть спланировать

будущее. Всем хорошо известно броуновское движение как пример истинно хаотического (не планового, не предсказуемого) движения. Но представьте себе, что вы на какой-то данный момент знаете все массы, все скорости и все направления скоростей всех молекул в таком броуновском объеме. В этом случае вы сможете предсказать все, что последует в будущем, и предсказать результат вашего воздействия на этот объем...

...Для принятия решения мы располагаем временем порядка 10^{-6} сек. Таким образом, для решения нашей, по существу очень простой, задачи мы должны уметь принимать за 1 секунду миллион решений, из которых каждое включает в себя набор из 10^2 элементов. При этом мы невероятно упростили задачу тем, что не ввели в нее все те молекулы, которые находились за пределами 1 см^3 , но в следующий момент войдут в него. Нам станет ясно, что задачу нельзя решить (хотя она и очень просто формулируется) даже с привлечением всех существующих и всех возможных в ближайшие десятилетия электронных вычислительных машин.

И далее:

Эксперимент этот проведен в таком огромном масштабе и в таких различных условиях, что сомнения могут оставаться только у неосведомленных людей, которых, конечно, и сейчас, по известным причинам, очень много.

Здесь содержится небольшая, но существенная психологическая иллюзия, которую разделяем в какой-то мере мы все, сложившиеся под цензурным гнетом: нам кажется, что корень зла в неосведомленности. Попадая в поле информационного урагана, бушующего на Западе, мы убеждаемся, что осведомленность и понимание не синонимы.

Предоставим слово другому автору:

Однако в связи с централизованностью, количество информации, с которым приходится иметь дело в процессе управления, бесконечно, — переработать всю ее просто невозможно. Но пустить эту переработку на самотек тоже немислимо, — вся система будет работать со скрипом, с пониженным КПД.¹⁰

Виновен ли в этом "скрипе" и "пониженном КПД" "русский" (русские составляют чуть более 50% населения СССР) или чей-то еще национальный характер? Лучше ли работает "плановая" централизованная экономика на почве других национальных характеров? Но сделаем фантастическое допущение, что информация извлечена и своевременно переработана. Тогда возникнет главный вопрос, по-видимому, и вынуждающий Природу (*Имя* может быть заменено) терпеть несовершенства разнообразных конкурентных отборов: на основании чьего представления о благе будут приниматься решения, которые лягут в основу единственного и обязательного для всех плана?

Н. Я. Петраков в книге "Кибернетические проблемы управления экономикой"¹¹ делает "мимоходом" роковой вывод, что

...критерий оптимальности экономической системы может быть введен лишь на основе анализа ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ В ЦЕЛОМ (Выделено Д. Ш.).

После вполне пристойных и благонамеренных рассуждений об участии в выработке такого критерия всего советского общества, он заключает:

Все сказанное выше дает основания предполагать, что при определении аксиоматики оптимального планирования и управления постулат о наличии народно-хозяйственного критерия оптимальности должен быть дополнен постулатом об априорной неопределимости этого критерия.

Итак, невозможно извлечь всю необходимую информацию даже для построения отправных критериев плана. Значит, последний в любом случае не может не быть в основной своей части произвольным.

Но угрожающе многие западные новооткрыватели СССР ведут себя так, словно ни советской истории, отраженной в бесчисленных документах, ни лавины статей и книг, исследующих эту историю в Самиздате, Тамиздате, в литературе *Запада* и Русского Зарубежья не существует. А уж о тех немногих советских авторах, которые рискнули и сумели высказать в легальных своих сочинениях первостепенной значимости мысли о социализме, и говорить нечего. Советологи предпочитают

свои анкеты, вопросы в которых поставлены так, что определяют несоответствие истине любого ответа.

Меня недавно просили ответить, как часто случается, "что в областной газете секретари обкомов пишут иное, чем во все-союзной и республиканской прессе", и знаю ли я достоверно о случаях, когда секретари обкомов подписывали статьи, противоречащие их действительным политическим предпочтениям!

Человек, задавший мне этот вопрос, несколько лет изучал советскую партийную прессу. Он добросовестно проработал все (!) доклады Хрущева и Брежнева и проанализировал сотни статей секретарей обкомов. Не мне отвергать его метод: советская официальная пресса — неисчерпаемый клад для советологических изысканий. Но и у этого профессора-советолога, делающего быструю карьеру в США, не было в запасе материала, ни жизненного, ни литературного, в соотношении с которым только и начинает играть живыми красками советский печатный официоз.

Иностранцу недоступна и многоплановая семантика советизмов — особых речевых штампов, пропитавших собой советский публицистический, научный и разговорный язык. К тому же они не обладают советской способностью читать между строк и обращать на подтекст больше внимания, чем на текст.

Секретарь обкома КПСС виделся моему реципиенту действительным хозяином области и областной прессы — чем-то вроде раннефеодального герцога или князя, но отнюдь не староазиатского сатрапа, всевластного над подчиненными и бессильного перед инстанцией, вручившей ему сатрапию. Между тем областной партийный "хозяин" (и республиканский — тоже) именно сатрап, а не суверенный удельный властитель.

Кроме того, мой собеседник представлял себе секретаря обкома КПСС как человека, имеющего и пытающегося утвердить свои "действительные политические предпочтения". Он видел советского партсатрапа во многом сходным с лидерами и активистами западных партий, которых он хорошо знал. Его отечественные чиновники и политики тоже не ангелы. Но, равняясь на их этический и духовный уровень, невозможно даже приблизиться к пониманию истинного облика функционеров тоталитарных мафий. Мы пытались ему объяснить, что человек с убеждениями, да еще обладающий совестью, необходимой для того, чтобы их отстаивать, не добирается до поста секретаря обкома.

— Неужели, — недоуменно спрашивал он, — вы думаете, что среди секретарей обкомов нет искренне убежденных в своей правоте коммунистов?

— Прежде всего попытайтесь, пожалуйста, нам объяснить, что вы понимаете под искренней коммунистической убежденностью. Убежденностью — в чем? В спасительности и выполнимости нынешней программы КПСС? Или какого-то иного варианта партийной программы? Или просто в необходимости продолжать обеспечивать власть коммунистов в СССР? А может быть, жажду мирового господства КПСС? — наступали мы. — Сегодня в СССР любые идеалисты от коммунизма должны быть, мягко выражаясь, недостаточно умными для того, чтобы пробиться на такой пост. А проницательные и одаренные партийные функционеры наших дней не могут не быть в глубинах своих душ полными циниками.

— Но люди не повторяют друг друга... — отбивался гость.

— Конечно. Однако проходят какую-то социальную селекцию, занимая в своей сфере деятельности ведущие должности. Из того запаса психологических черт, которыми располагает любое человеческое сообщество, всякая деятельность стохастически отбирает свойства наиболее для нее необходимые. В СССР же, с его тотально централизованной властью, несоответствие верховным критериям при таком отборе возникает значительно реже, чем в западных странах. Посмотрите, как рисует селекцию советского руководства А. П. Федосеев в своей "Западне". Итак, национализированная экономика работает со сбоями и скрипом, а политика ее охранителей попирает, во что бы это народу ни стало, все нравственные законы. Как ведет себя в этом случае человек, оказавшийся по ряду причин у власти? Цитирую далее А. П. Федосеева:

Если вы человек порядочный, то вы, вероятно, подадите в отставку и станете убежденным противником тотального планирования и, следовательно, государственной собственности на все средства производства.

Почему? Потому что

вы отказались участвовать в "игре", основанной на неверной основной предпосылке. Однако вы, безусловно, могли почувствовать ту огромную власть, которую давала вам в руки именно эта основная и неправильная предпосылка.

...Огромная власть. Идеальные условия для управления миллионами людей. И в то же время — исчезновение естественной базы для решений и человеческих критериев для управления, фактическая невозможность разумно, на благо людей, управлять. Страна стала игрушкой в ваших руках, а вы стали игрушкой еще чего-то более сильного.

Представим себе, однако, людей, которых заботит не благо страны и народа, а только свое личное благополучие, и они стремятся к власти именно ради власти. Понятно, что для этих людей такая система идеальна. Поэтому, если честные люди сознательно или бессознательно теряют желание брать на себя ответственность, которую невозможно использовать на благо людям, то прохвосты и проходимцы охотно участвуют в такой "игре" и стремятся ее поддерживать. Таким образом, эта основная предпосылка социалистического хозяйства приводит к социальному отбору властолюбивых подлецов в управители. И дальше: остальной аппарат управления, также в соответствии с основной предпосылкой, вербуются из равнодушных и бесталанных исполнителей, умеющих говорить только "да", и из еще никому не известных сейчас, исподтишка рвущихся к власти новых кандидатов в управители.

Но советологу-детантнику, занимающему десятки людей своими анкетами, больно думать, что он годами занят изучением специально на него, на его доверчивость и рассчитанных псевдовзглядов и псевдоэтики "властолюбивых подлецов", "равнодушных и бесталанных исполнителей", беспринципных и безнравственных карьеристов. Как уже было сказано, западный гость видит их только с той стороны, с которой они сами решают ему показаться. Лица, с которыми он официально (а чаще всего — и "случайно") встречается, это не люди, а карнавальные маски. Здесь, в этой узкой и хорошо ими изученной сфере лицедейства и фальсификации, плановость куда реже изменяет гостеприимным хозяевам нашего западного наблюдателя, чем в экономике. А то, что советских руководителей люто бранят советские вольнодумцы, — так на Западе своих государственных деятелей, чиновников и политиков еще пуще бранят. Наш гость этой ругани цену знает: какой уважающий себя человек вслух посочувствует правительству, а не оппозиции?..

Горько. Но, по-видимому, механизм включения чужого опыта в свой опыт людям мало доступен. И беспристрастный объективист, подобно героям А. Кестлера (Рубашов), А. Солженицына (Володин), Вас. Гроссмана (Крымов), оцнется только тогда, когда будет втянут в машину тоталитаризма "на равных" с туземцами Западни.

"Время и мы" № 48, 1979, Тель-Авив

P. S.

Поездки западных советологов в СССР имеют еще одну оборотную сторону: СССР впускает лишь тех претендентов на визу, которые не скомпрометировали себя ни "крайними" высказываниями о Советском Союзе, ни контактами с антикоммунистами. А поскольку знакомство с СССР "на месте", изнутри считается на Западе необходимым условием объективности советолога, то советские требования становятся одним из существенных факторов, управляющих его деятельностью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. По мнению Б. Шрагина (см. журнал "Время и мы" №65), мы плохо знаем и самих себя. Позволю себе с этим не согласиться: кто как...
2. Данная статья была впервые опубликована в декабре 1979 г., т. е. в разгаре детанта. Но то, что было тогда справедливо по отношению к детантникам, остается для многих справедливым и по сей день.
3. Если отсюда следует вывод, что ксенофобия – симптом недостаточной личной порядочности, автор от этого вывода не отрекается.
4. Имен встреченных мною западных, в том числе и израильских, университетских советологов я здесь не называю. Но беру на себя полную ответственность за смысл их высказываний. Ранг моих персонажей в современной западной советологической иерархии тоже передан мною точно. Он весьма представительен.
5. Попытку группы диссидентов выдвинуть их в качестве кандидатов на выборах в Верховный Совет СССР.
6. Любой одиночный пример противоположного свойства, т. е. иллюстрирующий самостоятельность собрания избирателей, был бы немедленно включен в анкету и учтен. Так действует априорная установка на некий желательный результат исследований.
7. Х. Смит, Русские, (превод с англ.), STI, Ltd, Иерусалим, 1978. В дальнейшем все ссылки на это издание.
8. В. Соловьев и Е. Клепикова, "Нынешние и будущие правители России", ж-л "Время и мы" №44, 1979, стр. 151. Тель-Авив.
9. Изд. "Посев", 1974 г., переиздано в 1979 г.; стр. 218 и 370.
10. Н. П. Федоренко, Экономика и математика, М., 1967. Он же, Середина века, беспредельность поиска. Л Г, №49, 1967.
11. Москва, изд. "Наука", 1974, стр. 32.

АМЕРИКАНЕЦ НА РАНДЕВУ С РОССИЕЙ

Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри...

*Шуточная песенка из кинофильма
"Бриллиантовая рука", СССР.*

Не так давно была награждена Пулитцеровской премией книга Хедрика Смита "Русские".¹ Журналист Х. Смит не ограничивается рамками репортажа или путевых записок, а предлагает читателю разгадку советского строя и "русского национального характера, формировавшегося под влиянием климата и исторических обстоятельств".

Книга Смита чрезвычайно интересна для русского читателя не только потому, что далеко не всем россиянам, нынешним и бывшим, известно все то, что узнал об СССР и увидел в СССР за три года Х. Смит. Тем менее известны эти черты и факты западному читателю. Взгляд журналиста и репортера Х. Смита цепок и наблюдателен, и подмечать или запоминать интересные детали и факты он умеет. Но, на мой взгляд, ценность книги не столько в этих, в общем-то, уже так или иначе отраженных русской и мировой публицистикой броских фактах, сколько в том, что трехтомная книга Смита очень полно и выпукло характеризует взгляд американца на СССР. И (последнее еще важнее) не только взгляд, то есть не только то, что иностранцу удастся увидеть в СССР, но и истолкование увиденного. А понимание Западом того, что произошло и происходит в России (в СССР) судьбоносно для всего человечества. Взгляд иностранца на СССР неизбежно и в весьма существенной степени определяется тем, что соответствующие советские органы и инстанции позволяют иностранцу увидеть в СССР. Поэтому модель России и СССР, построенная Х. Смитом в аналитических частях его книги, весьма интересна еще и как результат усилий его гостеприимных хозяев. Последнее звучит парадоксально и даже мало правдоподобно, однако, трудно отказаться от мысли, что иностранец, изучающий СССР, может быть свободен от многообразного контроля определенных инстанций. Попытаемся же проследить, каковы наиболее об-

щие выводы Х. Смита из того, что ему удалось увидеть за три года его пребывания в СССР.

По мнению Х. Смита, главной помехой для Запада в его попытках понять Россию (СССР) является убеждение первого, будто "русские подобны нам" (т. е. "людям Запада"), что на самом деле неверно в принципе. Русские сохранили "все безрассудно-неправдоподобные черты героев Достоевского". И автор перечисляет, расположив их антиномическими парами, чуть ли не все человеческие качества: стоицизм и романтичность, бунтарство и приспособленчество, аскетизм и сибаритство, доброту и жестокость и т. д. и т. п. Но у какого же народа нет этих свойств? А картиной статистического распределения присущих человечеству (ЧЕЛОВЕКУ) психологических черт между различными народами никто еще, кажется, с маломальски удовлетворительной степенью научной строгости человечество не порадовал.

Х. Смит тоже не занимался этим по отношению к своим этнически весьма расплывчатым "русским". Но премия Пулитцера показывает, что объявление их уникальным явлением в истории европейской цивилизации, феноменом, прямотаки, инопланетным, чрезвычайно по душе "людям Запада". Почему? Думаю, что такой взгляд на историю и судьбу России позволяет им быть спокойнее за себя и своих детей. Нам всем присуще избирательное тяготение не к наиболее достоверным, а к наиболее для нас желательным сведениям и толкованиям.

1. БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Западного читателя, вероятно, весьма впечатляет обилие в репортаже Смита *имен, исторических экскурсов, литературных ассоциаций.*

Бог с ними, с отдельными, хотя и существенными, ошибками, заставляющими броненосец "Потемкин" стрелять 25 октября (7 ноября) 1917 года по Зимнему. Признав, что в книге есть и меткие наблюдения, и занимательные детали, и ценные сведения, забудем о статистической небрежности репортажей Х. Смита: величина советской средней зарплаты варьируется (за один и тот же год) в пределах 140—248 рублей; доллар и рубль соотносятся, в основном, по официальному валютному

курсу; уровни жизни СССР и царской России сравниваются по советским данным, что решительно искажает картину, и т. д.

Но вот один из примеров того, как Х. Смит исследует русский характер с помощью литературных ассоциаций:

Еще Достоевский сказал, что русские — полусвятые, полуварвары; эти его слова напомнил мне один египетский журналист, и его пухленькая русская жена добавила: "Русские могут быть очень сентиментальными, но в то же время и очень равнодушными, и очень жестокими. Русский человек может плакать над стихами и через несколько минут тут же убить врага.

Смешно и страшно, когда такие вопросы рассматриваются на уровне "пухленькой русской жены" египетского журналиста и застольных реплик этого журналиста.

Однако более всего искажает картину то обстоятельство, что Х. Смит катастрофически смешивает пропагандные муляжи КПСС и миропонимание советских граждан. Так, он пишет о "русских":

Почти в любом удобном случае можно возвать к их патриотизму и успешно сыграть на этом. Где еще в мире вы можете услышать исполнение по вагонному радио национального гимна при отправлении поезда дальнего следования? Где еще вы можете увидеть, чтобы аудитория целый вечер слушала песни, прославляющие и восхваляющие родину, и не почувствовала бы их излишнюю сентиментальность?

Достаточно, казалось бы, ознакомиться с "Магнитиздатом" 1970-х гг., чтобы увидеть какие песни привлекают советских слушателей и понять, что СВОИ, а не партийно-правительственные вкусы люди в значительной мере удовлетворяют вне легализованного властями искусства. Но Х. Смит простодушно и многократно судит о вкусах советской публики по учиняемому над ней насилию. Гимн слушают, громкоговорителей не срывают и — в общественных местах — не выключают, — значит, нравится! Ну, а если в некоторых нацистских лагерях уничтожения играли во время массовых казней Вагнера или гнали обреченных в газовые камеры под вальсы Штрауса? Будем судить по этим фактам о музыкальных пристрастиях узников? А в советском лагере, где я отбывала свой "срок", на "разводе" оркестр заключенных играл "Песню о Родине" Дунаевско-

го ("Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек")... А в 1949 году на Харьковской областной олимпиаде художественной самодеятельности знаменитую песню о сизокрылом орле Иосифе Виссарионовиче спели за два дня около шестидесяти раз, потому что ни один хор без исполнения этой песни к соревнованию не допускался... Явления разных масштабов? Да. Но одного типа.

Описав помпезные официальные мемориалы и монументальные скульптуры, Х. Смит говорит:

Размеры этих памятников — весьма существенный ключ к разгадке их общественного назначения и к проникновению в психологический склад советского человека.

По его убеждению, "русские" все как один считают, что

В размерах — сила. Но зато в частной жизни они стремятся избежать всего титанического, возвращая вещам их естественные размеры.

Социал-реалистический монументализм, очень родственный национал-социалистическому монументализму, имеет не больше отношения к тому, что "русские" любят, чем теснота советских квартир. Но БЛАГАЯ ДЛЯ ЗАПАДА ВЕСТЬ: советское есть психологически русское — Х. Смитом (с чужих слов, ибо знанием исторических первоисточников он не грешит) усвоена, а проникновенно-сдержанное искусство России известно ему мало. Поэтому "гигантские, выполненные из нержавеющей стали" монстры рекомендуются им Западу в качестве ключа к "русской душе". А Запад восторженно рукоплещет:

**ПРЕМИЯ ПУЛИТЦЕРА! БЕСТСЕЛЛЕР!
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ!**

"Самый всеобъемлющий и правдивый
рассказ о России из всех, опубликованных
до настоящего времени.

Это — важная и великолепная книга.
Она захватывает своей свежестью и глубиной
проникновения."

Милован Джилас ("Сэнди таймс")

"Великолепно!"

(*"Тайм мэгэзин"*)

ОПЯТЬ РУССКИЕ?!
ДА,
НО ТАКОГО МЫ ЕЩЕ
НЕ ЧИТАЛИ!

Перед вами не сенсационные
разоблачения, а сама жизнь.

Это и для тех, кто думает, что знает
о Советской России все.²

Боюсь, что никто, кроме визитеров-детантников, не берет на себя смелость думать, что он "знает о советской России все"...

Внимание Х. Смита привлекает не столько убийственная опека над гласностью со стороны ЦК—ГБ, сколько

та самоцензура, которой подвергает себя большинство русских и которая... является также и следствием общенародной мании любыми средствами приукрашать действительность и скрывать тайные пороки или добродетели русской жизни либо неприятную правду, которая находится в противоречии с коммунистической пропагандой. Почти все в какой-то мере участвуют в негласном сговоре о сокрытии того факта, что советская действительность не соответствует заявлениям партийной пропаганды.

Более того:

...Разумеется, всякому обществу свойственно преуменьшать свои трудности, показывать себя с наилучшей стороны и стремиться произвести хорошее впечатление на визитеров. Однако в советском обществе, для которого предметом особой гордости является его утопическая идеология, эти тенденции доведены до крайности.

...В царское время это называлось "строить потемкинские деревни" по имени князя Потемкина, соорудившего бутафорские деревни вдоль пути следования императрицы Екатерины Великой, чтобы создать впечатление благоденствия находившихся под ее властью областей. В наши дни русские называют это *показухой*. (Курсив Смита).

Я не знаю, что в обобщающих идеях Х. Смита потрясает более: марксистская идеология в качестве "предмета особой гордости" "советского общества" или Его Светлость Показушник Потемкин как прецедент сквозного, тотального подавления советских граждан. Но благая весть, которую автор "Русских" принес Америке, окупает, по-видимому, все несообразности книги. Еще бы: в нынешнем мировом (американском — тоже) отступлении перед силой и наглостью, кому не дорога мысль: "У нас это невозможно"³ — мы не такие"?

2. ИСТОКИ

"Три источника и три составные части" русской модели Х. Смита угадываются довольно легко. Это: а) советская пропаганда; б) расхожий набор "почти-почвеннических", "почти-националистических", но вместе с тем безупречно лояльных казенно-патриотических штампов и в) несколько диссидентско-нигилистических постулатов легковесно-"западнического" характера. В восприятии Х. Смита эти источники легко соглашаются, ибо все они, каждый по-своему, с разных позиций, в различных целях, но утверждают исконную несопоставимость русских и западных мерок. Основа и русского, и советского общественного существования — это властепокорность, бездумное послушание силе, составляющие национальный характер — вот вывод, извлеченный Х. Смитом из всех источников.

Согласно словарю, родина — это родная страна, страна происхождения, отечество, страна, где человек родился. Однако все эти значения не передают могучей власти этого слова, сказанного по-русски. Это слово заставляет русского человека при каждом удобном случае... заявлять о своей лояльности, испытывать гордость и ощущать себя частью нации; это ощущение дает ему спокойствие и уверенность, то чувство локтя, которое в наши дни не знакомо ни американцам, ни представителям западных стран.

Некий тридцатилетний экономист Анатолий просвещает своего собеседника с шовинистически-просветительских позиций:

”Мы называем это ”квасным патриотизмом”, — сказал он. Как и многие другие выражения, характеризующие сущность русской жизни, это понятие дословно непереводимо; оно требует пояснения. Квас — это получаемый брожением из воды и сухарей черного хлеба крестьянский напиток с хмельным привкусом; дешевый квас напоминает несвежий кофе — горький, цвета мутной воды напиток с осадком на дне. Летом в любом городе России вы можете увидеть женщин в белых халатах, продающих квас в стеклянных кружках, в которые они нацеживают его из больших металлических передвижных цистерн, окрашенных в шафранный цвет. Иностранцы обычно от второй кружки отказываются, но русские берут ее с наслаждением; в деревнях же делают собственный домашний квас. Итак, понятие ”квасной патриотизм” означает земной, крестьянский, интенсивный, русский вариант патриотизма.

— Шовинизм? — спросил я.

— Да, шовинизм и нечто даже более сильное, — подтвердил Анатолий.

”Люди готовы практически на все, когда считают, что их отечество в опасности, — сказал Анатолий. — Это относится не только к военной опасности, но и к идеологической, потому что страну захлестывают чуждые идеи. Понимаете, то, что люди считают таких, как Сахаров и Солженицын, предателями, совершенно естественно. Все очень просто: Сахаров и Солженицын обращаются за помощью к иностранцам (наш разговор происходил в 1973 г. после интенсивной кампании в печати, направленной против этих двух ведущих диссидентов). Империалисты используют этих двоих. И поймите, что бы там ни говорили, империализм по-прежнему — наш враг. А раз наш враг использует этих людей, значит, они предатели”.

С темой ”партийно-квасного” патриотизма сливается тема общенародного самовосхваления на почве смешанной мании неполноценности и величия.

Некий ”блестящий молодой консультант в области международной политики” говорил Х. Смиты о постоянном стремлении ”русских” ”пускать пыль в глаза” иностранцам:

”Это идет нам на пользу, этот обман компенсирует нашу слабость, комплекс неполноценности перед иностранцами. Как нация мы не можем чувствовать себя

на равных с другими. Независимо от того, кто из нас сильнее — они или мы. И если они сильнее, а мы это чувствуем, то обманывать их — для нас утешение. Это очень важная особенность нашего национального характера.

Казалось бы, в 1970-х гг., после стольких самиздатских, тамиздатских, западных и эмигрантских книг об СССР, после стольких прорывов цензурного фронта внутри страны, уже нетрудно понять, в чем истоки действительно маниакальной самоцензуры советских подданных и не менее маниакального славословия, которое затопило печать. Но нет... Х. Смит и "Анатолию", и "молодому блестящему" верит. Он даже самостоятельно развивает их суждения:

Английский корреспондент Давид Бонавия дал мудрую оценку парадоксальной лояльности инакомыслящих интеллектуалов: "Они напоминают человека, который днем бьет и ругает последними словами свою жену, а ночью приползет к ней в постель. Они любят Россию, даже те, кто порвал с ней, уехал из нее". Мой московский приятель рассказывал, как одна русская, сорок лет прожившая в Париже и при первой же возможности поехавшая в Россию в гости, вернулась в Париж с единственным подарком, о котором молили ее друзья-эмигранты, — с чемоданом, полным русской земли. На Западе я встречал и евреев, которые вели тяжелую борьбу за право на эмиграцию, но, оказавшись на чужбине, вдруг начинали ощущать себя лишенными корней и испытывали отчаянную тоску по родине. "В духовном, культурном отношении я — русский", — горячился один из этих людей во время нашей встречи в Нью-Йорке. Поэт Иосиф Бродский, переехав на постоянное жительство на Запад, написал Брежневу о своей надежде на то, что его творчество сохранится как часть русской литературы. Приезд в СССР Марка Шагала в 1973 году, после полувека, проведенного в изгнании, вылился в волнующее возвращение домой, в котором проявилась вся страстная привязанность славян к своей родной земле.

Оставим в покое славянина Шагала... Но в инспирированных беседах агенты власти объединяют любовь к России с верностью советской идеологии, с казенным патриотизмом, и Х. Смит немедленно идет на крючок. Отдадим ему должное: в его книге отчетливо обнажается механизм, формирующий

представления визитеров-детантников о русском народе и его отношении к коммунизму.

А вот и вульгарно-”западнический” критицизм. Это говорит Х. Смит: ”Слово ”Родина” возбуждает в душе русских тот нутряной патриотизм, который испытывают американцы при звуке слов ”свобода” и ”демократия” “. Русским же, по его убеждению, эти высокие слова невняты и чужды. На помощь ему приходят готовые блоки чужих высказываний. Привожу одно: ”В силу исторической традиции или по какой-то иной причине идея самоуправления, равенства перед законом, свободы личности и связанной с ними ответственности почти совершенно непостижима для русских”.⁴ Я читала, что Амальрик — историк. Где же история? Куда девались казацьи республики и сибирские или северные поселения — создание тех русских, которые так и не смирились с крепостничеством? Где крестьянские войны XVII—XVIII веков? А различные религиозные толки, сохранявшие веками упорную самобытность наперекор жесточайшим гонениям? Посредством какой косметической операции убраны с лица русской истории — ради спасения Мифа о ”двухтысячелетнем рабстве” — столь разноликие и одновременные факты русского существования, как городское вече и сельский общинный мир? Почему игнорируются все политические заговорщицкие движения и мощный радикализм XIX столетия? А беспрецедентно гражданственная литература? И непрерывное, то подспудное, то прорывающееся на поверхность общественной и литературной жизни движение образованной части общества, которое теперь принято называть борьбой за гражданские права? Оно сопровождало в различных формах все фазы существования досоветской России и добилось в XIX — начале XX в. огромных успехов. Х. Смит о России почти ничего не знает. Но как может русский историк игнорировать уничтожение целых слоев советских (русских и нерусских) народов русскими и нерусскими большевиками? Десятками миллионов смертей Россия оплатила и продолжает оплачивать свою насильственную ”монолитность”. Зачем же правительству во властепокорной стране сохранять такие могучие аппараты дезинформации и внутреннего насилия? Не для того ли, чтобы с их помощью обеспечить пассивность общества, маскируемую под ”нутряное единство”?

Безнадежно путая казенную риторику с мировоззрением порабощенных людей, не замечая того состояния глухой войны, в которой находятся власть и общество, валя в одну кучу самые различные вещи, Х. Смит пишет:

...русские мыслят только двумя категориями: "за" и "против". В них глубоко въелось скептическое отношение к тем, кто придерживается нейтралитета. "Он — наш человек" или, наоборот: "Он — чужак" — это достаточно для оценки человека.

Казалось бы, какие достоинства и преимущества может иметь подобное миропонимание и отношение к людям и власти? Но здесь-то и начинается самое странное:

Таким образом, Россия избежала того духовного пессимизма, который поразил культуру Запада. Русские в принципе сохранили непоколебимую веру в правильность своего образа жизни, хотя причин для этого у них было меньше, чем у некоторых других стран. Они ворчат по поводу нехватки товаров, высоких цен или коррупции; в душе они, может быть, и не возражали бы против каких-нибудь поверхностных реформ, но им незнакомы муки неверия в свои силы, стремление с пеной у рта осуждать свою страну или приступы отчаяния, которые терзали американцев и жителей других западных стран в последние годы.

...Чувство непогрешимости родины в них так же непоколебимо в наши дни, как это было в Америке до трагической агонии во Вьетнаме, которая вызвала у некоторых людей чувство национальной вины и понимание того, что их нация может быть способна на зло.

Не спешите радоваться: "чувство национальной вины" возникло у американцев не тогда, когда Южный Вьетнам был поработан Северным. Свободолюбивый и самокритичный американец по сей день не понимает, что его сограждане совершили роковую ошибку не тогда, когда половинчато и неуверенно защищали Южный Вьетнам, а тогда, когда отказались СЕБЯ там защищать. Не приходят ему на ум и такие вопросы: если "русские" непоколебимо уверены в непогрешимости своей родины, то зачем обществу антисоветский фольклор, Самиздат, Тамиздат и эмиграция, а государству — лагеря, тюрьмы, психзастенки, ссылки, высылки и тотальный надзор за гласностью? Лишь ради кучки истеричных интеллигентов, с которой можно бы расправиться за несколько дней?

Но преимущества русских не исчерпываются, в глазах Х. Смита, сказанным выше:

...русские — народ большой общественной сплоченности. Они легко организуются в группы, и человека трудно оторвать от нее. В настоящее время слово "коллектив" стало священной категорией советского мифотворчества, уступающей первенство только понятию "Коммунистическая партия". Когда говорят "рабочий коллектив", подразумевают, что роль его гораздо шире, чем простое объединение в бригаду рабочих определенной профессии. Колхоз или завод отечески заботится о членах коллектива — обеспечивает их жильем, школами, оказывает им другие услуги, организует их досуг и даже иногда следит за их личной жизнью. Рабочие очень любят выезжать вместе на рыбалку автобусами, которыми их обеспечивает предприятие...

...В рабочих или студенческих общежитиях русские живут в такой тесной близости, что люди Запада сочли бы это проявлением клаустрофобии. А здесь чувствуют себя нормально...

Какое же это "мифотворчество"? Ведь Х. Смит убежден, что "коллектив" и впрямь, а не только в газетах, журналах и социалистической литературе, осчастливил советского человека! Если в своих общежитиях, вызывающих у нормальных людей клаустрофобию, русские чувствуют себя отлично, то и лагерные бараки окажутся, того и гляди, ДЛЯ НИХ не такими уж страшными!

Мы уже отмечали, что с помощью своих просветителей Х. Смит обнаружил у "русских" смешанный комплекс величия ("морального шовинизма") и исторически предопределенной неполноценности. В этом закомплексованном состоянии

...ощущение себя частицей мощи Москвы компенсирует все. Лишь ничтожная горстка инакомыслящих вышла на Красную площадь с протестом против советского вторжения в Чехословакию. Они были арестованы раньше, чем сумели развернуть свои транспаранты.

А все остальные не вышли по той (исключительно) причине, по какой не вышли бы на подобную демонстрацию "люди Запада"? Потому что не разделяют идей демонстрантов? У Смита множество таких противопоставлений: американцы прогнали Никсона, а "русские" кремлевскую мафию не прогоняют; американцы заставили свое правительство уйти из Вьетнама, а "русские" приветствовали оккупацию Чехословакии и

так далее. Мысль о том, насколько несопоставимы последствия акций протеста для американцев и для советских людей, насколько несравнима их информированность о действиях и побуждениях правительства, не приходит американскому наблюдателю в голову. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи", — произнесли когда-то самодовольные европейские буржуа, не подозревающие, что существует такая стадия "небогатости", когда дорогую вещь купить невозможно. Х. Смит рассуждает в том же ключе, что и эти практически-го ума люди.

В монологах Х. Смита поставлены рядом

...глубоко укоренившееся влияние на русский характер и институты таких исторически сложившихся явлений, как концентрация власти в центре, чиновничество, ксенофобия простых людей, пустопорожнее критиканство, свойственное чуждой народу интеллигенции, страстная привязанность русских к матушке-России, привычное подчинение масс верховному вождю и безоговорочное принятие зияющей пропасти между правителями и управляемыми.

Чем дольше я жил в Советской России, тем более истинно русской и, следовательно, менее подверженной фундаментальным изменениям она мне казалась. Всякий раз, когда мне представлялось, что я вижу признаки изменений, русские интеллектуалы выводили меня из заблуждения.

Ну, что ж, спасибо "русским интеллектуалам", которые просматриваются достаточно отчетливо: "пустопорожнее критиканство чуждой народу интеллигенции" — фразеологический штамп официоза, окрашенный лояльно-"почвенническим" эпитетом; "ксенофобия простых людей", — осколок той уплощенной-"западнической" модели, о которой мы уже говорили. Можно сопоставить даже цитатно.

Вот что пишет Х. Смит о немногих людях,

которые хотя и пользуются более ограниченным правом общения с иностранцами, часто проявляют в этом большую личную заинтересованность и ведут себя более свободно. К их числу относятся представители интеллектуальной элиты, молодежь, подпольные художники, евреи, решившие эмигрировать. Цели некоторых представителей интеллигенции идут лишь не намного дальше

того, чтобы завоевать на Западе репутацию либералов, добиться приглашения в Америку или потягивать посольский джин и виски, сохраняя при этом безопасную дистанцию.

Белый путешественник, иронизирующий над пристрастием туземцев к посольской "огненной воде", не понимает, что не столько он наблюдает этих "почти свободно" общающихся с иностранцами россиян, сколько *над ним надзирают* из-за их спин (иногда непосредственно их глазами). Не почувствовал он за три года и того, что в СССР нельзя быть *настоящим либералом* (по-русски — свобододолюбцем), не навлекая на себя тем самым серьезной опасности. Либерализм и на Западе, и в СССР моден, но и на Западе, и в СССР настоящий либерализм противостоит и фронде, и моде, и радикализму, и тоталитаризму.

Стремление либералов, националистов, верующих, деятелей искусства и пр. передать на Запад свои протесты или работы Х. Смит ставит рядом с махинациями "фарцовщиков" и погоней за импортными тряпками:

Некоторые молодые люди заинтересованы только в том, чтобы купить ваши джинсы или новейшие западные музыкальные записи, художники — в том, чтобы продать свои картины, а евреи и диссиденты — опубликовать свои протесты. Но во всех этих группах попадались люди и в самом деле интересные (все-таки попадались. Д. Ш.) и склонные к откровенности, способные, *сохраняя лояльность*, критически относиться к своему обществу и стремящиеся поделиться своими мнениями и опытом. Некоторые из них стали нашими личными друзьями.

В этом отрывке чрезвычайно симптоматичны подчеркнутые нами слова: симпатию и интерес Х. Смита вызывают люди, одновременно и открытые, и *лояльные*. Нелояльность несколько раз прямо и косвенно характеризуется им как ОЗЛОБЛЕННОСТЬ против режима, *которая ему неприятна*. Он говорит о лояльности своих друзей не с целью их реабилитации перед властью: когда он хочет, он находит приемы для передачи любых воззрений. Объективисту-детантнику импонирует модель ЛОЯЛЬНОГО К РЕЖИМУ ОБЩЕСТВА.

3. ЕЩЕ ОДНА "СДАЧА ИНТЕЛЛИГЕНТА"

В (боюсь, что) непоправимом уже общественном амплуа выступает в общении с Х. Смитом Андрей Вознесенский. Х. Смит рассказывает:

Однажды вечером мы с Энн наслаждались ужином у поэта Андрея Вознесенского и его жены Зои. Нам подали изысканные рыбные деликатесы и другие закуски (которые играют важнейшую роль в русских обедах и которым придается большее значение, чем основному блюду). Вдруг зазвонил телефон. У Андрея был необыкновенный телефон: он не звонил, а щебетал, как птичка. Поэт ответил и о чем-то быстро заговорил. Потом, прикрыв трубку рукой, спросил меня, не знаю ли я, как достать два билета на решающий финальный матч мирового первенства по хоккею между шведами и русскими, который должен состояться на следующий день вечером. Случилось так, что у меня как раз было два лишних билета, которые я и принес в тот вечер Андрею в подарок, но еще не успел ему об этом сказать. Он был в восторге, тут же сообщил об этом своей собеседнице и, сияя, повесил трубку. Я думал, что он сам пойдет со своим другом на матч и почувствовал разочарование, узнав, что он собирается отдать оба билета, которые считались в те дни в Москве очень большой ценностью. "Это неважно, — успокоил меня Андрей. — Для меня гораздо важнее, чтобы эта женщина получила билеты в подарок. Вы знаете, кто она? Она для нас важнее правительства. Она — директор одного из самых больших московских продовольственных магазинов и посылает нам самые лучшие продукты. Все, что мы ели сегодня за ужином, все эти закуски, которые невозможно достать, мы получили от нее. Причем за все это вы не можете просто переплатить. Эта женщина страшно богата: деньги, и немалые, она получает от многих. Ей они больше не нужны, но она страстная любительница хоккея. А на эту игру ей удалось достать только один билет, который она отдала мужу. Но ей нужны еще два, потому что она хочет пойти на стадион со своим любовником. Так что, отдав ей эти два билета, я сделаю большое дело.

Перелистаем несколько страниц. На каком-то сентиментальном спектакле в одном из московских театров Х. Смит был поражен сначала слезами публики, а потом грубой толкотней в раздевалке. Он пишет:

Женщины вокруг меня вытирали глаза, не в силах даже аплодировать, а буквально через пару минут те же самые женщины грубо толкались в толпе у гардероба, словно чувства, вызванные пьесой, не оставили никакого следа в их душе. "И слезы, и грубость — эти инстинктивные проявления — рождаются в желудке, а не в голове", — услышал я позднее от Андрея Вознесенского. — И это очень типично для русских.

Все на месте: Андрей Вознесенский заставляет "русских" расплачиваться за судьбоносную для него, независимого поэта, роль желудка — роль "дефицитных закусок", заставляющих его лакействовать перед могущественной легализованной воровкой. Претерпевший вынужденное для него самого нравственное крушение человек часто бывает склонен распространять свое желудочно-предопределенное падение (ведь сегодня, как правило, речь идет не о жизни, а лишь о благополучии) на "ВСЕХ".

Мудрено ли, что и приятель поэта воспринимает самые широкие слои "всех" весьма упрощенно?

4. НАРОД ГЛАЗАМИ БЕЛОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Вечером, когда колхозники едут домой, поезжайте с ними на вокзалы, и вы увидите, кого русские называют НАРОДОМ (выделено Х. Смитом), толпы тех, о ком чиновники и интеллигенты в частных разговорах упоминают свысока или даже с презрением.

Хорошие Смигу попадались "интеллигенты"!.. А вот и впечатления автора:

В 11 часов вечера зал ожидания был переполнен — там было около двух тысяч человек. Все места, где можно было сидеть, были заняты. Люди спали на скамьях, на полу. Все в этом скоплении говорило об их скудном,

полном тяжкого труда, существовании — мрачные реплики, грубая одежда, жалкие пожитки, подавленность долгого ожидания. Русские любят хвастаться тем, что они много читают, но во всем зале я заметил лишь человек пять-шесть, заглядывающих в газеты. Деревенские женщины с широкими плоскими лицами и гладко стертými, как дерево старой стиральной доски, скулами, были крепкие, словно лошади. Они сидели на скамьях, как сидят мужчины — расставив ноги, сомкнув руки на животе; в них не было и намека на женственность.

Высокопоставленная рвачиха, уделяющая крохи с господского стола прославленному поэту, скользнула по репортажу Смита нейтральной тенью — чем-то наподобие владелицы крупного западного супермаркета. Но загнанную и полунищую советскую женщину из толпы, из потока он представляет западному читателю неожиданно высокомерно:

Полки женщин помоложе несут охрану у дверей аэропортов, вокзалов или универмагов с готовностью вратарей, упрямством тренеров, мрачностью бульдогов и беззаветностью французских войск под Верденом, которые поклялись: "Они не пройдут".

По-видимому, господина Смита куда-то несколько раз не пустили, и он нашел виноватых...

Относительно крепких, "словно лошади", деревенских женщин замечу (в качестве — долгие годы — одной из них), что в уже сравнительно легкое для деревни время (1960-е гг.) довелось мне лично участвовать в массовом (по самодеятельной инициативе одного сельского главврача) обследовании здоровья сельских детей и женщин. Оказалось, что дети весьма и весьма ослаблены, многие инфицированы туберкулезом, а около 80% женщин больны хроническими заболеваниями сердца, сосудов, почек, яичников, нервов, костей из-за каторжного труда в колхозе и дома, простуд, пьянства мужей и общей нечеловеческой тяжести быта. Да и нашумевшую новомировскую повесть "Неделя как неделя" Х. Смит вспоминает. Какое уж тут здоровье?

Х. Смит за три года не мог не заметить тесноты советских жилищ, скученности всех трех поколений семьи в одной квартире, повседневных "приемов" в кухне — потому что в комнатах (или в комнате) кто-нибудь уже спит, или болен, или просто не должен участвовать в разговоре.

Но и тут приходит на помощь тенденция: русские традиционно неприхотливы и, более того, склонны... к мазохизму.

Ну, вот, для примера:

Не бояться холода, так же, как и глотать водку, — это составные элементы русского мазохизма и у мужчин, и у женщин.

Да и тяжесть их быта упрочена тем, что она русских традиционно "мало волнует" (хотя выше упоминалось уже и о "безудержной страсти" их "к наслаждениям"; впрочем, почему бы мазохистам не наслаждаться именно тяжестью своего быта?). Так что, уважаемые "люди Запада", не судите о них по себе и в этом вопросе.

Большинство из тех десятков квартир, которые мы посетили, обставлено разнокалиберными столами и стульями, словно натащенными с чердаков. Комнатам не хватает живости красок, *но русских это мало волнует. Они принимают как само собой разумеющееся, что кровать, на которой они ночью спят, днем может служить диваном.* Иногда большую комнату разгораживают занавеской, отделяя спальный уголок ребенка от места, где спят родители; особенно это распространено в коммунальных квартирах с их пятью звонками у входных дверей и большими комнатами, в каждой из которых живет целая семья. Ковры в таких комнатах попадают лишь изредка. Комнат-столовых не существует; для трапез иногда используют письменный стол, установленный в большей из комнат, предназначенных для сна. Многие квартиры оставляют впечатление постоянного, но удобного беспорядка. Они не кажутся специально, спешно прибранными к приходу гостей, как и их хозяева не кажутся специально приодетыми. Это бывает лишь в праздники или, если кого-либо из русских официально обязывают быть готовым к приему иностранцев. Стиль жизни в русских домах естественен и лишен внешнего лоска. Я пришел к выводу, что это — *одна из наиболее привлекательных сторон образа жизни русских, одна из черт, характеризующих их общую непритязательность в частной жизни.* Русские гораздо менее, чем американцы, например, заботятся об обязательном соблюдении декорума, о том, чтобы не отстать от других, о том, чтобы быть всегда тщательно вымытыми, вычищенными, хо-

рошо пахнувшими, с ароматным дыханием, всегда иметь свежий вид. В России человек может быть прыщавым, невзрачно одетым, потным, может иметь потрепанный вид, но его все равно принимают. (Курсив Д. Ш.)

А куда от них денешься — от потрепанных и невзрачно одетых друзей, бегущих к тебе, не успев побриться и переодеться после работы? Ведь и сам таков. Пренебрежения водой и мылом я у нормальных людей в России не замечала, но выходные, а тем более вечерние туалеты есть там, действительно, далеко не у всех. И белье там меняют не ежедневно: не напасешься и не настираешься...

У очень разных писателей: у М. Бегина ("Белые ночи"), у Вас. Гроссмана ("Все течет"), у А. Федосеева ("Западня") — есть размышления о природе и государственном смысле советских очередей, явления, родственного "дефициту" "ангсоца" Дж. Орвелла ("1984"). Но, в глазах Х. Смита, и СОВЕТСКАЯ очередь — ключ, в первую голову, к постижению исконно-русского национального духа:

Когда проходишь мимо таких очередей, кажется, что это стоят почти недвижимые ряды смертных, обреченных пройти через некое торговое чистилище, прежде чем сделать свои скромные покупки. Однако иностранец не видит ни того скрытого магнетизма, который таится для русских в очередях, ни их внутреннего динамизма, ни их особых законов...

...Русские согласны стоять в очереди — в прямом и переносном смысле слова — намного дольше, чем большинство людей в мире.

...Русские проявляют ко всем этим явлениям удивительное равнодушие.

В Уганде и в Камбодже люди стояли в долгих очередях — за смертью под молотами аминовцев и под ножами "красных кхмеров". Узники гитлеровских лагерей уничтожения стояли в очередях на "селекцию" и в газовые камеры. А после двух последних войн Европа не зверела от голодного отчаяния в разнообразных очередях? А очереди в бесплатные ночлежки и за благотворительным супом в Америке времен "великого кризиса"? Но, вот, об очередях в магазинах России начала XX века мне что-то не приходилось читать или слышать. Связать советские очереди исключительно с упомянутыми им же не раз "трудностями советской жизни" журналист-детантник

никак не может. И опять возникает интригующий "национал-психологизм":

...Вечные страдания потребителей имеют, однако, и положительный результат — любая удачная покупка доставляет огромную радость и составляет предмет гордости.

...Русские — меньшие материалисты, чем американцы, но все они испытывают особое чувство удовлетворения и радостное ощущение достигнутой цели по поводу сравнительно простых вещей в значительно большей степени, чем люди на Западе, для которых покупки не связаны с такими трудностями.

...Я видел полные победоносного возбуждения взгляды женщин, целую вечность простоявших в очереди и вернувшихся домой с хорошим шиньоном или с югославским свитером. Вид этих женщин радует глаз.

И это — сразу же после замечания, что русские, пытаясь определить возраст американцев, дают им обычно "лет на 8-10 меньше, а американцы русским — на 8-10 лет больше, чем на самом деле", то есть ровесники отличаются друг от друга по внешнему виду лет на 16-20! И ведь отмечено, что "трудности советской жизни" играют в этом немалую роль. И все-таки "вид этих женщин радует глаз...". Почему? Да потому, очевидно, что "русские" мазохисты (десятки национальностей или только великороссы — неясно) для того и созданы, чтобы *так* радоваться. Им это приятно.

Но продолжим нашу совместную с Х. Смитом экскурсию:

То тут, то там путешественнику бросаются в глаза приметы страны, живущей по старым традициям: женщины, терпеливо подметающие улицы метлами на длинных палках, крестьяне, гнущие спину на полях с мотыгой в руке, кассиры в магазинах, щелкающие тук-тук — на старинных деревянных счетах. Долгие месяцы прошли до того, как я начал понимать, насколько велико влияние русского прошлого на советскую действительность.

Боюсь ошибиться, но мне кажется, что женщина-дворник для довоенной царской России была явлением уникальным. Я что-то не могу припомнить ни одного литературного ее портрета. На счетах в начале века еще щелкали всюду.

Первые тракторы начали ввозить в Россию в 1913 году, т. е. вскоре после их появления на мировом рынке, а к 1917 году 25% *крестьянских* (не помещичьих) хозяйств уже владели усовершенствованным инвентарем.⁵ Развиваясь в подобном темпе, Россия забыла бы о мотыгах (*там, где можно без них обойтись*) к 1930 году. В 1912 году Россия вывозила зерна ровно столько же, сколько ввозит сегодня: 15,5 млн тонн, а русское производство главных зерновых превышало на 28% продукцию Аргентины, Канады и Америки вместе взятых, (сейчас оно меньше американского).⁶

Крестьян же в СССР и вовсе нет: колхозники и совхозники, использующие, кстати, далеко не одни мотыги, это не крестьяне, а государственные илоты. На приусадебных же клочках в 0,15—0,60 га и мотыга удобна.

В отклике на книгу вряд ли уместна статистика, но здесь невозможно без нее обойтись. Приведу несколько данных из статьи А. Федосеева.⁷

В 1913 году

1. Царская Россия производила хлеба на 30% больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые.

2. Крестьяне царской России владели более чем 80% всей пахотной земли.

3. Промышленное производство царской России увеличивалось с 1890 по 1913 год в среднем на 17% в год. Поддерживать такой рост на протяжении 23 лет не могла ни одна страна в мире.

4. Авиационная промышленность царской России была на уровне таковой в США. (Советская пропаганда, как известно, утверждает, что царская Россия не имела авиационной промышленности вообще).

5. Законодательство царской России давало рабочим больше прав и возможностей, чем в любой другой стране. Закон 1866 года обязывал работодателя обеспечивать бесплатную амбулаторную и больничную помощь рабочим. В 1907 году ею пользовались 84% всех рабочих. Закон 1912 года ввел государственное страхование рабочих от болезни и несчастных случаев. При этом рабочий платил только 1-3 процента заработка, а остальное платил работодатель. Женщины-работницы в царской России имели оплаченные отпуска по беременности.

6. Начальное обучение в царской России было бесплатным, а с 1908 года — и обязательным. Каждый год, с 1908 года, открывалось по 10 000 новых школ. В 1923 г.

82% всех детей в возрасте от 12 до 15 лет и 93% мальчиков были грамотными. Для сравнения: во Франции в 1935 г. было 7,5% неграмотных. В 1943 г. в США 13,9% призывников были неграмотными. Пользуясь официальной статистикой, можно подсчитать, что в 1967 году в СССР было 39% людей, которые не окончили никакой школы и нигде не учились.

7. В царской России было всего лишь 32 750 заключенных, то есть 0,02% от всего населения. Для сравнения в Англии в 1967 г. было 0,19% — почти в 10 раз больше.

Если уровень жизни в царской России в 1913—1914 гг. взять за 100%, то в Англии он будет 80%. В 1968 г. он будет в Англии 216%, а в СССР — 47%. (Между 1914 и 1968 гг. скорости инфляции в Англии и в СССР были примерно одинаковыми).

Современная советская цензурная политика кажется Х. Смиту прямым продолжением царской цензурной политики, которая не делится им ни на какие периоды.

Скачок из начала XIX века в конец XX, традиционное упоминание о Достоевском, осужденном *не за литературную деятельность*, уподобление "репрессий" против Толстого "репрессиям советской власти по отношению к свободомыслящим писателям" (она и согласно мыслящих репрессировала под горячую руку — сотнями) — всего этого можно было бы легко избежать, перелистав один-два комплекта журналов предреволюционных лет. Например, вполне благонамеренную "Ниву" и сдержанно оппозиционную "Русскую мысль", к либерализму которых (обоих изданий) и не приближался "Новый мир" в его самые смелые годы. "Нива" в военные 1915—16 гг. публиковала восторженные статьи о Горьком, очерки Корнея Чуковского, в том числе — его большую статью о недопустимости разжигания шовинистических антинемецких настроений в гимназиях. В некрологе графу Татищеву "Нива" писала о свободе печати последних лет как о великом завоевании русского общества. "Русская мысль" в комментировании, мне кажется, не нуждается.

"Приметы прошлого" не исчерпываются счетами, дворничихами, мотыгами и цензурой. Вот что я прочитала в книге Х. Смита о женщине из современной советской интеллигентной среды. Несколько "молодых преуспевающих" специалистов (Х. Смит чаще попадают преуспевающие, чем неудачники) обсуждают с автором "Архипелаг ГУЛаг":

Тайком прочитав эту книгу, они были взволнованы, потрясены ее содержанием. Когда же я спросил мнение об этой книге у жены одного из них, она беспомощно пожала плечами. "Женам мы таких книг не даем, мы читаем их сами", — поспешил вмешаться муж, даже не заподозрив, что принижает интеллектуальность жены.

И ниже:

...Как-то раз я спросил у диссидента, боровшегося за права человека, почему под воззваниями диссидентов так мало женских подписей. "Если женщины подпишут воззвание, над ними будут смеяться, — сказал он. — Вы не понимаете, что у нас здесь все еще средневековье".

И хотя попадались автору

...другие супружеские пары, где муж и жена жили насыщенной и совершенно равноправной интеллектуальной жизнью, —

он сразу же принимает тезис о традиционной российской женской отсталости, не различая ни слоев, ни народов, ни районов СССР.

Он "даже не заподозрил", что неучастие (*кстати, мнимое*) женщин в недозволенной деятельности может диктоваться ображениями осторожности, а не отсталостью. Если уж обращаться к традиции, то Х. Смит читал, надо думать, кое-какую русскую классику и мог бы припомнить, что свободомыслие и углубленный интеллектуализм были свойственны образованной русской женщине и 150 лет назад. Но человек видит то, что настроен видеть.

5. А ЭТО — КТО?

В книге Х. Смита даже многочисленные удачные и интересные ее места не возмещают ошибочности основной идеи. Октябрьский переворот 1917 года *перерубил исторически преемственное развитие всероссийской жизни, а не продолжил ее тенденции, характерные для начала XX века.* Он повернул Россию не вспять (последнее было бы не так страшно: после сму-

ты она снова пошла бы вперед и, может быть, осторожней), — он повернул Россию в практически новую для европейских цивилизаций сторону — в ТУПИК, в который сегодня рвется весь мир. Особенность этого тупика состоит, помимо всего остального, в том, что он прекращает всякое плодотворное самодвижение и подменяет его "сознанием", то есть произволом, верховной власти. Развитие фактически прервано; все его аргументы, все побуждения к нему расположены отныне в областях воли и сознания власти и общества. Первая (власть) по неустранимым структурным причинам не может работать лучше, чем работало экономическое самодвижение; второе (общество) подавлено и бесправно, ибо власть не хочет изменять своего абсолютного характера. Та "вторая экономика", о которой много и интересно пишет Х. Смит, и представляет собой уродливую, но единственно доступную советскому строю форму хозяйственного самодвижения. Однако искаженные, вынужденно уголовные формы этого самодвижения не привлекают к себе как правило людей щепетильных и не способствуют политическим изменениям.

* * *

Х. Смит заключает свое трехтомное повествование о "русских" репликой своей супруги по поводу пустякового, но весьма характерного для СССР эпизода у бензоколонки:

"Ты видишь, — сказала Энн, — и в этом нет ничего нового. То же самое было при царях. Это те же самые люди".

Допустим. А ЭТО — КТО?

Суть дела заключается в том, что, вступая в партию, вы фактически продаете свою душу. Продаете ее якобы во имя спасения человечества. И убедив себя в том, вы решаете, что все остальное, включая утраченное чувство собственного достоинства, является мелким и ничтожным.

...Одна из партийных догм говорит, что человек, входящий в партию, должен избавиться от "буржуазного багажа", который у него был до этого. В понятие такого "багажа" входят те свойства духа, которые признают независимость и свободу личности, — и поэтому все, что

говорит об этих свойствах, считается недопустимым "недостатком пролетарского сознания". Все мое прошлое, как выходца из рабочего класса, прошедшего испытания нужды и голод, было недостаточным для того, чтобы сделать меня "пролетарием". Только постыдное отречение от духовной независимости могло доказать мою веру и открыть мне дорогу в партию.⁸

В американскую компартию, господа, — в компартию народа, лишенного русских традиций и комплексов!

Конечно, мне и раньше неоднократно приходилось переносить и оскорбительное пренебрежение, и связанное с ним чувство горечи. Но ничего подобного в течение всей своей жизни я никогда не испытывал — вне коммунистической партии. Даже смотритель в тюрьме, где я отбывал наказание как политический преступник несколько лет спустя, не относился ко мне с таким убийственным пренебрежением. Смотритель тюрьмы, о котором я говорю, в сущности, был человеком сердечным, он относился ко мне и к другим заключенным гуманно и сочувственно. Только в коммунистической партии, только у коммунистических вождей, как показал и мой собственный опыт, и опыт многих других, можно встретить такое высокомерно пренебрежительное и презрительное отношение к людям вообще.⁹

В своей книге Х. Смит охарактеризовал Сталина как "грузина по происхождению, обладающего великорусской ментальностью" (и очень на последнем настаивал). Это понятно: иначе Сталин никак не влезал в исключительно национальную, русскую этиологию советского строя.

А Говард Фаст, уходя после XX съезда КПСС из американской компартии, пишет:

Мы должны были предупредить американский народ и народы всего мира о той страшной опасности, которая заключается в нашей организации и которая является неотъемлемо присущей коммунистической партии вообще. После этого мы должны были бы распустить нашу партию раз и навсегда.

Путем всевозможных уловок, маневров и трюков руководством партии удалось, однако, оттянуть созыв съезда до тех пор, пока уход из партии людей, не потеряв-

ших совести, не обеспечил им победы. Таким образом, руководители партии смогли продолжать свою "деловую лавочку".¹⁰

И они ее продолжают по сей день, несмотря на непоправимо явное отсутствие у них великорусской ментальности, которую Х. Смит обнаружил даже у Сталина. Их сравнительно мало (явных), но не меньше, чем было большевиков в начале века в России.

Далее следуют поразительные сцены нападков американских левых "либералов" — НЕКОММУНИСТОВ — на бывших коммунистов, порвавших с АКП или исключенных из нее после XX съезда. Привожу лишь немногие из этих сцен:

Богатая дама, сбрасывая с себя соболью шубу, за которую было заплачено пять тысяч долларов, сказала: — "У нас только один путь — путь гражданской войны и баррикад. Рабочие должны будут сражаться на смерть — до тех пор, пока на улицах не польется кровь, как вода". Она говорила захлебываясь, предвкушая интересное зрелище, когда кровь рабочих будет литься как вода.

Американский бизнесмен и его жена, разодетая как кукла, чьи драгоценности и туалет стоили больше десяти тысяч долларов, с негодованием заявили мне: — "Что из того, что в Венгрии погибло двадцать пять тысяч человек... За такого рода вещи нужно платить".

За какого именно рода вещи? За зверства и насилия в Венгрии во имя большевистской партии? За трескучие слова, сказанные атомными маньяками, способным принести на алтарь своего безумия половину своего народа?

"Труссы, — кричал этот бизнесмен, — и вы, и Гейтс, и Маркс, и вся ваша компания, все вы трусы"...

...Миллионы некоммунистов считали каждого, исключенного из партии, пропащей и проклятой душой, продажным и опасным человеком, которого нельзя больше пускать в приличное общество.

Много лет миллионы добропорядочных американцев считали, что человек, изгнанный из коммунистической партии, был или полицейским шпионом, или подлецом. Исключенные становились отверженными не только в глазах членов партии, но и в глазах прогрессивных кругов, во много раз более обширных, чем партия.

Излишне упоминать, что многие из исключенных были виновны лишь в независимом образе мыслей.

Это говорит американец об американцах, а не россиянин о россиянах.

Х. Смит уверяет, что американец трепещет от гордости при словах "демократия" и "свобода". Кто же уступил насильникам и наркоманам коридоры и классы множества школ, в которых учатся его дети? Кто СЕГОДНЯ УЖЕ несвободен ходить по вечерним улицам и ездить в ночных подземках своих больших городов? Кто кокетничает с терроризмом и неспособен защитить от него своих сограждан в стране и за границей? Кто отождествляет Вьетнам с Чехословакией, а генерала Пиночета — с Иди Амином или Пол Потом? Кто боится стеснений в использовании горячего больше, чем утраты достоинства и суверенитета? Забыв о берлинской олимпиаде 1936 г., кто жизнерадостно собирается на Московские олимпийские игры 1980 года?..¹¹

Я не хочу уподобиться герою известного советского анекдота с его неизменным тупым ответом на все обвинения против СССР: "А у вас негров линчуют...". Негров, кажется, уже не линчуют. Но американского обывателя и его ребенка линчует многоликое маниакальное насилие, организованное и неорганизованное. НЕ ВЕЗДЕ, НЕ ВСЕГДА, НЕ ТАК УЖ ЧАСТО, НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ? Совершенно верно. Но, когда будет везде, всегда и государственное, СТАНЕТ СЛИШКОМ ТРУДНО И ОПАСНО БОРОТЬСЯ. Как нынешним "русским" (китайцам, кубинцам, восточным европейцам, вьетнамцам, камбоджийцам и пр.). Не всюду находится генерал Пиночет, не боящийся, что его, как генерала Корнилова, слепые задушат или обольют грязью. Либо и задушат, и обольют грязью...

...Пришлось мне в недавнем споре спросить одного из израильских советологических визитеров, слышал ли он о разрыве Говарда Фаста с американской компартией и о его "Голом боге". Мой собеседник, американец, ответил, что, кажется, что-то слышал, но не читал. Но зато он читал книгу Х. Смита и весьма компетентно рассуждал — с его слов — об исторической амнезии "русских". Мне же представляется, что историческая амнезия не менее универсальна для человечества, чем грипп.

* * *

Теперь, вернувшись на родину и приступив к описанию "русских", которое он вручит своим соотечественникам, дедантник автоматически превратится в десантника. Ибо он объ-

яснит (и от всей души, от доброго сердца, без чьего бы то ни было поручения) своим соотечественникам два весьма утешительных для них момента: русским гражданские права не нужны, ибо русские¹² в силу своей исторической ментальности своим положением премного довольны. А "у нас это невозможно", ибо "мы" не русские. И погибнет единственный исторически ценный результат страшного коммунистического эксперимента в России — ОПЫТ.

* * *

В одном из своих обобщающих экскурсов в русскую психологию Х. Смит заметил, что русским льстит, когда иностранцы разговаривают с ними на их языке: тогда они становятся несколько доверчивей.

Господа, если вы встретите Журналиста или Советолога, старайтесь говорить с ними на их языке. А вдруг поможет?..

"Голос зарубежья" №17, 1980. Мюнхен — Сан-Франциско

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Хедрик Смит, Русские, (перевод с англ.) STI Ltd. Иерусалим, 1978. Все ссылки на Х. Смита — по этому изданию его книги.
2. Обложка вышеуказанного издания книги Х. Смита "Русские".
3. Заглавие романа Синклера Льюиса. США, 1930-е годы.
4. А. Амальрик, Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?, Фонд им. А. Герцена, Амстердам, 1969.
5. А. П. Столыпин. "Посев" №9, 1979.
- 6,7. А. П. Федосеев, Советский уровень жизни через полвека социализма. "Посев" №1, 1977.
- 8,9,10. Говард Фаст, Гольый Бог, (перевод с англ.) Издание Центрального Объединения Политических эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), Мюнхен, 1958. Все цитаты из Г. Фаста — по этому изданию его книги.
11. Это было написано до Афганистанского кризиса. (Прим. ред.)
12. Недавно мне было замечено квалифицированным коллегой, что, употреби Смит вместо "русские" слова "советские люди", отпало бы большинство моих претензий к нему. Несомненно: тогда принципиально изменилась бы его трактовка явлений. А он трактует их не только как журналист, но и как исследователь, во всем отыскивая корни и первопричины.

СТУКАЧИ И "ГОНГ СПРАВЕДЛИВОСТИ"

В начале 1970-х годов попала в наш дом машинописная копия книги Василия Гроссмана "Все течет". Ее надо было вернуть через сутки. Я наговорила для друзей на пленку рассказ Анны Степановны о коллективизации и голоде, главу о Маше и размышления автора о стукачах.

Казалось бы, в книгах должна потрясать новизна. На деле ж чаще потрясает и запоминается нечто соотносимое с собственным опытом читающего. Моя семья роковым для нее образом была вовлечена в события начала 1930-х годов на Украине. Я провела несколько лет своей молодости в лагере. У меня за спиной были свои стукачи. Я знаю людей оклеветанных (часто ради прикрытия настоящих сексотов) и проносивших полжизни незаслуженное клеймо стукача. Мне посчастливилось быть знакомой и с теми, кого ни сломить, ни оклеветать не сумели.

Гроссман исследует несколько типов доносителей. Он ненавязчиво и горестно просит читателя подумать над их судьбами "не торопясь. Потом уже приговор". Он не требует от жертв доносителя непосильного для них: "Не судите, да не судимы будете". Он не произносит, остерегая и обезоруживая: "Кто из вас без греха, пусть бросит в них камень". Он только напоминает нам об ответственности за вынесение приговора.

Недавно я перечитала книгу Гроссмана.

Как было не вспомнить тут и о своих доносчиках?

Мое собственное неосторожное посвящение ("Дорогому другу и соавтору") на крамольной рукописи стоило пяти лет заключения одному из моих однодельцев. Поэтому падали на душу, как кирпичи, горестные и мудрые слова В. Гроссмана:

Кто виноват, кто ответит...

Надо подумать, не надо спешить с ответом.

Вот они, фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа, вот они, задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей, информаторов.

Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре...

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание; либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист, а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах.

В начале было слово... Воистину так.

Как быть с погубителями-доносчиками?¹

Мне со своими уже никак не быть: все в прошлом, последние счёты сводятся жизнью и смертью. И все же в душе, в мыслях, в воспоминаниях, при чтении чужих книг — *как с ними быть?* Над этим думал и Гроссман. И после каждой рассказанной им истории, после каждого обобщения, после каждого обнаружения чужой вины:

Не будем спешить, подумаем всерьёз об этом доносчике.²

И все же подождем, подумаем, — не подумавши, не станем казнить его.³

Да, да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека.⁴

И снова:

Подумаем не торопясь, потом уж приговор.⁵

Сексотам и доносчикам в размышлениях Гроссмана предоставлено право защиты и самозащиты. Вот как они себя защищают:

ОБВИНИТЕЛЬ: Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ: Да, в некотором роде.

ОБВИНИТЕЛЬ: Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ: Нет. Категорически от-

рицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели, мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством.

ОБВИНИТЕЛЬ: Но ведь иногда вы писали по своему собственному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву.

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ: Эта наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим, к истреблению готовились лишь люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению...

ОБВИНИТЕЛЬ: Да, доносчики и сексоты знали свое дело. Но все же ответьте мне, для чего вы стучали?

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ (хором): Меня заставили... били... А меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия... Что касается меня — я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал.

ОБВИНИТЕЛЬ: А вы, четвертый товарищ, почему молчите?

ИУДА-ЧЕТВЕРТЫЙ: Я-то что, зачем вы ко мне придираетесь, я человек темный, меня легче, чем образованных, сознательных, обидеть.⁶

От имени всех обвиняемых слово для их и своей защиты берет "ученый сексот", близнец основного доносителя по нашему "делу", профессора В.⁷ Человек изворотливый и начитанный, он превращает защиту в атаку:

Почему вам обязательно хочется обличать именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его. Ведь наш грех — это его грех, судите же его. Бесстрашно, вслух. Вам иначе нельзя, как бесстрашно, вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте! Затем ответьте, пожалуйста, почему вы спохватились именно теперь? Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов, иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталин-

ской эпохи. Почему же вы, соучастники, должны судить нас, соучастников, определять нашу вину? Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича: нет в мире виноватых! А в нашем государстве новая формула — все миром виновны, и нет в мире одного невинного. Речь идет о мере, о степени вины. Пристало ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили, вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов, мертвые молчат. И вот разрешите на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой подлой всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?⁸

Действительно, в чем?

И в диалог, в прения сторон вступает автор:

Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физикохимическая сторона человека. Вот из-за этой-то слизистой, обросшей шерстью, низкой стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастет из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.⁹

...Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти ворохи лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они, мерзки со своими добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутит, сказав: "Человек, это звучит гордо!"?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы, на них давили триллионы пудов, нет среди живых невинных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?¹⁰

Читаешь это и чувствуешь: в нашем отношении к доносительству, когда последнее разворачивается так массово, как оно развернулось в "больших" и "малых зонах" XX века, связаны гордиевым узлом вопросы вечные. Вина и безответственность; наша воля и отпускающее (или не отпускающее?) нам все грехи давление роковых обстоятельств; разум, который есть прежде всего способность к выбору, и слабое тело, выбор которого предопределен заранее: любой ценой — *жить, не испытывая мучительной боли*; все остальное — на втором плане; ненасилие и необходимость защититься и защитить других от насилия; всепрощение и справедливое воздаяние. Эти противоречия не разрешены мировой мыслью, а может быть, и неразрешимы для нее "раз навсегда", полностью, и каждый раз каждым человеком для каждого случая решаются наново. Здесь хотя бы верно поставить вопросы — и то заслуга. То, что написано об этом В. Гроссманом, и состоит из точно поставленных вопросов, а не из ответов.

Почему же все-таки "наше" общее "человеческое непотребство", а не непотребство каждого из нас в отдельности? Ведь люди и в одинаковых обстоятельствах — разные. Хоть как-то, хоть частично — отвечает каждый из нас сам за себя или нет?

И что означает: "Человек обязан ЛИЧНО СЕБЕ за мразь человеческую?" Действительно ли — ЛИЧНО СЕБЕ, НЕПОВТОРИМО-КОНКРЕТНОМУ, или только некоему спасительно абстрактному человеку, который то "звучит гордо", то отбивает охоту жить "нашим человеческим непотребством"?

Бесспорно, нельзя вменять человеку в вину сказанное под пыткой. *На* пытку отвечает не человек, а его тело, мера выносимости которого ограничена. *За* сказанное под пыткой должен ответить пытавший. Именно здесь, под пыткой, принимают решения не люди, а

...железы внутренней секреции, хлюпающая кашица в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек.

Ответы под пыткой

...рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, размножения...¹¹

Случайно ли причисляются к лику святых мученики, не изменившие своей вере — себе, своему духовному началу — под пыткой? Можно ли осудить невынесших?

Но ведь сексот и стукач сдаются *не однажды* и не только в *невыносимых мучениях*. Они зачастую предают годами, порой — всю жизнь, действуют протяженно во времени. Тут есть возможность одуматься, опомниться, собраться с силами, обрести опору в себе самом или вне себя. Мы знаем людей, которые, давши подписку, опомнились и потом на хозяина не работали, как тот ни давил: отказывались; ссылались на обстоятельства; прикидывались идиотами: кончали с собой.

Нет, В. Гроссман, покоряющий своей человечностью, не выводит нас из тупика: конечно, нельзя никого осудить, не вдумавшись в его путь; нельзя осуждать только стукачей и сексотов в онемевшем обществе. Но нельзя же и снять ответственность с человека за то, *что он делает*, перенести ее *всю* с души на физиологию, с разума — на ферменты, с лица, с *личности* — на общество и обстоятельства, с *меня* — на мои ткани и органы! Я останавливаюсь в недоумении: кто же все-таки должен за меня отвечать? Какие есть у людей в руках средства предупредить или остановить доносительство там, где оно пронизало все общество? Не исключено, что нет выхода, кроме радикального изменения самих обстоятельств, плодящих стукачей и сексотов. Или есть полумеры — способы уменьшения числа стукачей в любых обстоятельствах?

И вдруг оказывается, что недоумеваю я зря, ибо все уже решено:

Далеко не просто в жизни — самое простое. Кажется, и в ИТЛ додумывались некоторые, что *стукачей надо убивать...*

“Убей стукача!” — вот оно, звено! Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей — вот оно!..

Стукачи — тоже люди?.. Надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего устрашения приказ по всему Песчаному лагерю: на каком-то из женских лагпунктов две девушки (по годам рождения видно, как молоды) вели антисоветские разговоры. Трибунал в составе... Расстрелять!

Этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по десять лет хомута — *какая заложила стерва*, тоже ведь захомутанная?! Какие же стукачи — люди?!¹²

Подождите, остановитесь! Посмотрите сперва на них “крупным планом”, подумайте, послушайте.

Если не остановит вас в вашей решимости "делать ножи и резать стукачей" голос "сытой вольняшки", я попрошу вас об этом из своего прошлого — оттуда, из одиночной камеры, из барака, с больничной лагерной койки! Выслушайте хотя бы одну историю, связанную с этой моровой язвой нашего времени — со стукачеством.

Среди осведомителей по нашему университетскому делу незаметно для себя самой оказалась наша ровесница, дочь расстрелянного и арестантки. У нее за спиной в девятнадцать лет (на втором курсе) были крушение домашнего очага, потеря не только отца, но и матери и страшный захолустный детдом для детей репрессированных. В 1937 году тринадцатилетний ребенок сжался в комок и не мог распрямиться, не мог ни на миг избавиться от своей покинутости и осажденности. Переодетый сотрудник органов прикинулся ее поклонником, стал ее другом. С ним она радостно делилась всем тем, чем мы тогда жили. А когда он раскрыл перед ней свои карты, было поздно: все то, что послужило причиной ареста и осуждения трех человек, было уже ему рассказано и прочитано. Оказавшись в ловушке, она не решилась предупредить нас в последний миг. Возможно, сочла, что этот шаг ничего уже не изменит, а риск был для нее огромный. Если бы она рассказала нам о слежке, мы уничтожили или спрятали бы свои тетради. Но нас все равно, вероятно, взяли бы — за разговоры, свидетельствовали о которых двое — кроме нее.¹³ Я рассказываю об этом не ради суда над ней — я мысленно пытаюсь отвести руку, разящую без колебаний. Стэллу (так ее звали) я сама заслонила бы от ножа, оказавшись рядом. Чем старше я становилась и чем ближе к ее исходному положению загнанного, запуганного, обманутого "вражеского" ребенка могла оказаться в любой момент моя дочь, тем осторожнее я Стэллу судила. Нет, нельзя ее убивать: ее надо было спасать. Уж она-то наверняка была жертвой господствующих обстоятельств не в меньшей мере, чем мы.

Уверенный, могучий и страстный голос отклоняет все возражения:

Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок и тускло-посверкивающими неновыми корешками укоризненно мерцают, как звезды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилем! Взявши меч, нож, винтовку — мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И не будет конца...

Не будет конца... Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен.

Но надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, быть таскаемым в БУР по доносам, безвозвратно затаптываться в землю — чтобы оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовнею сытых вольняшек.¹⁴

Однако среди "гуманных книг", "укоризненно мерцающих" "неновыми корешками" на моей книжной полке сверкивают корешками новыми и книги того, кто сейчас так уверенно соотнес "все речи великих гуманистов" с "болтовней сытых вольняшек". И в этих не истрепавшихся еще обложках тоже заключена страстная проповедь ненасилия. Вспоминаю об этом не ради уловления создателя этих книг в противоречии: это противоречие рождено не нашим сознанием, а жизнью, заключено в ее ткани, в ее потоке. Я только хочу остановить внимание читателя на одном парадоксе: сплошь и рядом великие гуманисты переходят от принципиального ненасилия к прагматической готовности сопротивляться насилию силовыми средствами, как только опускаются из заоблачных вышей философии, истории или большой политики на тот жизненный пятак, на котором действуют против них насильники с их живыми орудиями. Эта перемена естественна. Я только хочу заметить, что, на мой взгляд, имеет смысл и на самом высоком философском уровне быть несколько более прагматичными по части самозащиты или контратаки силой, а на уровне самого жестокого и приземленного быта время от времени оглядываться на абсолюты. Ибо не только великие гуманисты, по благодущию свободных и сытых людей, зовут нас к осторожности в "деле о стукачах", но и многие бывшие арестанты и старые лагерники посоветовали бы нам призадуматься, прежде чем хвататься за нож.

У нас был старший друг в Первом лаготделении КазУИТЛК, врач, толстовец по убеждению, Федор Алексеевич, отбывавший второй срок по лагерному доносу. Он был очень немолодым человеком, и я, вероятно, не имею права называть его другом, скорее — учителем. Но он бы не рассердился. Его послали работать врачом на участок "ГРЭС", в горы, за 25 километров от Алма-Аты. Там озверевший начальник режима, несколько охранников и "самоохранники" из заключенных забили насмерть группу не угодивших им арестантов. От Федора

Алексеевича потребовали справок о естественной смерти — он не дал. Начальство в ту пору и в УИТЛК (майор Архангельский), и в 1 лаготделении (капитаны Факторович, Терской) было сравнительно сносное, и садисты боялись, что будут судимы, если убийство откроется. Участок заперли на замок даже для вольного персонала и начали терзать Федора Алексеевича. Вольнонаемная медсестра, казашка, совсем молоденькая, бежала из "зоны"; не перевалом, а горными тропками пробралась в город и сообщила о происходящем Архангельскому. Была эксгумация трупов, потом суд. Федора Алексеевича не освободили, убийц не расстреляли: им дали какие-то сроки. Позднее мы снова встретились с Федором Алексеевичем уже на другом участке и снова спорили о ненасилии. В отличие от него, я никогда догмата абсолютного непротивления злу насилием не принимала и не приемлю. Он же так при этом догмате и остался. И объяснял нам, гордясь и любуясь поступком сестры-казашки, что даже эта чудовищная история раскрыла в людях не только зло, но и величие. О своем величии он не думал, считал, что выполнил только профессиональный долг: мог ли он дать подложную справку о причинах смерти? О том, что он пытался ворваться на вахту, где избивали зеков, и что его из-за этого перевели на тюремный режим, выпускали только под конвоем в санчасть, он умолчал. Думаю, что не только на "сытой воле" (не знаю, дожил ли он до нее: мы расстались в 1947 году), но и в лагерном карцере Федора Алексеевича потрясли бы следующие строки. Потрясли бы интонацией, уверенной, радостной, чуждой всяких сомнений еще более, чем сутью высказываний. Главное же, чего он не смог бы принять, это отсутствие у рассказчика чувства трагизма происходящего: ожесточенная борьба со злом может быть неминуемой, но истребление безоружных и сонных людей, лишенных в час гибели даже последнего слова, не может не ужасать. Какова же была сила ненависти к стукачам и стукачеству у людей, зажатых тисками лагеря, если может так нарастать мажор в нижеследующем монологе:

Теперь убийства зачредили чаще, чем побег в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно: никто не шел сдаваться с окровавленным ножом; и себя и нож приберегали для другого дела. В излюбленное время — в пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключенные еще почти все спали, — мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к на-

меченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Проверив, что он мертв, уходили деловито.

Они были в масках, и номеров их не было видно — спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам — они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами *кумовьев* теперь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не видел. И это не была уже просто древняя истина, усвоенная всеми угнетенными: "незнайка на печи сидит, а зайку на веревочке ведут", — это было спасение самого себя! Потому что *назвавший* был бы убит в следующие пять часов утра, и благоволение оперуполномоченного ему ничуть бы не помогло.

И вот убийства (хотя их не произошло пока и десятка) стали *нормой*, стали обычным явлением. Заключенные шли умываться, получали утренние пайки, спрашивали: сегодня кого-нибудь убили? В этом жутком спорте ушам заключенных слышался подземный гонг справедливости...

Рубíловка, как называли ее у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной.

...Был случай, когда стукача не дорезали, он вырвался и израненный убежал в больницу. Там его оперировали, перевязали. Но если уж перепугался ножей майор — разве могла спасти стукача больница? Через два дня его дорезали на больничной койке...

Невидимые весы качались в воздухе над разводом. На одной их чашке громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и третьи сроки. Но все это было — не мгновенно, это была перемалывающая кости мельница, не могущая зажать сразу всех и пропустить в один день. И после нее люди все-таки оставались быть — все, кто здесь, ведь прошли же ее.

А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож — но этот нож был предназначен для тебя, уступивший! И эта живительная угроза перевешивала!¹⁵

Живительная угроза!..

Это была новая и жутковато-веселая пора в жизни Особлага!¹⁶

Все-таки, значит, веселая...

Ярко и мощно, как все, что написано этим пером, но до чего же страшно! Сквозь одно лишь определение: "в этом *жутком* спорте" (курсив Д. Ш.) — проглядывает ужас происходящего: люди доведены до состояния, когда во имя спасения себя и товарищей от доноса они, не колеблясь, без следствия, суда и последнего слова, режут "в два ножа", как баранов, других людей. Но отождествление жуткости этих событий со *спортом*, но противоестественное для любых обстоятельств, кроме спортивных, словосочетание "*жутковато-веселая* пора" заставляют предположить, что автор, переступая в своем пагубегирике "рубилровке" через собственное мировоззрение, трагизма этого шага не чувствует. Его ненависть к стукачам оказывается сильнее декларируемых им убеждений. А ведь такой шаг трагичен *всегда* — даже тогда, когда вынужден не только как самозащита, а как защита слабых. Почему же писателю, которому так трудно принять идею самозащитного или превентивного контрнасилия в историко-политической плоскости, становится всего-навсего "*жутковато-весело*", когда "*живительная угроза*" удара ножом гуляет по зоне? Может быть потому, что в судьбу стукачей (и даже в судьбу убиваемых по ошибке или из личных счетов) он не пристально всматривается, не воспроизводит ее крупным планом, с истоков. И еще потому, что и ему, и судьям, и исполнителям приговоров удалось убедить себя: стукачи *не люди*.

Один из героев А. Солженицына ("В круге первом"), инженер-заключенный, на предложение гебистов создать аппарат для автоматического фотографирования подозрительных и наблюдаемых лиц, ответил: "*Человеков* ловить не буду". В "*рубилровке*" подобного рода возражение не сработало бы, ибо "*какие же стукачи — люди?!*". Кого жалеть — нелюдей?! В чьих делах разбираться? Потому-то их истребление скорей повышает тонус, чем ужасает. Оттого и веселость. Но ведь это ложное самооправдание и, к великому сожалению, далеко не новое для человечества.

Люди редко уничтожают других людей *тотально*, как *целую категорию*, не объявив предварительно, что уничтожаемые — не люди или люди неполноценные, ибо "*страшно казнить и страшного человека*" (В. Гроссман).

Эта формула: "*Какие же стукачи — люди?!*" — член хорошо знакомого всем нам ряда наперед заявленных самооправданий. "*Какие же люди — рабы, варвары, негры, арестанты, еретики, иноверцы, иноплеменники, попы, монахи?!*" "*Какие же евреи — люди?!*". "*Какие же немцы — люди?!* Встретил

немца — убей его!” ”Какие же коммунисты, фашисты, террористы, убийцы — люди?! Не дать им суда и следствия!” ”Какие же люди — белые, кулаки, враги народа?!”

”Какие же фраера — люди?!”

Но все это — люди, и нам не отделаться от их принадлежности к человечеству, от обязанности их судить прежде, чем выносить приговор. И СТУКАЧЕЙ ТОЖЕ.

И если возникают такие обстоятельства (а они возникают), когда защитить или защититься необходимо немедленно, а суд невозможен, то никто не властен решить наперед для себя или за других, как поступить. Каждый вынужден решать это за себя, с полной мерой ответственности, всякий раз наново — для данного конкретного случая. И всякий раз чувствовать во всей полноте и тяжести, что поднимаешь руку на человека и это страшно. Не по-спортивно: ”жутковато”, но ”весело”, а жутко, без всяких отодвигающих эту жуть оговорок.

Почему-то получается так, что самое главное о ”рубилровке” сказано в примечании, а не в тексте:

...³ Тут время оговориться. Не все было так чисто и гладко, как выглядит, когда прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы — ”умеренных” и ”крайних”. Вкралась, конечно, и личные расположения и неприязни, и игра самолюбий у рвущихся в ”вожди”. Молодые бычки-”боевики” далеки были от широкого политического сознания, некоторые склонны были за свою ”работу” требовать повышенного питания, для этого они могли и прямо угрожать повару больничной кухни, то есть потребовать, чтоб их подкормили за счет пайка больных, а при отказе повара — и убить его безо всякого нравственного судьи: ведь навык уже есть, маски и ножи в руках. Одним словом, тут же в здоровом ядре, начинала виться и червоточина — неизменная, не новая, всеисторическая принадлежность всех революционных движений!

А один раз просто была ошибка: хитрый стукач уговорил добродушного работягу поменяться койками — и работягу зарезали по утру.

Но несмотря на эти отклонения, общее направление было очень четко выдержано, не запутаешься. Общественный эффект получился тот, который требовался”.¹⁷

Итак, опять ”лес рубят — щепки летят”? Но ”в общем” — порядок: лес валят, который надо. И в этом следует верить на

слово анонимным "нравственным судьям" и быстро обретшим "навык" в убийствах "молодым бычкам-боевикам". Когда я стала по второму и третьему разу вчитываться в "жутковато-веселые" страницы "рубилочки", картина возникла еще более страшная, чем при первом чтении. Для меня несомненно, что "бычки" имели прочный навык к убийству еще до резни стукачей — и на "воле", и в лагере. Убивать нужно уметь. Безоружных, да еще ножом, а не пулей (издали) — тем более. Без навыка "неотклонимо" убивать визжащего или онемевшего от ужаса человека и потом "деловито" уходить нельзя. Они не только "со стороны" в иные моменты "очень походили на блатных в законе, тем более, что были такие же молодые, упитанные, широкоплечие".¹⁸ Они и были "в законе": осуществляли расправу по приговору некоей узкой конспиративной группы, передоверив свою совесть и руки ее "паханам", прошу прощения — "нравственным судьям". Но судьи, чье беспристрастие не подстраховано присутствием обвиняемого, его защитника и публики, не укреплено гласностью и правовой судебно-следственной процедурой с прениями сторон и правом обжалования, — такие судьи всегда не более, чем "паханы", — и в "тройке" сталинского ОСО, и в анонимном лагерном "ОСО" "рубилочки".

"...закон и прояснился, но новый удивительный закон: умри в эту ночь, у кого нечистая совесть!".¹⁹

Это еще одно эхо тотальной формулы: "Какие же те, у кого нечистая совесть, люди?!" А "КТО из вас без греха?.." Как это совместить? Несколькими страницами ранее автор комментирует письмо к нему одного бывшего конвоира. Молодой человек пытается объяснить, почему солдатам, проходящим действительную службу в лагерной ВОХРе, трудно понять, чему они служат. Бывшему конвоиру кажется, что автор "Архипелага" недостаточно пристально взгляделся в их души. Вот суть ответа А. Солженицына бывшему конвоиру, Владилену Задорному: "Не главный ли это вопрос XX века: *допустимо ли исполнять приказы, передоверив совесть свою другим?* Можно ли не иметь своих представлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников? Присяга! Эти торжественные заклинания, произносимые с дрожью в голосе и по смыслу направленные для защиты народа от злодеев — ведь вот как легко направить их на службу злодеям и против народа!" И против лиц, и против групп, добавлю я.

А чуть выше сказано: *"Не изо всех поколений и не всех народов можно вылепить таких мальчиков"*.²⁰

Я же позволю себе утверждать, что *"изо всех поколений"* и *"изо всех народов"* можно вылепить *"таких мальчиков"* (из многих уже вылепили, из других лепят). При той полноте и всеохватности дезинформации, которых достигли диктатуры XX века, это достаточно просто делается.

Но дело не в этом (сейчас), а в том, что, по мнению автора, мальчишки-конвойные *должны взять на себя всю полноту ответственности* за исполнение чужих приказов. *"Боевики"* же, исполняя смертные приговоры над стукачами, должны целиком положиться на тайных судей.

Ведь и тут, в *"рубилровке"*:

Кто-то (признанный за авторитет) где-то кому-то только называл: *вот этого!* Не его была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А *боевики*, чья это была забота, *не знали судей, чей приговор им надо было выполнить*.²¹

Откуда же им было ведомо, что судья справедлив?

И что вообще им было известно? Обстоятельства *"дела"*? Степень надежности следствия? Критерии обвинения и источники сведений, которым подчиняется *"суд"*, сам себя кооптировавший? Ведь приговоры невозможно было даже обжаловать!

Почему же предусмотрены автором столь разные меры личной ответственности за содеянное — для конвоиров и для *"боевиков"*? Потому что в обоих случаях рассматривается только КАТЕГОРИЯ лиц, но НЕ ЛИЦО, Одна категория *"плохая"*, другая — *"хорошая"*. Отсюда и различные меры.

Но право нельзя подчинить расплывчатым, эмоциональным, хотя и весьма эффективным формулировкам:

"Умри" в эту ночь все, у кого нечистая совесть"?

Будем точнее: *"умри в эту ночь"*, *"в этом жутком спорте"* те, о ком неведомые *"судьи"* считают, что у них нечистая совесть.

У Ленина есть по этому поводу очень четкая формулировка: *"...должны погибнуть... те..., о ком мы считаем, что он должен погибнуть"*.²²

И уж никак не *"все"*: из тех, у кого нечистая совесть (если даже принять, что у судей и исполнителей она стопроцентно чистая), *"умри в эту ночь"* те, кого можно убить себе дешевле:

Установка начавшегося движения была: резать только стукачей, а надзирателей и начальников не трогать.²³

Почему? У них была чище совесть, чем у стукачей? Меньше была их вина перед заключенными? Нет, разумеется.

Система, постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя. Если бы убивали надзорсостав и офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58-8, террора, *но тогда они получили бы и легкую возможность давать расстрел*. Сейчас же у них появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в Особлагерях под *сучью войну*, сотрясавшую в это самое время ИТЛ и руководством же ГУЛага затеянную”.²⁴

Думаю, что дело здесь не в стремлении системы к самообману и не в ее боязни дать лишнюю сотню-другую ”58-8”: она их столько лепила чуть раньше! Не берусь решать, почему растерявшееся лагерное начальство маскировало политические убийства под ”сучью войну”; может быть, этому способствовала общая обстановка богатого событиями 1953 года. Но подкрашивание политического террора под уголовную междоусобицу было выгодно прежде всего *убивающим*, а не начальству. Кроме того, рискну утверждать, что никакие маски, спорные номера и даже ку-клукс-клановские капюшоны не сделали бы ”боевиков” невидимыми для лагерного начальства. За каждого убитого арестанта начальство в большинстве случаев хоть как-то, но должно было отчитаться, списать его. Не случайно из Федора Алексеевича так жестоко выбивали справки о ”естественной смерти” убитых на ГРЭСе. Нередки бывали случаи, когда за убийцу шел сдаваться на вахту другой заключенный: проигранный, проигравшийся или как-то иначе приговоренный ”кодлой” к этому шагу. Убийц либо очень скоро перехватывали бы, маскируя или не маскируя ”рубилровку” под уголовщину, либо ей попустительствовало почему-то начальство. И тогда — кого же все-таки уничтожали? И кто? Но отвлечемся окончательно от этих соображений. Примем ”рубилровку” в той ее версии, в какой она видится автору ”Архипелага”. Даже тогда очевидно, что для тайных вершителей справедливости основание к выбору *категории* жертв (зеков, а не начальство, не оперов) подкреплялось и дешевизной жизни любого зека по сравнению с жизнью любого начальника, и беззащитностью приговоренных к смерти.

Автор ведь и сам говорит: "Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше, их оперуполномоченные — еще больше; писавшие инструкции и приказы — еще больше; а дававшие указание их писать — больше всех".²⁵ Но тем не менее удар приходится только по самой низкой ступени иерархии: вершители справедливости рубят "щупальца", а не голову — не лагерное (хотя бы) начальство.

Когда же будет учтена "иерархия виновности"? После смерти жертв? После гибели низшей ступени в цепи виновных? При чем же тут максималистская фраза "все, у кого нечистая совесть"? К чему толковать отчаянную реакцию зеков на доносительство как торжество *справедливости*?

Я пытаюсь понять, почему читать о "рубилровке" страшней, чем о случае вроде следующего:

...скатится со штабеля бревно и в полулю воду собьет стукача.²⁶

Это еще в ИТЛ, еще до "рубилровки" *массовой*.

Или:

Вдруг — самоубийство. В режимке — "барак два" нашли повесившегося одного. (Все стадии процесса я начинаю излагать по Экибастузу. Но вот что: в других Особлагах все стадии были *те же!*) Большого горя начальству нет, сняли с петли, отвезли на свалку.

А по бригаде слушок: это ведь — стукач был. Не сам он повесился. Его *повесили*.

Назидание.²⁷

В этих и сходных фактах усмотрены автором не различные формы возмездия и самозащиты заключенных от стукачей, сосуществующие в страшном лагерном мире, а *стадии* движения.

Это все — поиски наощупь. Это все еще, может быть, могло случиться и в ИТЛ. Но гражданская мысль работает дальше: не это ли и есть главное звено, через которое надо рвать цепь?²⁸

Согласно привычной для всех нас, окончивших советские школы и вузы, псевдоисторической схеме, всякое *стихийное, эпизодическое* движение является стадией *низшей* по сравнению со всяким *организованным, планируемым* движением. Но

по какой шкале? С чьей точки зрения? В "зоне", при полном отсутствии гласности — там, где в борьбе с начальством и его агентами нельзя организовать правовую следственную и судебную систему и процедуру, — там трудно придумать что-нибудь страшнее еще одной карающей заключенных мафии.

Эта поневоле конспиративная мафия избавлена от всякой подконтрольности. Она сильна своей анонимностью и укрытостью. Кто сможет ее проверить и, если нужно, оказать ей действительное сопротивление в разобщенной и аморфной среде, которую вставшие из ее рядов, НО НАД НЕЙ новые судьи так беспощадно взялись "очищать" ножом?

По многим причинам в стихийной мести и самозащите "снизу" (в таких условиях) меньше зла, чем в организованной и коллективной мести по типу "рубилочки".

Автор, правда, уверен, что

...при документальной неподтвержденности стукачей! —
...неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО.²⁹

А даже малую меру ошибок при таком единообразии приговоров — ТОЛЬКО СМЕРТЬ! — можно исправить? Или спить? Неужели и здесь — лучше уничтожить невинного, чем упустить виноватого? На наших глазах арестантская карательная контрсистема, зеркально отображающая приемы "троек" ОСО, приходит к юридической логике тех же "троек".

Итак, историк "рубилочки" убежден в обоснованности большинства решений тайных судилищ.

Но его уверенность остается столь же не подтвержденной, сколь и меткость невидимого эковского ОСО! Это законспирированное судилище по определению не могло за себя ручаться: оно не вело судебного следствия, в котором состязались бы *гласно* обвинение и защита, и не выслушивало обвиняемых. Слово "суд" здесь вообще неуместно, ибо нет ни состава, ни процедуры суда.

В таких обстоятельствах стихийные удары по стукачам со стороны возмущившейся, обозленной жертвы доноса или ее друзей зачастую наносятся с большей точностью, ибо мстители лучше информированы о деле. Я понимаю, что в *любом случае* превращение людей, запертых в одной клетке, одних — в предателей, других — в их убийц — страшно. Но лучше уж приступообразная, взрывная ярость, чем серия хладнокров-

ных бессудных расправ. *Вспышка* стихийной ненависти, аффект, непосредственная *реакция* заставляет действовать *собственноручно*. А для нормального человека, *каковых большинство, собственными руками* убить трудно и страшно. Схлынет гнев — и пройдет способность убить. Выкричится человек, изобьет негодяя — и не состоится убийство. А стукач уже будет *разоблачен*. И *напуган*. И это в данной ситуации главное — *разоблачить* стукача.

Зато *по поручению* или *чужими руками* убивают холодно и беспощадно: одни, убивая по чужому приказу, не чувствуют за это моральной ответственности, другие сами не убивают. Объективно становится больше ответственных за преступление, субъективно — ответственность исчезает или уменьшается во всех участниках таких убийств. Это частность общесоциологического парадокса, который так хорошо чувствовал Достоевский: соедините инициатора и исполнителя убийства в одном лице — и не так уж много найдется глубокомысленных душегубов, способных и сочинять дозволения на убийство, и убивать *собственноручно*.

”Не было выхода, — скажут мне. — Не было способа защититься от стукачей иначе”.

Возражение это отпадает, потому что летописец ”рубилочки” на него ответил:

...стукачи нужны и полезны лишь пока они толкуются в массе и пока они не раскрыты. А раскрытый стукач не стоит ничего, он уже не может больше служить в этом лагере.³⁰

О том же поведал нам и незабываемый Руська ”В круге первом”. ”Страна должна знать своих стукачей!..” В ГУЛаге была своя почта — этапы, пересылки, и каждая репутация быстро распространялась на целые лагерные империи. Если речь идет в первую очередь о нейтрализации, а не о мщении, то лучше разоблачения здесь, в этих условиях, ничего не придумаешь.

”Секретный сотрудник” (сексот) дееспособен, лишь пока он секретен. Так что в ”рубилочке” нет еще и безвыходной необходимости убивать из самозащитных соображений: достаточно разоблачения и бойкота.

Существовал же еще такой лагерный парадокс: бригада, барак, мастерская, лаборатория, контора и т. д. предпочитали иметь в своей среде *разоблаченного* ими стукача, не открывая

ему до поры до времени его выявленности. Так легче было оберегаться от слежки. И то же самое происходит сегодня в быту "большой зоны": народ предпочитает "знать своих стукачей", чтобы планировать свое поведение. Иногда выявленный стукач становился даже "двойным агентом" — положение скользкое и нечистоплотное. Зато "рубиловка" была организована так, что в принципе нож мог быть занесен над любым оклеветанным, над каждым личным врагом карателей. Недаром люди боялись без свидетелей бросить в почтовый ящик письмо и "добровольно" учредили над собой вторую цензуру, помимо лагерной.³¹

Беда в том, что пафос "рубиловки" зовет нас не к обезвреживанию стукачей, а к возмездью.

Если бы главным было их обезвреживание, а не отмщение, не было бы в великой книге, направленной против жестокости и несправедливости, места чувственно осязаемой оде спасительному ножу. Ножу, предназначенному для "уступившего", а не для принудившего к предательству (автор так ведь и говорит: "для уступившего", а не только для доносчика по призванию, по собственной воле) :

...Он назначался только тебе в грудь и не когда-нибудь, а завтра на рассвете, и все силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти! Он не был и длинен, но как раз такой, чтоб хорошо войти тебе под ребра. У него и ручки-то не было настоящей — какая-нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножовки, — но как раз хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки!³²

Не возникла бы в книге, страстно ополчившейся на насилие, и некая полуреабилитация обычая кровной мести, прерываемая лишь краткими оговорками:

Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз он понял, что есть главная сила на земле: *кровная месть* (курсив А. Солженицына) .

Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести — но каким страхом веет на все окружающее! Помня об этом законе, ка-

кой горец решится оскорбить другого *просто так* (курсив Солженицына), как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? И тем более какой *не* (курсив Солженицына) чечен решится связаться с чеченом — сказать, что он — вор? или что он груб? или что он лезет без очереди? Ведь ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок! И даже если ты схватишь нож (но его нет при тебе, цивилизованный), ты не ответишь ударом на удар: ведь падет под ножом вся твоя семья! Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами, и "хозяева страны", и нехозяева — все расступаются почтительно. Кровавая месть излучает поле страха и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию.

"Бей своих, чтоб чужие боялись!" Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча.

А что предложило им социалистическое государство?³³

Десятки раз я перечитываю этот отрывок и убеждаюсь: "дикий закон", "бессмысленная резня" здесь определения явно иронические; это пародируемые автором представления некоего "цивилизованного", штампы его интеллигентского сознания. В глазах же писавшего, "резня... не так бессмысленна", "поле страха" не бесполезная вещь для "маленькой горской нации". И это настроение перекликается с настроением "рубилки".

"Поле страха" приемлемо, если его генерирует сила, симпатичная автору.

Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Интеллигенция российская стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на своем пути этою второстепенною ценностью...

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют *ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей, право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в го-*

раздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология, или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, *право — по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система.*

...наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала ПРАВОВОЙ личности. Обе стороны этого идеала — личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции.

Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали ПРАВОВЫЕ интересы личности или выказывали к ним даже прямую враждебность.³⁴

И хотя идея правового государства и правовой личности сегодня все более неотступно занимает самые прозорливые умы России, но приведенные выше слова Б. Кистяковского остаются достаточно справедливыми. Сознание, прикованное к духовным, внутренним ценностям, поглощенное своей целью, нередко воспринимает Право как нечто второстепенное, внешнее, инструментальное.

Могуче-эмоциональный интеллект Солженицына неотступно поглощен ценностями и целями, более фундаментальными, *в его глазах*, чем Право. Солженицын сам пережил весь ужас бесправия и бессилия и неукротимо их ненавидит. Смысл его жизни — в борьбе против них.

Его ненависть к насилию так велика, что в очищенной, вне-событийной, внеобразной форме он многократно декларирует лишь ненасильственное, духовное, внутреннее сопротивление и раскрепощение. Однако в его напряженно-страстном повествовании, вопреки его собственному решению — звать только к решению ненасильственному, все влечет нас к борьбе без особой осторожности и оглядки на средства. Его неукротимый темперамент бойца противоречит его философско-исторической и политической позиции ненасилия. То же произошло и с Толстым в "Войне и мире". При решении вопросов общих, сравнительно отвлеченных, громче звучит философское кредо обоих писателей, чем их порыв к борьбе. В конкретных ситуациях первое уступает второму.

А. Солженицын тяготеет к идее сильной и справедливой, нравственной власти, и это так же понятно, как его ненависть к порабощению. Для нынешней России, а Солженицын живет Россией, идеальным выходом был бы длительный, плавный, сопряженный со многими глубинными изменениями переход от партократических к нетоталитарным обстоятельствам. Такой переход лучше всего могла бы осуществить сильная и целеустремленная власть. Он не под силу дискусионному клубу типа Временного правительства. Как все страстно поглощенные своей истиной люди, А. Солженицын окрашивает владеющим его душой настроением любую ситуацию, которая его занимает. Но сильная и целеустремленная власть лишь в редчайших случаях бывает сдержанной и щепетильной по отношению к чужим правам. И если слабая власть порождает хаос и легко уступает место деспотизму, то сильная власть сама легко вырождается в деспотизм. И от этого противоречия нельзя уйти. Отношение А. Солженицына к "рубиловке" и другим "полям страха", излучаемым симпатичными ему генераторами, — одна из реалий этого противоречия. Шабаш партий, вроде хаоса 1917 года, который привел страну к тоталитарной стагнации, куда больше отталкивает его, чем "хорошая", то есть достойная в его глазах уважения и доверия, авторитарность, чем благая сила. Отсюда и симпатия к чеченам, способным без колебаний защитить себя силой. Отсюда и восхищение вождем Кенгирского восстания сильным человеком Г. Слученковым, от которого А. Солженицына не отвращает даже угроза "публично сечь"³⁵ своих товарищей-зеков за распространение провокационных слухов.

Авторитаризм иногда, действительно, помогает обществу выйти из тупика, однако, от этого он не перестает быть феноменом двусмысленным и социально опасным. Приемлемый как динамичный переходный режим, в качестве некоей "преддемократии", он, окостенев, способен ввести общество в новый тупик бесправия. У общества нет от него легальной защиты.

В одном из своих интервью А. Солженицын говорит:

Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: Дайте нам права! То есть: Отпустите заземленную руку! Ну отпустят или вырвем — а дальше? Вот тут на демократическом движении и сказывается незнакомство с новой русской историей. Они по сути обходят все уроки нашей истории как небывшие. И по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля, а это — гибель.³⁶

Вопрос — ”а дальше?” — наиболее актуален. Но, во-первых, если ”отпустят или вырвем”, это уже великое дело. Не ради ли куда более урезанных прав гибли кенгирцы в своем безнадежном восстании? Во-вторых, ”повторение Февраля” — только в том случае гибель, если новая власть опять окажется не в состоянии твердой рукой, на небольших скоростях ввести страну в русло стабильной демократической *правовой* ситуации.

Исторические обстоятельства часто кажутся сходными, но никогда полностью (как и мы, люди) не повторяются. Февраль был потому *не необходим*, что Россия 1917 года могла совершенствоваться и без революции. Она уже постепенно выходила из квазитупика своей правовой модернизации, неизбежной для развитой страны в XX веке. Задачей, с которой ”прогрессивный блок” по ряду конкретных историко-политических причин не справился, была СТАБИЛИЗАЦИЯ, а не разрушение тогдашней, по преимуществу, реформирующей тенденции. Сегодня нужна глубочайшая перестройка, а значит, и нынешний эквивалент некоего ”прогрессивного блока” должен быть куда более сильным, чем его прототип. НО ВО ИМЯ ЧЕГО нужна перестройка? Для движения, условно обозначаемого как движение А. Д. Сахарова, — ради воссоздания либерально-демократической правовой ситуации. Круги, тяготеющие к А. И. Солженицыну, современная западная демократия отвращает, отталкивает от себя своим потребительским, своекорыстным толкованием свободы личности, своим радикалистским безмыслием. И очень трудно при заведомом неприятии ”западничества” уловить, что разнузданность личности и порабощенность личности проистекают из одного и того же источника: из пренебрежения ЧУЖИМИ *правами*, из слабости *права*.

Порок современной демократии отнюдь не в переизбытке прав личности, а в их, как это ни странно, недостаточной защищенности. Если в условиях диктатуры право заменено произволом диктатора или олигархии, то есть исключительной властью лица или одной группы, то в условиях демократии законопослушная личность часто бывает недостаточно защищена от произвола и насилия со стороны асоциальной личности или каких-то асоциальных союзов. Демократию должно и можно совершенствовать, борясь против таких искажений ее главных принципов.

* * *

Проблема доносительства — проблема, казалось бы, чисто нравственная. Но, как ни странно, эта ”внутренняя” для чело-

веческого сознания проблема теряет свою остроту там, где господствует "формальная" "внешняя" категория демократического конкурентного Права. В зонах же бесправия, "больших" и "малых", количество неизбежно переходит в стукачество ("диалектика" произвола). Человечество выработало в своей реакции на *всякое* преступление только один более или менее удовлетворяющий наше нравственное чувство подход: общие критерии — в виде законов и кодексов *плюс* конкретизирующие приемы — в виде следствия и гласного судебного разбирательства, состязательной борьбы сторон — с правом обвиняемого на защиту и самозащиту. Без объединения того и другого — какой же может вдруг зазвучать "гонг справедливости"?..

"Время и мы" №42, 1979. Тель-Авив.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В. Гроссман, Все течет, Изд. "Посев", стр. 59. Все ссылки в тексте на это издание.
2. Там же, стр. 60.
3. Там же, стр. 62.
4. Там же, стр. 64.
5. Там же, стр. 66.
6. Там же, стр. 66–67.
7. Одно отличие — наш успел побывать в заключении и вышел досрочно.
8. В. Гроссман, Все течет, стр. 68–69.
9. Там же, стр. 70.
10. Там же, стр. 71.
11. Там же, стр. 70.
12. А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, т. 3, ч.ч. V, VI, VII, ИМКА-Пресс, Париж, стр. 244–246. В дальнейшем все ссылки на это издание.
13. Подробно об этом и о реакции на мой рассказ друзей Стэллы, считающих, что я ошибаюсь и что она не была доносителем по нашему делу, см. в моем очерке "Тетрадь на столе" ("Время и мы" №№ 52, 53, 55). К великому сожалению, свидетельства Н. Улановской, З. Померанц и Г. Померанца, узнавших Стеллу уже после нашего осуждения и твердо уверенных в моей ошибке, не заставили меня изменить моему представлению о событиях. Как ни горько, но в откликах других людей на мой очерк были и данные, подтверждающие то, что стало известно мне.

- А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 246.
Там же, стр. 250.
Там же, стр. 250.
Там же, стр. 251–252.
Там же, стр. 247.
Там же, стр. 247.
Там же, стр. 235 (курсив Д. Ш.).
Там же, стр. 248 (курсив Д. Ш.).
Ленин, Соч., т. 33, стр. 48 (курсив Д. Ш.).
А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг, стр. 249.
Там же, стр. 255 (курсив Д. Ш.).
Там же, стр. 236.
Там же, стр. 244.
Там же, стр. 245.
Там же, стр. 245. Главное или не главное это было звено, не берусь решать. Но то, что стукач – это самое слабое звено цепи душителей, несомненно: самое незащищенное и юридически дешевое. Как отсталые страны – в ”цепи мирового империализма”.
- Там же, стр. 248.
Там же, стр. 254.
Там же, стр. 250.
Там же, стр. 250.
Там же, стр. 325–335.
- Б. А. Кистяковский, ”В защиту права (интеллигенция и правосознание)”. Сборник статей о русской интеллигенции ”Вехи”, Москва, 1909, стр. 125–135. Переиздано в 1967 г. изд. ”Посев” (курсив Д. Ш.).
- Курсив А. Солженицына. О Г. Слученкове – см. Лев Консон, Скажи мне, где твой брат Авель, ”Континент” № 32, стр. 274–286, 1982.
- Интервью в Вермонте (США), данное корреспонденту БиБиСи И. И. Саппету. Ж-л ”Посев” № 4, 1979.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ БУНТ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое и главное, о чем я хочу сказать, предваряя эту статью: я начинаю ее с чувством глубокого уважения к тем, чьи взгляды хочу в ней рассмотреть, к их деятельности, ее побуждениям и результатам.

Второе: независимо от того, широк или узок круг лиц, занятых данной проблематикой, способны ли принести какую-то пользу ее разработки или неспособны, те, кто к ней привержены, не в состоянии от нее отойти. Останется один собеседник — они будут обращаться лишь к одному. Не останется ни одного — продлится безадресный монолог сознания, пожизненно прикованного к зловещей тематике. Эта тематика может быть очерчена так: о том, что оставлено за спиной, но неуклонно распространяется, прорастает вокруг и в любой миг может оказаться перед глазами.

Может быть, и бестактно, уехав оттуда, продолжать думать и говорить о том, *что и как* нужно делать там. "Но не думать просто невозможно"... Все-таки тонкой струйкой текут туда, через границу, журналы, газеты, книги. Все-таки, в какой-то, пусть чудовищно малой, но не убывающей степени наши споры — это и диалог с оставшимися.

Хуже обстоит дело с диалогом между нами и нашими новыми соотечественниками. А ведь по нашему внутреннему ощущению, субъективно мы говорим и для них, потому что их будущее устремлено к нашему прошлому и настоящему. Но и здесь мы ничего с собой поделаться не можем: говорим так, будто нас слышат. Мы так говорили десятилетиями — в стол, в узком кругу ближайших, в безвестности подписанного, анонимного и псевдонимного Самиздата. Авось какой-то попутный и неведомый ветер донесет сказанное и до не обращенного к нему слуха. А если не донесет, значит, такова общая наша доля — быть не услышанными и не слышать. Внушает некоторую надежду одно обстоятельство: мы, родившиеся в 1920-х, пришли сюда и увидели феномен, ранее нам незнакомый, — культуру и прессу двух бывших до нас эмиграций, Россию унесенную и сохраненную, живую мысль не только о прошлом, но и

о том, что более полувека переживалось нами. И если мир уцелеет, то, возможно, сольются когда-нибудь разобщенные потоки одной культуры, однопочвенной мысли.

А впрочем, все оправдания того, почему мы не умолкаем при столь слабой надежде на практическую полезность наших речей, сводятся к старой поговорке: "у кого что болит, тот о том и говорит".

НЕПОДЛИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

У Станислава Лема есть роман "Эдем". На планете, саркастически названной раем ("Эдем"), между звездолетчиками-землянами и аборигеном-диссидентом происходит следующий диалог:

— План — есть, нет. (Пауза). Теперь — план когда-то не был. (Пауза). Теперь мутации, болезнь. (Пауза). Информация подлинная — план был — теперь нет.

— Не уловил, — признался Инженер.

— Он говорит, что в настоящее время отрицается существование этого плана — как будто его вообще никогда не было, а мутации якобы являются видом болезни. В действительности план был проведен в жизнь, а потом его отбросили, не желая признать своего поражения.

— Кто?

— Эта их якобы несуществующая власть.

— Постойте, — сказал Инженер, — как же это? С момента, когда последний анонимный властитель перестал существовать, воцарилась как бы "эпоха анархии", так, что ли? Так кто же проводил в жизнь этот план?

— Ты ведь слышал. Никто его не проводил — никакого плана не было. Так сегодня утверждают.

— Ну, хорошо, но тогда, пятьдесят или сколько там лет назад?

— Тогда утверждали что-то другое.

— Нет, это невозможно понять.¹

Почему, собираясь говорить об одном из направлений современной советской оппозиционной мысли, я вспомнила разговор на планете Эдем?

Не только потому, что Ст. Лем в своей аллегории, в частности, в разговоре о "плане" ("Теперь — план когда-то не был... Информация подлинная — план был — теперь нет"), весьма точно воспроизвел информационно-пропагандистскую политику партократической государственности. Еще и потому, что героическая оппозиция, о которой пойдет здесь речь, тоже смоделировала для себя неподлинную реальность и рассуждает так, как если бы эта реальность была подлинной. А для оппозиции, действующей в таких смертоносно опасных обстоятельствах, как обстоятельства планеты Эдем, чрезвычайно важно иметь как можно более точные представления о реальности — даже в том случае, если тактически целесообразно действовать так, словно реальность носит иной характер, чем это имеет место на самом деле.

* * *

Советские оппозиционеры-правозащитники хотят считать, что их действия, направленные против произвола ЦК-ГБ в СССР, легальны с точки зрения основного государственного закона СССР — его конституции. *Легальность* действий (то есть пребывание в рамках конституции СССР), *открытость* и *ненасильственность*, причем ненасильственность безоговорочная и вневременная, — вот три кита, на которых покоится идеология и стратегия подсоветских правозащитников-легалистов. То, что правозащитники искренне отрицают власть над собой какой бы то ни было идеологии, ничего не меняет: идеология есть и ее устои весьма отчетливо сформулированы.

Обоснованию правозащитного триединства: легальность, открытость, ненасилие — посвящена в существенной мере одна из самых героических повестей 1970-х гг. — книга В. Буковского "И возвращается ветер".²

В. Буковский убежден в законности своих и своих соратников действий с точки зрения советского законодательства. Это убеждение и погружает правозащитников в неподлинную реальность — тем глубже, чем полнее они руководствуются этим тезисом в своих повседневных действиях.

К счастью, они руководствуются им не всегда.. Но всегда существует угроза, что кто-то воспримет тезис легальности действий правозащитников с юношеским доверием или фанатическим пылом и максимализмом. И это умножит жертвы на и без того тернистом пути.

ЧТО ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ

Главной опорой легалистов являлась до 1977 года статья 125-я "сталинской" (1936 г.) конституции СССР. Говорят, эта статья была сформулирована Н. Бухариным. Бухарин очень умело оперировал неоднозначными формулировками. Статья 125-я не утратила своей коварной *синтаксической* двусмысленности и превратилась в статью 50-ю ныне действующей конституции 1977 года, на которую опираются легалисты сегодня.

В последней (1977 г.) редакции конституции СССР статья 48-я гарантирует трудящимся "право участвовать в управлении государственными и общественными делами" (как, в какой мере, посредством каких обеспечивающих это участие механизмов, в ней не сказано). А вышеупомянутая статья 50-я конституции 1977 года гласит:

В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью использования печати, телевидения и радио.

Не мудрствующий лукаво читатель полагает, что эта статья конституций 1936-го и 1977-го гг. допускает перечисленные выше "свободы" только "в целях укрепления и развития социалистического строя", в упрочении коего и состоят "интересы трудящихся". За эти пределы статья 50-я не позволяет ступить ни шагу.

Легалисты же упорно отстаивают свое прочтение 125-й и 50-й статей двух конституций: по их убеждению, эти статьи констатируют, что "интересы трудящихся" и "укрепление социализма" требуют предоставления трудящимся всех перечисленных в обеих статьях свобод.

Главным теоретиком легальности действий правозащитников является для В. Буковского А. Есенин-Вольпин. Логика А. Есенина-Вольпина представляется В. Буковскому неуязвимой. Поэтому я приведу большой отрывок из упомянутой книги В. Буковского, воспроизводящей оппозиционную логику А. Есенина-Вольпина:

— Вы же советский человек, — говорит с напором сотрудник КГБ, — а значит, должны нам помочь.

И что ты ему скажешь? Если не советский, то какой? Антисоветский? А это уже семь лет лагерей и пять ссылки. Советский же человек обязан сотрудничать с нашими доблестными органами — это ясно, как день. За что, к примеру, меня выгнали из университета? За то, что не соответствую "облику советского студента".

Между тем, доказывал Вольпин, никакой закон не обязывает нас быть "советскими людьми". Гражданами СССР — другое дело. Гражданами СССР все мы являемся в силу самого факта рождения на территории этой страны. Однако никакой закон не обязывает всех граждан СССР верить в коммунизм или строить его, сотрудничать с органами или соответствовать какому-то мифическому облику. Граждане СССР обязаны соблюдать писанные законы, а не идеологические установки.

Далее, понятие советской власти. Вы против советской власти или за? Я могу думать что угодно, но если я официально заявляю, что против, — это уже антисоветская пропаганда. Опять семь плюс пять. Что же мне — лгать? Или сознательно нарушать законы? Однако этого и не требовалось. Согласно Конституции СССР, политическую основу советской власти составляет власть советов депутатов трудящихся, тот самый бутафорский орган, который на деле имеет меньше власти, чем рядовой милиционер. Ни о какой партии в этом разделе Конституции и помина нет.

— Возражаю ли я против власти некоего парламента, который называется Совет депутатов трудящихся? — рассуждает Вольпин. — Нет, не возражаю. Тем более, что абсолютно нигде не сказано, что он должен быть однопартийным. Название, конечно, можно было бы придумать и получше.

Это рассуждение было чрезвычайно важным, так как на практике власти автоматически объявляли антисоветским все, что им не нравилось. Рассуждая же строго юридически, никто из нас не совершал преступления, пока не выступал прямо против власти советов депутатов трудящихся. А кому она мешает?

Создавая законы в основном для пропаганды, а не для исполнения, наши идеологи перемудрили. Им, в сущности, ничего не стоило написать вместо Конституции: "В

СССР все запрещено, кроме того, что специально разрешено решением ЦК КПСС”. Но это, наверное, вызвало бы лишние трудности, несколько шокировало бы соседние государства. Сложнее стало бы распространять свой социализм за рубеж, легковверным людям. А потому они понаписали в законах много свобод и прав, которых просто не могли бы допустить, — справедливо считая, что не найдется таких отчаянных, чтобы потребовать от них соблюдения этих законов.

Поэтому идея Вольпина в переводе на человеческий язык с машинного сводилась к следующему:

Мы отвергаем этот режим не потому, что он называется социалистическим: что такое социализм, никакой закон не определяет, и, следовательно, граждане не обязаны знать, что это, — а потому, что он построен на произволе и беззаконии, пытается навязать силой свою идиотскую идеологию и заставляет всех лгать и лицемерить. Мы хотим жить в правовом государстве, где закон был бы незыблем и права всех граждан охранялись бы, где можно было бы не лгать — без риска лишиться свободы. Так давайте жить в таком государстве. Государство — это мы, люди. Какими будем мы, таким будет и государство. Данные нам законы при внимательном рассмотрении вполне позволяют такую интерпретацию. Давайте же — как добрые граждане нашей страны — соблюдать законы, как мы их понимаем, то есть как они написаны. Мы не обязаны подчиняться ничему кроме закона. Давайте защищать наш закон от посягательств властей. Мы — на стороне закона. Они — против. Конечно, в советских законах есть много абсолютно неприемлемого. Но разве граждане других, свободных стран довольны всеми своими законами? Когда закон гражданам не нравится, они законными средствами добиваются его пересмотра.³

Правозащитники игнорируют все партийные и юридические документы, утверждающие коммунистическую партократию, как неконституционные, ибо, по их убеждению, в конституциях СССР монопартократия не постулирована. Ограничусь и я рассмотрением лишь одного документа — конституции СССР.

Рассуждение А. Есенина-Вольпина не требует перевода ”на человеческий язык с машинного”, ибо оно построено соответственно человеческой, а не машинной логике. Правда, на пер-

вый взгляд кажется, что машина, получившая приказание рассмотреть *только один* раздел конституции и не запрограммированная понятием преамбулы как препостулата, относящегося ко всем разделам данного документа, рассуждала бы именно таким образом. Но человек А. Есенин-Вольпин изучил, несомненно, всю конституцию. Поэтому он прибегает к оговорке, для машины пока еще немислимой, и мимоходом подчеркивает свою опору лишь на один, тактически ему удобный раздел конституции (Глава X "Основные права и обязанности граждан" конституции 1936 г. и глава 7-я "Основные права, свободы и обязанности граждан" раздела II "Государство и личность" конституции 1977 г.):

Ни о какой партии в этом разделе конституции и помину нет. (Курсив Д. Ш.)

Ну, а в других разделах?

В отличие от синтаксически двусмысленной статьи о свободах, приведенной выше, в конституции имелись до 1977 года и наличествуют теперь формулировки вполне однозначные. Так, преамбула, безусловно относящаяся ко всей конституции 1977 года, ныне гласит:

Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало общенародным. Возросла руководящая роль Коммунистической партии — *авангарда всего народа*. (Курсив Д. Ш.)

А в статье 6-й раздела I "Основа общественного строя и политики СССР" уточнено, что следует понимать под "руководящей ролью" и "авангардом всего народа" (заметьте — *всего*):

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром *его политической системы, государственных и общественных организаций* является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистко-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет *генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР*, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, на-

учно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. (Курсив Д. Ш.)

В конституции, действовавшей до 1977 года, партократия откровенно легализовалась еще и статьей 126-й, уточняющей и конкретизирующей смысл преамбулы к основному закону СССР. Цитирую:

Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и *представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.* (Курсив Д. Ш.)

Действительно, "абсолютно нигде не сказано", что бутафорский советский "парламент" или бутафорские же советы "должны быть однопартийными". Но "руководящей и направляющей силой...", "ядром...", "основой государственных и общественных" учреждений и организаций в СССР, а следовательно и советов, и органов информации (в том числе прессы), и судебных, и административных органов, и других партий, ежели КПСС их создаст себе на подмогу, и т. д. и т. п., — является единственная объявленная в конституции партия — КПСС.

Я не признаю *такой* конституции основанием для своего общественного поведения. А вы признаете? Тогда прекратите тяжбу с КПСС и доверьтесь ее узаконенной конституцией руководящей и направляющей роли во всех сферах советской жизни. Ибо успешно "трясти перед носом конституцией" (В. Буковский) оппозиции удастся только при достаточной юридической малограмотности собственника данного носа. Чуть более осведомленный представитель власти раскроет конституцию на других страницах и освежит в памяти оппозиционеров

формулировки, недвусмысленно узаконивающие партократию.

А. Есенин-Вольпин призывает "соблюдать законы, как мы их понимаем, то есть как они написаны" (Курсив Д. Ш.).

Понимать, разумеется, можно все, что угодно, так, как толкователю это представляется правильным или удобным. Написан же основной советский закон однозначно. И даже международные документы, подписанные СССР, ничего в этом не меняют: как толковать и применять все подписанное (включая и Хельсинское соглашение), надлежит решить, согласно конституции СССР, все той же КПСС — руководящей и направляющей силе, ядру государственных и общественных организаций, определяющей "линию внутренней и внешней политики СССР".

Можно, конечно, легально добиваться изменения некоторых второстепенных советских законов. Например, закона о пенсиях, или о совместном или раздельном обучении мальчиков и девочек, или о ношении или ненаошении школьной формы и т. п. (сегодня — можно: КПСС разрешает).

Можно многое выиграть, хорошо зная законы и отстаивая свои права, запечатленные в уголовно-процессуальном, в пенсионном, трудовом, жилищном и прочих частных аспектах советского законодательства. Нескончаемые потоки жалоб, ходатайств и апелляций непрерывно циркулируют между гражданами и официальными инстанциями СССР. Их рассмотрением заняты гигантские армии чиновников. Эффективность ходатайств и жалоб невысока, но все-таки восстановления законности во множестве частных случаев удастся добиться. В качестве служебного лица, депутата сельского совета и просто сочувствующего наблюдателя я много лет с переменным успехом занималась поисками управы на беззаконие в бытовых и трудовых вопросах. Но посягательство на всевластие КПСС в управлении обществом и государством изначально квалифицировалось и квалифицируется ЦК-ГБ как посягательство на государственный строй СССР. Таковым оно и является, ибо однопартийность и произвол ("направляющая и руководящая роль") слитой с государственной властью и единственной в стране партии есть практическая и конституционная основа советского строя. Среди основоположников этого строя были юристы и весьма не простодушные люди. Они своевременно озаботились тем, чтобы реальность советского права конституционно предопределялась критериями их партии.⁴ И введение в это право каких-либо внепартийных критериев есть в СССР неконституционная акция. Кстати, преамбула конститу-

ции 1977 года однозначно провозглашает, что "Высшая цель Советского государства — построение бесклассового коммунистического общества..." и объявляет строительство коммунизма — в том числе и в идеологическом плане — главной задачей "социалистического общенародного государства". Таким образом, приведенные В. Буковским слова А. Есенина-Вольпина: "...никакой закон не обязывает всех граждан СССР верить в коммунизм или строить его", — опровергаются наиболее общими положениями конституции, предшествующими изложению ее статей.

Даже УПК РСФСР узаконивает партократический произвол. В новейшей его редакции отчетливо сказано, что суд руководствуется законом и "социалистическим правосознанием" (Курсив Д. Ш.). Даже не "социалистическим правом", а "правоСОЗНАНИЕМ". Последнее слово позволяет законно расширить право до произвола ("сознания") суда, "ядром" которого (как и "ядром" прочих государственных и общественных организаций) конституционно является КПСС. Значит, и УПК есть один из инструментов монопартократии.

В. Буковский цитирует один из трагических документов движения правозащитников:

"Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь — к советской. Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.

Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.

Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи.

Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.

Граждане нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей — требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться", — писали в своем обращении к мировой общественности Л. Богораз и П. Литвинов".⁵

Речь идет о процессе Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского (1968 г.).

Слова: "Этот процесс — пятно на чести нашего государства" — ошибка авторов обращения.

Этот процесс не пятно на чести партократического государства, а проявление его существа. Если, согласно статье 126-й главы 10 действовавшей тогда конституции СССР, КПСС представляет "руководящее ядро всех организаций..., как общественных, так и государственных", то кому, как не ей, определять цензурную политику СССР и кары за ее нарушение? "Монополия легальности" (Ленин) — основа политики партии, а партийные решения *при такой конституции* имеют силу закона. Следует поэтому либо смириться с приоритетом КПСС во всех сферах жизни "нашего государства", либо перестать ссылаться на документ, беззастенчиво постулирующий необъятную и всепроникающую власть партократии над государством и обществом. Нельзя одновременно и признавать конституцию СССР, и восставать против партийных решений в столь важных вопросах.

Парадоксально переосмысливая советскую тоталитарную конституцию как документ, утверждающий демократию, правозащитники понимают, что на деле партократия с демократическим правом несовместима:

— Но ОНИ же не могут обойтись без произвола, — возражали Алику. — Если они будут строго соблюдать законы, они просто перестанут быть коммунистическим государством.

— На самом деле я тоже так думаю, — заговорщицки шепотом соглашался Алик. И все смеялись.

— Чудак ты, Алик, — говорили ему. — Ну, кто же будет слушать тебя с твоими законами? Как сажали, так и будут сажать. Какая разница?

— Ну, если кто-то нарушает законы, ущемляет мои законные права, я как гражданин обязан протестовать. Мало ли какая банда преступников попирает законы — это не означает, что я перестаю быть гражданином. Я обязан бороться всеми законными средствами. Прежде всего — гласностью.

И опять все смеялись: Гласности захотел! Где же ее взять, гласность? Газета "Правда", что ли, поможет?⁶

Здесь заключен тупик. И не столько практический (потому что в жизни люди сообразуются все-таки куда чаще со здравым смыслом, чем с отвлеченными принципами), сколько теоретический.

”Если они будут строго соблюдать законы”, они не ”перестанут быть коммунистическим государством”. У них узаконено все необходимое, чтобы таковым оставаться.

Игнорируя эту особенность партократического законодательства, В. Буковский предлагает подданным партократии вести себя так, словно реальности тоталитарного мира не существует, и тем образовать иную реальность:

Представьте, что вы попали в компанию бандитов и пытаетесь обращаться к ним, как к благовоспитанным, приличным людям. Идея фактически состояла в том, чтобы не признавать реальности, а — подобно шизофреникам — жить в своем воображаемом мире, в том мире, который мы желали бы видеть. Казалось бы, сумасшедшая затея.

Но в том-то и вся штука с коммунистами, что признать реальность созданной ими жизни, усвоить их представления — значит самим стать бандитами, доносчиками, палачами или молчаливыми соучастниками. Власть — это всего лишь согласие подчиняться, и каждый, кто отказывается подчиняться произволу, уменьшает его на одну двухсотпятидесятимиллионную долю, а каждый компромисс усиливает его.

И разве реальная советская жизнь — не воображаемый шизофренический мир, населенный выдуманными советскими людьми, строящими мифический коммунизм? Разве все и так не живут двойной, а то и тройной жизнью? Гениальность идеи состояла в том, что она уничтожала эту раздвоенность, напрочь разбивала все внутренние самооправдания, которые делают нас соучастниками преступления. Она предполагала кусочек свободы в каждом человеке, осознание своей ”правосубъектности”, как выразался Вольпин. Иными словами, личную ответственность. Это-то и есть внутреннее освобождение.⁷

Действительно, ”осознание своей правосубъектности” бесправным (*конституционно* бесправным) советским человеком это есть и внутреннее освобождение, и *необходимейшее условие* освобождения внешнего. Но элемент ”право” в этой ”правосубъектности” заимствован из обихода *другой правовой системы* — демократической, альтернативной, а не тождественной конституционному советскому толкованию прав гражданина и объединений граждан.

Вот один из покоривших В. Буковского постулатов А. Есенина-Вольпина:

...Гражданину нечего скрывать, не в чем оправдываться — он лишь соблюдает законы. И чем более открыто он это делает — тем лучше.⁸

А граждане и сейчас соблюдают законы открыто. Вот нарушать их приходится более или менее законспирированно. Себя, впрочем, можно уговорить и в обратном, но преобразовать посредством самовнушения окружающую гражданина реальность нельзя. Тем более, что большинство граждан склонно действовать законопослушно.

Предположим, что такую точку зрения усвоит значительное число людей. Где тогда будет ЦК со своими идеологическими установками? Что будет делать КГБ со всей армией стукачей?⁹

Поскольку соблюдать законы в сфере действия конституции СССР означает подчиняться диктату КПСС, то в случае обращения "значительного числа людей" к законопослушности "ЦК со своими идеологическими установками" пребудет на своем месте, а "КГБ со своей армией стукачей" будет охотиться, как и сегодня, за незначительным числом людей, которые соблюдать основные законы партократии так и не захотят. Или их не "усвоят", почему этих оригиналов и будут признавать ненормальными: большинство-то усвоило, а поведение большинства принято считать нормой...

Все зло оттого, что большинство практически (не душой, но делом) признает КПСС "руководящей и направляющей силой", определяющей "линию внутренней и внешней политики СССР", "ядром" всех существующих в СССР государственных и общественных институций. А героические правозащитники, сознают они это или не сознают, явочным порядком внедряют в советские обстоятельства инородную для последних демократическую систему прав. В этом их великая историческая роль. И партократия их из-за этого ненавидит.

В. Буковскому представляется, "что отвечая беззаконием на беззаконие, никогда не обретишь законности.

...Так же, как, отвечая насилием на насилие, можно только увеличить насилие, а отвечая ложью на ложь — никогда не получишь истины."¹⁰

И он входит в тупик. Ни одно из абсолютизированных им обобщений не выдерживает проверки его же собственной жизнью.

Порок этого эффектного рассуждения — дважды повторенное автором "никогда". Социальные абсолютизации не бывают верными: они не исчерпывают частных и групповых (категорийных) сторон явлений и опираются только на их общую сторону.

Допустим, что мы хорошо прочитаем конституцию СССР и увидим, что партократия в СССР узаконена. Следует ли отказаться от борьбы с партократией на том основании, что она себя узаконила? Я твердо уверена, что и Буковский не отказался бы от борьбы, даже решительно разочаровавшись в букве и духе конституции СССР. На дурной закон следует отвечать борьбой за его исправление или отмену. В демократических обстоятельствах такая борьба узаконена. С точки зрения партократии и ее конституций, борьба против партийной воли, воплощенной в дурном законе, противозаконна.

Следует ли отказываться от этого беззакония в борьбе с партократией?

Ощущать свои оппозиционные к партийной воле действия как законные подданный партократии может лишь в том случае, если он отвергает систему отсчета партократии и руководствуется правовыми нормами, партократии чуждыми. Такое правосознание за шестьдесят с лишним лет из сознания подсоветских людей почти вытравлено. Это правосознание надо формировать, формулировать, кропотливо внедрять в человеческое сознание, не удивляясь тому, что толпы людей не поддерживают сегодня невнятных для них акций правозащитников. Немыслимо формировать в сознании подданных партократии демократические правовые критерии и другие системы отсчета, неприемлемые для партократии, исключительно и только открыто: партократия этого не разрешит.

Конспирация, если подходить к вопросу максималистски, как подходит В. Буковский, есть один из синонимов прит-

ворства, лжи. То же — и неоткровенность со следователями или стукачами. Однако истинная, а не партократическая законность в зоне господства КПСС не победит без применения *такого* "беззакония" и *такой* лжи.

Группа юношей, создавшая конспиративную организацию, в которую вошел и подросток Буковский, не знала, зачем она это сделала, и самораспустилась. Из этого вырастает в книге зрелого В. Буковского вывод о тщете всякой организации.

У меня другой личный опыт. Наша открытая группа сложилась в 1944 г. стихийно из нескольких друзей, стремившихся всерьез разобраться в том, что такое советский строй, как он соотносится с классическим марксизмом и заветами Ленина, в которые мы тогда верили.

В то время, полагая, что настоящее социалистическое право — хорошее право и что власть имущие его искажают, мы и свои криминальные доклады читали открыто, и следователям говорили о себе все. Мы пытались доказать им свою правоту. Но с *их точки зрения*, и конституционной, и самосохранительной, были правы они: мы, сами того не осознавая, чувствовали, мыслили и действовали в иной, несоветской, правовой системе. После освобождения я боролась против тоталитарного правосознания окружающих уже иначе, почему и смогла проработать не два-три года, а тридцать лет.

Конспирация противоестественна, если возможно конфликтное самосовершенствование общества и государства в правовых рамках последнего. И конспирация морально оправдана, если правопорядок данного государства, юридический или фактический, или и юридический и фактический, как это имеет место в СССР, исключает легальное рассмотрение и критику фундаментальных основ данного строя.

Нельзя подходить с одним и тем же ключом к разным замкам.

Конспиративность или открытость деятельности лица и группы сами по себе ни в коей мере не говорят о достоинстве или недостоинстве этой деятельности.

Открытая КПСС не лучше подпольной в некоторые времена РСДРП(б), а закрытая (по необходимости) редколлегия, например, "Хроники текущих событий" или "Памяти" неизмеримо благороднее открытой редколлегии "Правды"¹¹.

Все сказанное выше о тотальном отказе правозащитников от "беззакония" и лжи относимо также и к их безоговорочному отказу от силового сопротивления.

Мысль о том, что насилие может "только увеличить насилие", — тоже выход в безвыходность, как любая житейская или политическая абсолютизация. Вряд ли стоит внушать разумным, живым, доброкачественным в массе своей элементам злокачественной (параноидальной, по словам В. Буковского) структуры постулат категорического отказа от силовой самозащиты. На вопрос о применении или неприменении силы в борьбе против насилия однозначно ответить нельзя. Решение диктуется обстоятельствами.

Сегодня, я думаю, среди правозащитников нет человека, который осуждал бы афганцев за сопротивление оккупантам или осудил бы в подобном случае Польшу. Почему же для подданных диктатуры наперед исключается для любых обстоятельств такая возможность?

В. Буковский пишет:

"Близорукая политика бесконечных уступок и компромиссов создала это чудовищное государство, вскормила его и вооружила. Затем, не придумав ничего лучшего, вскормила и вооружила Гитлера и поставила все человечество перед необходимостью воевать за то, какого цвета будут в мире концлагеря — красные или коричневые. Выбирайте теперь — рабство или смерть. Другого выхода ваши теоретики вам не оставили.

Нет, ни атомные бомбы, ни кровавые диктатуры, ни теории "сдерживания" или "конвергенции" не спасут демократии. Нам, родившимся и выросшим в атмосфере террора, известно только одно средство — позиция гражданина"¹²

И ниже:

"Есть качественная разница в поведении одного человека и человеческой толпы в крайней ситуации. Народ, нация, класс, партия или просто толпа — в экстремальной ситуации не могут пойти дальше определенной черты: инстинкт самосохранения оказывается сильнее. Они могут пожертвовать частью, надеясь спасти остальное, могут распасться на группы и так искать спасения. Это-то их и губит...

...Быть одному — огромная ответственность. Прижатый к стенке, человек осознает: "Я — народ, я — нация, я — партия, я — класс, и ничего другого нет". Он не может пожертвовать своей частью, не может разделиться, распасться и все-таки жить. Отступать ему больше некуда, и инстинкт самосохранения толкает его на крайность — он предпочитает физическую смерть духовной."¹³

Как же так: с одной стороны, "близорукая политика

бесконечных уступок и компромиссов” создала партократию; с другой — ни военная самозащита, ни сильная власть,¹⁴ ни политика сдерживания (конвергенция в этом ряду вроде бы ни к чему; ее бы следовало отнести к уступкам и компромиссам) ”не спасут демократии”. Только позиция гражданина. Но что есть позиция гражданина в условиях демократии, осаждаемой партократией? Какую линию поведения она диктует? Может быть, все-таки политику сдерживания и неотступления с рубежей еще не тоталитарного мира? А может быть, кое-где и наступление?

А позиция гражданина в партократическом обществе — какую линию поведения диктует она? Известны ситуации, когда ”народ, нация, класс, партия или просто толпа” идут ”дальше определенной (?) черты”. Инстинкт социального самосохранения, подкрепленный определенным миропониманием или мироощущением, может оказаться сильнее страха и заставить сражаться. Побеждают и смертью смерть поправ. Навсегда ли такая альтернатива — смерть физическая или смерть духовная? А борьба и победа исключаются априори на все времена?

Почему настойчиво, в разных местах повествования, возникает еще одна жесткая альтернатива: ”воевать за то, какого цвета будут в мире концлагеря — красные или коричневые”? Или и того хуже — ”рабство или смерть”? Разве военное сопротивление Гитлеру привело к концлагерям в Англии, Франции, США, Скандинавии и т. д.? Не привело ни в одной из стран, в которой не оказались после войны у власти коммунисты. Нагляднейшие тому примеры — Западная Германия и ГДР, Западная Европа и Европа Восточная.

Весьма знаменателен и такой разговор между В. Буковским и А. Есениным-Вольпиным:

— Ну, а что ты будешь делать, Алик, если завтра они изменят законы так, что не останется возможности их толковать по-твоему? — спросил я Алика.

— Тогда я, видимо, перестану быть гражданином этой страны.

Это было уже совсем непонятно простым смертным. Что ж, через границу бежать? Алик же пускался в длинные рассуждения о праве гражданина на выезд из своей страны и, конечно, на въезд в нее, ссылаясь при этом на какую-то Декларацию прав человека. Все только плечами пожимали: ”Эк загнул!” Интересно, сколько из них, пожимавших тогда плечами, через семь-десять лет оказались в Вене, Риме, Тель-Авиве, Нью-Йорке? И только Вольпин, верный себе до кон-

ца, из окна вагона, уходящего на Вену, произнес речь о борьбе за свободу въезда...”¹⁵

Ну, что ж, я тоже пишу эти строки в Иерусалиме. Но там осталось 260 миллионов граждан, *которые не уедут*. А те, кто волен их выпускать или не выпускать, не стоят на месте: они надвигаются на остальную часть мира. И если отказаться и здесь, в этом мире, даже от “политики сдерживания”, то куда же “пожимающие плечами” будут тогда эвакуироваться? Им останется только выстроиться в ряды, каждому у своей стенки, и предпочесть смерть физическую смерти духовной. Или пойти под иго, впрячься в ярмо уже всей планетой. Или *сопротивляться*. Ведь геноцид в Камбодже, почти истребленный народ Мео и тонущие в океане вьетнамские беженцы — жертвы и результат отступления и компромисса, а отнюдь не политики “сдерживания” или превентивного наступления! Это результаты “бесконечных” уступок и компромиссов”. Как же все-таки быть?

Я говорю, разумеется, о *принципе* сопротивления или сдачи, а не о конкретных политических или военных операциях, о которых здесь рассуждать неуместно.

В практической жизни, вне большой политики В. Буковский от самозащитного насилия не отказался. Он вспоминает, как донесли на него в лагере двое блатных и тем чуть было его не погубили:

”Чего только они не ввали! Будто я приходил в их барак, и они слышали, как я объяснял весь план бунта каким-то людям, теперь уже находившимся в тюрьме, под следствием по этому делу. Получалось у них, что я самый главный идейный вдохновитель и организатор заговора. И как я ни доказывал, что никогда не был в том самом бараке, не знал тех людей, да и этих двоих впервые вижу, — ничего не помогло. Их двое — я один. А двух свидетелей больше чем достаточно, чтобы упечь человека под расстрел. Ну, в крайнем случае, на 15 лет особого режима.

Вышел я от следователя как убитый. Все, крышка. Ясно было, что это работа КГБ. Не могли в Москве расправиться — здесь добить решили. Пятнадцать лет — вся жизнь к черту, ни за что ни про что.

По дороге в барак опять встретил блатных.

— Ну, что следователь?

Я рассказал все как было. Объяснил свою догадку насчет КГБ.

— Постой, а какие эти двое? А, из шестого барака...

— Да ты не горюй, что-нибудь придумаем.

Что они могут придумать? Будто обухом по голове была для меня вся эта история. В каком-то полузабытьи пошел я в барак и лег на нары. Гул голосов, шарканье ног по полу — все словно сквозь туман. Что я им сделал, этим подонкам? Никогда не видал даже. Это было последнее, что мелькнуло в голове, и я провалился куда-то, как в погреб.

Проснулся только утром, с головной болью, будто с похмелья. Машинально оделся, пошел на поверку, в столовую, на работу — ничего кругом не вижу, как в сумерках. Только в голове словно сверчок свиритит.

К вечеру, возвращаясь с работы, опять повстречал вчерашних ребят, что спрашивали меня после следователя.

— А, привет! Чего невеселый? Видал, как твои свидетели с утра на вахту ломанулись — отказываться от показаний? Как лоси!

Оказалось, ночью поймали их блатные где-то на производстве, в ночную смену. Что уж с ними делали, не знаю. Что можно сделать с человеком, чтобы он чуть свет побежал сломя голову отказываться ото всех своих показаний?

Так эта история и кончилась для меня ничем. Пронесло стороной. Через полгода был суд в зоне. Осудили каких-то четверых ребят: одного — к 14 годам, двоих — к 12, четвертого — к 10 особого.

А года через полтора, когда один из моих лжесвидетелей уже освободился, пришло известие, что его убили. Так часто бывало: освободится какой-нибудь шибко "исправившийся", и через некоторое время приезжает вдруг следователь узнавать, с кем он враждовал да кто ему мстить собирался. Что ж тут узнаешь, если он пол-лагеря продал? Обычно на вечерней поверке объявляли: кто знал такого-то, завтра с утра зайти в оперчасть. Чаще всего дорогой из лагеря и убивали — сбрасывали под поезд или резали. А если здорово насолил кому, то и дома находили.

Второй должен был освободиться со мной в один день. Надо же быть такому совпадению. И чем ближе к этой дате, тем тоскливее он на меня поглядывал издали. Не ждал он свободы, не радовался ее приближению. Ладно, не гляди, не трону. Хватит с тебя и этих переживаний".¹⁶

Поди разбери тут, увеличилась ли в мире сумма насилия или уменьшилась из-за того, что одного негодяя избили, второго убили и сделали это, не вдаваясь в их биографии, может быть, искореженные тем же насилием. Зато Владимир Буковский, достойный, сильный и честный человек, был спасен. И его реакция на свое спасение вполне естественна.

Он, впрочем, и не сам себя защитил, — это сделали за него другие. Но и особого возмущения их поступком в его рассказе не ощущается.

Но как только вопрос о силовом сопротивлении насилию переносится в социальную плоскость, возникает замкнутый круг, из которого невозможно вырваться ни с помощью чувства, ни с помощью логики:

”Это ведь всегда так заманчиво, так просто и оправдано: разве не справедливо отплатить злодеям той же монетой? Ответить на красный террор — белым террором, а на белый — красным. Смотрите, они пытаются нас, это звери, а не люди! Почему же нельзя пытаться их? Глядите, они открыто воруют у нас — чего же мы ждем? Безнаказанность только поощряет их, развязывает им руки. И раз государство — все равно насилие, то почему ж не насиловать ради справедливости, ради их же спасения?

Что ж, может быть, для них, уходивших с аккуратными сверточками к Летнему саду, это казалось бесспорным. Я же родился в год, когда все человечество, желая того или нет, истребляло себе подобных ради того, какие будут на земле концлагеря — красные или коричневые. Не было у них иного выбора. Похоже было, что выход так до сих пор и не найден — как раз в это время американцы начали бомбить Северный Вьетнам.

Ясно мне было одно — освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить: когда же все это началось? — Точно муравьи на дне кружки.”¹⁷

Здесь что ни слово — то ошибочное обобщение, или смещенное истолкование, или искусственная альтернатива.

Смещение первое: вечный спор между безоговорочными сторонниками ненасилия и людьми, допускающими силовую самозащиту, идет не об отмщении, не о праве вести себя так же, как ведут себя насильники; спор идет лишь о том, как, что и когда в принципе допустимо и целесообразно противопоставить насилию.

Если порабитители действуют в сфере грубо физической и одновременно запрещают порабощенным даже обсуждать вслух свое положение и если при этом у порабощенных появляется некая гипотетическая возможность вырваться из-под ига силой, то как им быть? Использовать ли такую возможность? То же относится и к обществам, на которые над-

вигается порабощение. В принципе — можно ли им защищаться силой или нельзя?

Смещение второе: "...освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри..."

Тривиальнейшим образом замечу, что к самому В. Буковскому, внутренне давно свободному, но уже готовившему умереть в тюрьме, освобождение пришло *извне* (в самом буквальном смысле этого слова). К Западной Германии в 1945 году оно тоже пришло извне. Русские крестьяне в 1861 году получили свободу извне своего сословия. И если речь идет не о метафизических категориях абсолютной, полной, чисто духовной и т. п. свободы, то примеров установления более мягких, более выносимых, более приемлемых, удовлетворительных обстоятельств личного и общественного существования посредством действий извне в мире бесчисленное множество. Как расценивать акцию Израиля по освобождению заложников в Уганде (операцию Энтеббе)? Надо было предоставить заложникам освободиться из лап Иди Амина посредством собственного и его внутреннего раскрепощения? Или физически вырвать пленников из них?

Мне возразят, что я путаю абсолюты с бытовыми и политическими ситуациями. Но нам ведь и предлагают абсолютные решения для земных историко-политических обстоятельств. И кроме того, абсолюты должны охватывать все, в том числе и быт!..

Смещение третье: "красный террор" и "белый террор", бомбы террористов, "уходивших с аккуратными сверточками к Летнему саду", и бомбы американцев во Вьетаме отождествлены и уравниены друг с другом.

"Белый террор" был ре-акцией на "красный террор" и сослужил плохую службу движению, которое могло стать для России спасительным. Но, к несчастью, не стало. "Красный террор" против российского общества так же, как и "аккуратные сверточки" террористов-народников в России XIX века, был *чудовищно не нужен*. Все свои проблемы, поддающиеся человеческому решению (правовые, экономические, национальные и пр.) Россия 1860-х—1910-х гг. могла решать и постепенно решала — в борьбе, с переменным успехом, с эксцессами и рецидивами, но решала — *эволюционно*. Проблемы носили фундаментальный, имеющий мощные корни характер; и "аккуратные сверточки" не ускоряли их разрешения нисколько. А "красный террор" сделал эти решения и вовсе невыносимыми. Мне скажут, что теперь,

мол, легко судить. В ответ я предложу обратиться к журналам, письмам и мемуарам того времени, и мы увидим, что и тогда существовали разные точки зрения на вопрос, открыто о себе заявлявшие. Было предсказано все, что произошло позднее. Вопрос о насилии и ненасилии нельзя разрешить однозначно, на все времена и ситуации.

Бомбами во Вьетнаме американцы пытались остановить на одном из (еще!) далеких от Америки рубежей нашествие тоталитаризма на окружающий мир. Тогдашнее правительство США капитулировало перед жизнелюбием и близорукостью управляющих этим правительством американских граждан и оставило Вьетнам. Фронт насилия многократно расширился и приблизился к США. Теперь, когда пишутся эти строки, он уже в Сальвадоре — на американском континенте. Кроме того, из-за этой капитуляции (отказа от насилия!) многократно — до геноцида — возрос уровень насилия в Юго-Восточной Азии.

НУЖНЫ ЛИ ПРОГРАММЫ

В. Буковский рассказывает:

”Мы не играли в политику, не сочиняли программ ”освобождения народа”, не создавали союзов ”меча и орала”. Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а *гласность*, чтобы никто не мог сказать потом — ”я не знал”. Остальное — дело совести каждого. И победы мы не ждали — не могло быть ни малейшей надежды на победу. Но каждый хотел иметь право сказать своим потомкам: ”Я сделал все, что мог. Я был гражданином, добивался законности и никогда не шел против своей совести”. Шла не политическая борьба, а борьба *живого* против *мертвого, естественного с искусственным*”.¹⁸

А еще через сорок страниц следуют выводы еще более категорические:

”В том-то и вся штука, что, пока люди не научатся требовать то, что им принадлежит по праву, никакая революция их не освободит. А когда научатся — революции уже не потребуется. Нет, не верю я в революции, не верю в насильственное спасение.

Легко представить себе, что произошло бы в этой стране в случае революции: всеобщее воровство, разруха, резня

и в каждом районе — своя банда, свой "пахан". А пассивное, терроризируемое большинство охотно подчинилось бы любой твердой власти, т. е. новой диктатуре".¹⁹

В первом из этих отрывков представлена четкая политическая программа: только информировать в меру своих личных сил общественность о том, что делает власть, без привнесения каких бы то ни было своих оценок. Исполнять этот свой долг без тени надежды на победу. Победа, по-видимому, должна состоять в том, чтобы граждане явочным порядком заставили партократию следовать тому, что оппозиционеры считают советской законностью.

Отбросим на мгновение спор о характере законности, воплощенной в конституциях СССР. Для того, чтобы люди — какое-то политически существенное число людей — научились "требовать то, что им принадлежит по праву", надлежит произвести *революцию в их умах*, вытеснив из последних прочно и массово ими усвоенное партократическое правосознание — правосознанием демократическим. А это огромная, кропотливая пропагандистско-воспитательная работа, которую партократия без изощренной конспирации вести не даст. Я не знаю, неизбежен ли зверский лик *любой* революции. В Чехословакии времен Пражской весны и в нынешней Польше звериные черты в ее обликах не проступили. В СССР вопрос о характере революции пока что не актуален, ибо Кремлю всенародное восстание ни сегодня, ни завтра не угрожает. Но я хорошо себе представляю реакцию, которой ответит ЦК-ГБ на попытку значительного числа людей потребовать "то, что им принадлежит по праву", признанному в цивилизованных обществах.

В приведенном выше отрывке идет речь о гласности — пусть не о пропаганде, но хотя бы о гласности. Зато в другом месте книги сказано:

"Ну а наручники — их криком не снимешь, как нельзя достигнуть свободы насилием. Сколько ни дергайся в наручниках, они только еще больше затянутся.

Да разве они, эти трусливые чиновники, надевают нам наручники? Мы просто не научились еще без них жить. Не понимаем, что никаких наручников давно уже не существует".

Странно, однако, едва пересекши границу "большой зоны", мы в большинстве своем как-то автоматически научаемся жить без наручников. Здесь, где наручники появляются только на тех, кто действительно угрожает безопасности общества (и то не на всех и не всегда), они нам на наших

руках не грезятся. Разве что при воспоминании о вчерашнем дне. Или при мысли о неисключенном завтрашнем дне народов, ныне наручниками не обремененных, но реализующих доступную им свободу выбора так, что в большинстве своем они вот-вот могут выбрать рабство. Как Германия 1933 года...

Действительно, человеку в наручниках — чего же дергаться? Чтобы потуже затянулись наручники? Чтобы дали еще и по шее? И крика его никто, кроме насильников, не услышит. Всунут вдобавок кляп в рот — и вопрос решен. И незачем ему размышлять о сопротивлении силой, ибо он автоматически избавляется от этой проблемы: руки скованы, рот заткнут. Ему необходима иная тактика. Надо прежде всего добиться, чтобы сняли наручники, вынули кляп изо рта (не символические кляп и наручники, а реальные) и выпустили если не в лагерь, то хотя бы в камеру.

Когда же принимаешь это рассуждение В. Буковского за метафорическое обобщение, то странная получается метафора:

“Их криком не снимешь” — это может означать лишь одно: молчи, откажись от упований на гласность, от надежды оказаться услышанным вне камеры. Но ведь это полностью противоречит тому, что сделали, и с великим успехом, В. Буковский, Э. Кузнецов и другие, сумевшие с помощью изошренной конспирации так крикнуть из своих зон, что весь мир услышал! И ведь кое с кого после этого наручники были сняты...

“Никаких наручников давно уже не существует”, — это казалось бы одной из ныне распространенных вариаций на тему об исключительно внутреннем и потустороннем раскрепощении, если бы не переполняющие книгу рассуждения о все той же конституционной советской законности, якобы утверждающей демократические права народа и гражданина.

Посмотрите же, что получается при обобщении не фактических перипетий героического и весьма активного противостояния В. Буковского произволу ЦК-ГБ, а его деклараций, рассыпанных в книге: ни организации, ни конспирации, ни программы, ни пропаганды (в приведенном выше отрывке отменен даже крик), ни политики сдерживания, ни сопротивления (там, где оно еще мыслимо)! Что же остается? Только бесстрастная гласность (фактографическая информация о деяниях власти, обращенная к ее рабам и к свободному миру)? И внутренняя свобода, позволяющая

стоять на смерть перед лицом безжалостного насилия. И еще надежда на чудо всеобщего обращения к истине ("...пока люди не научатся требовать... если *никто* не сможет сказать: "Я не знал...").

Так набожные евреи убеждены и свидетельствуют, что в час, когда все без исключения евреи Земли соблюдут субботу, придет Мессия...

Тот же принцип ("если бы все...") лежит и в основе утопии "научного коммунизма":

"С того момента, когда все члены общества или хотя бы громадное большинство их *сами* научились управлять государством, сами взяли это дело в свои руки, "наладили" *контроль* за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, — с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще".²⁰

Но никогда все мы без исключения "или хотя бы громадное большинство" из нас не станем поступать одинаково. И потому не снимается с повестки дня объединение родственно мыслящих людей и групп, пропаганда, а где они есть, — защита таких обстоятельств, при которых нормальные граждане (не бандиты и не тираны) могут хотя бы "говорить и спорить", работать и торговать, оседать на земле и кочевать по ней, отстаивать свои идеалы по своему разумению без смертельного риска, ибо в своем большинстве люди не склонны идти на явно смертельный риск без крайней нужды в том. Одна только бесстрастная информация о событиях не обеспечит такого шага. Должно быть воспитано отчетливое понимание того, к чему ведет геополитика партократии, к чему идет порабощенное ею общество. А это уже не что иное, как пропаганда, ибо любое воспитание есть пропаганда какого-то мироощущения и миропонимания.

ЕЩЕ РАЗ О КОНСПИРАЦИИ

В. Буковский рассказывает о своих взаимоотношениях с надзирающей за диссидентами в "большой зоне" советской охранкой почти идиллически:

"По сути дела, мы все так к ним привыкли, что не обращали внимания на их присутствие. Делали свои дела, встреча-

лись с иностранными корреспондентами, собирали информацию для "Хроники", отправляли за границу самиздат почти у них на глазах. А что там было скрывать? О новых арестах, обысках и судах я сообщал корреспондентам по телефону, прямо из дому. Да и мне звонили, как в справочное бюро".²¹

Ничего я, честно признаться, в этом и следующих отрывках не понимаю. *За что же вас арестовывали и судили, за чем следили, ежели и впрямь нечего было скрывать???* Для чего кагебисты дежурили у дома Буковского? Ведь сегодня тотального, цепного, уже почти неуправляемого "большого террора" в СССР нет: берут только людей, в чем-то как-то действительно опасных власти!..

А следили плотно: "...зимой, в сильные морозы, когда я выбегал за хлебом в булочную на углу, кто-нибудь из чекистов занимал мне очередь в кассу, другой вставал к прилавку, чтобы быстрее с этим разделаться и опять вернуться в теплую машину. Иногда... мы стреляли друг у друга закурить"²².

И ходили следом, и знали все связанные с поднадзорными адреса:

"— Ну, ты скоро домой-то?

— Сейчас, погодите. Еще в два-три места заскочить надо.

Часам к двум ночи управлюсь."²³

Если нечего было скрывать, если на бытии поднадзорных не отражался надзор, зачем была затеяна вся эта комедия масок?

Но... не спешите: "Конечно, отправка за границу — дело более секретное"²⁴, не терпит посторонних глаз. Для этого были свои каналы, которые, сколько ни наблюдай, не уловишь. Момент максимального риска сравнительно короткий, а пока КГБ сообразит, в чем дело, пока отдает приказ, пока этот приказ выполняет — уже и следа не осталось".

Значит, все-таки соблюдалась конспирация? И была нужна? Тонкая, ловкая, неуловимая?

Нет, не нужна: "Да и не ожидал КГБ такой наглости, чтобы у них под самым носом передавались за границу самиздатские бумаги. Они по старинке искали каких-то явочных квартир, паролей, тайников — мы же делали все открыто".

Опять — "открыто"? А как же "дело более секретное", которое "не терпит посторонних глаз", "свои каналы, которые, сколько ни наблюдай, не уловишь", сокращение "момента максимального риска" настолько, чтобы через миг от него "уже и следа не осталось"?²⁵

То, о чем говорит здесь В. Буковский, — отнюдь не "открытость", а имитация открытости — маскировка наиболее важных и скрытных действий посредством открытости действий, с точки зрения следящих, некриминальных или второстепенных.

Но что, если зеленая молодежь и люди, только-только входящие в сопротивление, поверят этому кокетству мнимой открытостью и эффектным декларациям о нравственной несовместимости по-настоящему свободных духом людей с конспиративными уловками?

Солдаты идут в атаку в хаки, перебежками или по-пластунски, а не шагают навстречу вражескому огню строем, в парадной пестрой форме и во весь рост. Психическая атака — исключение, а не правило. Время массового штурма все-таки еще не пришло. Да и открытым действиям местного значения типа забастовок, коллективных протестов и демонстраций должна предшествовать основательная конспиративная подготовка. Иначе так и будут участвовать в этих акциях несколько человек, заведомо отдающих себя на расправу насильникам. Необходимо беречь и себя, и друг друга, и дело, если имеется дело. А у Буковского — имелось дело, и он его мастерски делал — пользуясь конспирацией, достаточно далекой от примитива.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

За время, когда писалась эта статья, мне довелось лишь один раз убедиться в том, как сложно писать о взглядах активно воспринимающего мир и события своего современника. В. Буковский решительно выступил против односторонних европейских пацифистских движений, объективно полезных только Кремлю. Он отчетливо высказался в поддержку афганского сопротивления советской агрессии, предприняв ряд действий в его поддержку. Эти его выступления — еще одно убедительное свидетельство того, что абсолютизация отказа от силового сопротивления в нынешних конкретных исторических обстоятельствах неприемлема для того, кто не хочет распространения коммунизма на всю планету. Неприятие одностороннего пацифизма и одностороннего разоружения не может не означать готовности защищаться от агрессии, если придется, и силой. По-видимому, В. Буковский

признает в определенных случаях допустимой такую форму "политики сдерживания".

Думая уже много лет над тем, как бороться за сносную правовую ситуацию в неправовых условиях, точнее — в условиях конституционно легализованного бесправия, приходишь к определению тактики сопротивления как тактики полифонической. Защита права, представленного пренебрегаемыми властью ее собственными законами, и права демократического, вводимого, как это делают правозащитники, явочным порядком; формы организации, наиболее рациональные для тоталитарных условий (какие — это надлежит решать на местах); конспирация, позволяющая тщательно, упорно, долго и широко, с минимальными потерями готовить массовые выступления и воспитывать цивилизованное правосознание; пропаганда, а не только бесстрастная информация. Но *пропаганда чего?* Только ли требования политических прав и гражданских свобод? И что должно входить в кворум гражданских свобод, защищаемых этой конспиративной, но массовой пропагандой? Интеллигенция всегда преувеличивает значение гражданских свобод для народных масс. В феврале 1917 года Временное правительство даровало ему все вымечтанные интеллигенцией за двести лет свободы, но ничего не сказало четкого и вразумительного о насущных нуждах народа: хлебе, земле и мире. На этом упущении Временного правительства да еще на его безволии въехали в мировую историю большевики.

Весной 1981 года польские диссиденты-интеллектуалы рассказывали в своих интервью "Посеву", что они с 1968 года упорно работали над перенесением центра сопротивления диктатуре ПОРП и КПСС в заводские и портовые районы. На одних только лозунгах защиты гражданских свобод такое расширение фронта борьбы построить нельзя было бы.

Польский поворот событий оказался возможным не только потому, что вся толща народа возжаждала неподдельных гражданских свобод, а и потому, что экономическая сторона жизни стала непереносимой. Да еще советская оккупация сплачивает большинство населения воедино против оккупантов.

В СССР, несомненно, есть лица и группы, обладающие цивилизованным сознанием своей правосубъективности, трактуемой ими демократически, а не партюкратически. Еще больше людей готовы к тому, чтобы понять и принять расширенное демократически толкование своих гражданских, национальных и личных прав. Но для того, чтобы эта готов-

ность из мировоззренческой потенции превратилась в поведенческий принцип, нужна широкая, во всех слоях общества, кропотливая, длительная воспитательно-пропагандистская работа, связанная не только с борьбой за гражданские права, но и со злободневной экономической проблематикой.

И здесь возникает перед всеми наличными в СССР и в эмиграции оппозиционными и антикоммунистическими течениями один вопрос, важный, по-видимому, для всех: вопрос об альтернативах нынешним партократическим обстоятельствам, в том числе об альтернативах экономических.

Альтернативы современным советским общеизвестным обстоятельствам разрабатывались и разрабатываются А. Сахаровым, А. Солженицыным, А. Федосеевым, Д. Паниным, НТС и другими авторами и организациями. Но как правило эти разработки не содержат прямых ответов на вопрос о том, что конкретно надо сегодня предлагать сельским жителям, рабочим и служащим СССР в качестве *первых конкретных требований*, долженствующих быть предъявляемыми правительству. Несколько более определенными являются требования национальных и религиозных оппозиционных движений, и они имеют больше сподвижников, чем течения политико-правозащитные. А вот оппозиционных движений и требований экономических, связанных не только с потребительскими претензиями, но и с экономическим реформированием советского строя в СССР, вообще не слышно. Экономическая проблематика представлена в неподцензурной художественной русской литературе — в первую очередь, романами В. Гроссмана "Все течет" и Ю. Алешковского "Рука". Интересен в этом смысле роман Н. Гутиной "Двойное дно", вышедший в Израиле и не отмеченный эмигрантской критикой.

Романы В. Гроссмана и Ю. Алешковского органически связывают все происходящее в СССР с уничтожением партократией всех суверенных экономических сил — прежде всего крестьянства. Свобода труда оказывается в этих двух трагических книгах не менее существенным принципом общественной жизни, чем свобода слова. Более слабая в художественном отношении книга Н. Гутиной необычайно (для всех трех потоков современной русской литературы: Госиздата, Самиздата и Тамиздата) информативна в изображении того, как уродливо и мучительно функционирует в СССР неуничтожимая свободная экономическая инициатива. Те же процессы исследованы в публицистике Л. Тимофеевым в большой работе "Технология черного рынка" (журналы

”Русское возрождение” №№ 11—12—13—14, 1980—1981; Нью-Йорк, Москва, Париж; ”Грани” № 120).

Публицистика, в том числе и подцензурная советская, вообще дает богатейший материал по ”второй экономике”. Может быть, в этих статьях и книгах вызывает прагматическая программа, с которой можно (исподволь и, конечно же, на первых порах конспиративно) обратиться к совхозно-колхозным и заводским рабочим СССР? Может быть, не только от правительства следует требовать раскрепощения кооперативной и частной инициативы, но и в народе поддерживать эту мысль, ведя ее от приусадебного участка, от кражи в колхозе или на заводе, от ”шабашки” и ”левых” работ — к свободной артели, к независимому кооперативу, к вольному хутору, к своему предприятию?

Правозащитное движение во множестве своих документов решительно отказывается от посягательства на советский режим и экономический строй, от разработки программы сопротивления, от политической пропаганды и от конспиративности. Это — черты движения, с которыми оно и войдет в историю сопротивления подневольного общества СССР партократической власти. Но современные обстоятельства настойчиво требуют разработки программы сопротивления, включения в эту программу животрепещущей экономической проблематики, близкой людям практического миропонимания.

Если мировым событиям суждено развиваться без атомной войны, априори перечеркивающей все человеческие надежды; если при этом не опустили бы рук все те, кто уже ощутил безвыходность партократических тупиков; если бы объединились умственные и практические усилия этих людей и групп, то не исключенным оказался бы разворот событий, предсказанный несколькими авторами, например, А. П. Федосеевым: народы СССР могут оказаться выходящими из тупика, в который свободный и ”третий” миры только еще усиленно и воодушевленно рвутся. Вероятность осуществления всех этих ”если бы” чрезвычайно мала. Какой из этого делать вывод: опустить руки или удешевить усилия — дело не столько мировоззрения, сколько мироощущения каждого из нас.

Ж-л ”Голос Зарубежья” № 24, 1982, Мюнхен

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Станислав Лем. Избранное. Изд. "Литература артистикэ", Кишинев, 1978. До этого публиковался в ж-ле "Звезда", Москва, в 1960-х гг.
2. Изд. "Хроника". Нью-Йорк, 1978.
3. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 212–213.
4. А в уставе КПСС и в резолюциях партийных съездов хорошо обеспечена абсолютно централистская структура партии и невозможность легального посягательства на эту структуру изнутри партии.
5. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 172.
6. Там же, стр. 213–214; Алик — А. Есенин-Вольпин (прим. Д. Ш.).
7. Там же, стр. 214.
8. Там же, стр. 215. Я позволяю себе некоторую перестановку суждений, не изменяя их общего и частного смысла.
9. Там же, стр. 215.
10. Я не берусь обсуждать конкретные методы конспирации и организации для оппозиционных движений в СССР. Думаю, что уже стал наиболее распространенным путь, который Д. Панин назвал "опорой на микробратства, образованные в ходе жизни под террором естественным путем из людей, которые полностью доверяют друг другу. Постепенное объединение микробратств через мостики, которые они перебрасывают между собой". ("Континент" №25, стр. 338).
12. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 233.
13. Там же, стр. 224.
14. Говоря о "кровавых диктатурах", следовало бы уточнить, что автор имеет в виду. Ведь ныне принято стричь под одну гребенку и Фиделя Кастро, и генерала Пиночета; а диктатуры-то разные, с разными тенденциями, задачами, эволюцией, внутренней и внешней политикой, правовым положением граждан и экономической структурой.
15. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 215.
16. Там же, стр. 294–295.
17. Там же, стр. 248–249.
18. Там же, стр. 248–249.
19. Там же, стр. 289.
20. В. Ленин. "Государство и революция". Подч. Д. Ш.
21. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 327.
22. Там же, стр. 327.
23. Там же, стр. 327.
24. Чем что? Чем чтение Бердяева? Разумеется. Д. Ш.
25. В. Буковский. "И возвращается ветер", стр. 327.

СТАЛИН И УТОПИЯ КОММУНИЗМА

”Эта книга не историческое исследование”, — говорит В. Чалидзе о своей работе ”Победитель коммунизма”, и он прав. Исторические исследования принято строить индуктивно — от фактов к выводам. Чистые историки стремятся воздерживаться от внефактографических выводов или делают их с величайшей осторожностью.

Работа В. Чалидзе построена по законам дедукции: у автора есть концепция; исторические факты, цитаты нужного содержания, элементы того или иного учения привлекаются и рассматриваются не во всей доступной современному свободному исследователю их полноте, а в меру того, насколько они подтверждают авторскую концепцию. Приведу примеры. Автору надо иллюстрировать свою мысль о том, что досталинский ортодоксальный, настоящий марксизм-ленинизм постулировал переход от частной крестьянской собственности к колхозам лишь мирным, постепенным, ”хозяйственным путем”. Для этого приводится почерпнутое в чужой работе, не в оригинале, одно из ленинских высказываний по этому поводу, вошедшее в материалы VIII съезда РКП(б). Но Ленин говорил об обобществлении земледелия почти с начала и до конца своей деятельности! В. Чалидзе взял одно из его высказываний, на которое опирался в свое время Н. Бухарин и попытался опереться Рой Медведев. Сталин в 1927—32 гг. оперировал десятками других, воинственно антикрестьянских, агрессивно коллективизаторских высказываний Ленина. Если потрудиться внимательно прочитать ВСЕ затрагивающие эту проблему работы и речи Ленина (а иначе как можно судить о его взглядах в их непрерывной динамике?), отчетливо видишь: за исключением короткого периода НЭПа, Ленин четко и энергично тяготел к уничтожению независимого крестьянского хозяйствования. И даже в 1922 году успел несколько раз напомнить в работах и письмах, рассчитанных на коммунистов, что в будущем не исключен террор в аграрной политике партии.

Из-за неполного прочтения соответствующих первоисточников повисает в воздухе и стержневая идея работы В. Чалидзе, которая выглядит очень эффектно в художественном

произведении (такие есть), но недостаточно аргументирована для работы научной.

Главная мысль книги В. Чалидзе состоит в том, что Сталин — не коммунист, а ненавистник и победитель российского коммунизма, истребитель большевиков и воссоздатель российского имперского абсолютизма. Сталин, по убеждению В. Чалидзе, не коммунист прежде всего потому, что коммунизм постулирует полное и абсолютное равенство всех членов общества, а Сталин сознательно и целенаправленно создал общество жесточайше централизованное, отчетливо иерархическое, пронизанное неравенством, более абсолютистское, чем любая монархия прошлого, в том числе и российская монархия XX века. Однако это противопоставление основано на неполном, по-видимому, знакомстве с марксистской литературой, в том числе — с работами Маркса, Энгельса и Ленина.

Марксизм-ленинизм никогда не постулировал создания сразу же после своей революции абсолютно эгалитарного общества. Общество абсолютного равенства должно было, по Марксу, Энгельсу и Ленину, возникнуть где-то в конце предполагаемого ими пути, в неопределенном далеком финале мировой пролетарской революции, т. е. всех связанных с ней и ее последствиями войн и преобразований. В процессе же революции и послереволюционной перестройки мира постулировалось не равенство, а диктатура, при этом диктатура иерархическая. Уже у Маркса и Энгельса появляется понятие "передового отряда", "авангарда пролетариата" в лице партии коммунистов. У них же возникает понятие диктатуры господствующего над всем остальным обществом пролетариата, которому предстоит совершить отечественную и мировую социалистическую революцию на протяжении целой эпохи кровавых сражений, а значит — командования и неравенства. Победив, тот же пролетариат должен уничтожить классы и перевоспитать человечество. Если есть перевоспитатели и перевоспитуемые, уничтожатели и уничтожаемые и единый для всего человечества план преобразований и переделок, — то какое же тут всеобщее равенство раньше, чем в туманном и проблематическом будущем? Как это ни парадоксально, Энгельс и Ленин писали и о проблематичности этого эгалитарного будущего (Ленин хотя бы — в "Государстве и революции"). Они за него никогда не ручались — они только звали "ввязаться в серьезную драку, а там — посмотрим" (Ленин).

У Ленина (задолго до выдвигания Сталина на более или менее видные роли) появляются тезисы о невозможности для пролетариата управлять иначе, как через партию, и о необхо-

димом превращении партийного руководства в узко-олигархическую диктатуру. Затем у Ленина же возникает тезис о неисклученности классовой диктатуры, воплощенной в единоличном диктаторе. Этот же тезис отстаивает и либеральный Бухарин.

Таким образом Сталину вовсе незачем было восставать на коммунистическое всеобщее равенство: Ленин успел подавить последние всплески этой утопии, разделавшись с наивно-ортодоксальной платформой "рабочей оппозиции", с энергичными "демократическими централистами" и с пережитками синдикализма в партийном и пролетарском сознании 1921—22 гг.

И экономического равенства марксизм-ленинизм в первой стадии коммунизма своим последователям не обещал. Все классические работы, включая "Государство и революцию", пророчили долгий период господства "идеального буржуазного права" (Маркс), то есть распределения по труду ("кто не работает, тот не ест"). И лишь там, в расплывчато набросанном "коммунистическом далеке", после хронологически не уточненного "скачка из царства необходимости в царство свободы" (Маркс), "когда общественные богатства польются рекой и перестанут требовать нормирования со стороны общества" (Маркс, Ленин), — только там и тогда должно было наступить равенство в потреблении. До этого Ленин предсказывал жесточайшую фабричную дисциплину и строжайший учет потребления для всего общества. А Троцкий требовал всеобъемлюще принудительного труда, красноречиво отстаивая его продуктивность и неизбежность. Так что Камбоджа Пол Пота вполне вписывается не в царство погубительного всеобщего равенства, которое в ней видит В. Чалидзе и от которого, по его убеждению, спас СССР Сталин, а в царство всеобщей принудительности, постулированное Лениным в работах 1918—1920 гг. и воспетое Троцким на XI съезде РКП(б).

В. Чалидзе рассматривает Сталина и сталинщину как некое исключительно русское (даже не российское) явление. Между тем при рассмотрении всех партократических экспериментов XX века в их совокупности становится ясно, что все партократии выдвигают сразу же вслед за своими переворотами (иногда — уже в ходе таковых) своих сталиных и гитлеров, покрупнее или помельче, и проводят свои "большие терроры". Затем, если партократии уцелевают и стабилизируются, в них наступают относительно спокойные эпохи выборочный репрессий. Неизбежность для коммунистической парто-

кратии — выделить из своей среды террористического тирана или узкую тираническую олигархию — predetermined уже одним только утопизмом ее исходной программы. Самая утопическая программа может в кризисной ситуации соблазнить значительную часть общества, терпящего бедствие, зашедшего в действительный или мнимый тупик. Лабиринты часто представляются современникам тупиками, и лишь из какой-то исторической дали, "сверху", видно, где находился выход. В России 1917 года критическое состояние вызвано было утратившей популярность войной, неудачным царствованием, затем бесхарактерностью Временного правительства, развалом экономики в ходе войны и февральской революции, тактикой крайних партий и др. Но силы, пришедшие в результате этого кризиса к власти, выполнить своих заманчивых для массы людей обещаний не могли. Утописты по определению не могут выполнить своих обещаний. Какое-то время они правят за счет растерянности своих оппонентов и силой могучих иллюзий, внушенных ими народным массам, подавляя и уничтожая только очнувшихся. Но опоминающихся становится все больше, и правящая партия либо падает, либо организуется самым удобным для себя образом и проводит тотальную террористическую акцию. В ходе террора истребляется все своеобычное, независимо мыслящее и внутри самой партии. Право выбора естественно концентрируется на самой верхушке правящей олигархии. В острейший период оно становится единоличным. Затем наблюдается вторичное "сползание" к достаточно узкой олигархии. Посредством террора, сначала тотального, потом выборочного, прессуется в монолит все общество. В нем выкорчевываются инициативные классы, слои, группы и лица.

В СССР этот процесс был начат Лениным, а не Сталиным. В партии подавлены были "левые коммунисты", "демократические централисты", "рабочая оппозиция", синдикалисты, мясниковцы, группы "Рабочая партия" и "Рабочая правда" 1921 года. Уничтожены были коммунисты Кронштадта, примкнувшие к восставшим матросам, разгромлены рабочие забастовки и демонстрации, в которых участвовали и партийцы. Вне партии были подавлены, экспропрированы, изгнаны и уничтожены имущие классы, досоветская бюрократия, офицерство, значительная часть интеллигенции, все политические силы некоммунистических направлений. Ленин попытался ввести коммунистическую регламентацию в распределение и в крестьянское существование, но чуть окончательно не на-

дорвал партию к весне 1921 года. Только крутой вираж НЭПа спас большевиков от падения.

В. Чалидзе считает истребительную войну с крестьянством исключительно делом рук Сталина, его своенравной, злой прихотью, ничем не связанной с марксизмом и ленинизмом. Но если перечитать Ленина 1917—1922 гг. полностью, то станет ясно, это НЭП для него был досаднейшей и преходящей, как он всей душой надеялся, необходимостью. А если не поскупишься затратой времени и перечитать еще и стенограммы съездов и пленумов РКП(б) 1924—1930 гг., а также сочинения Сталина и его оппонентов тех лет, перелистать партийные журналы и поворошить газеты, возникнет еще одна непреложность: крестьянство к 1927—1928 гг. превратилось в такую силу, что опять встал вопрос "кто кого". Крестьянин отчетливо претендовал уже на политико-экономическую независимость. Если пользоваться терминологией В. Чалидзе, а в этой части его терминология представляется продуктивной, то советская структура под давлением независимого крестьянства и нэпманов конца 1920-х гг. упорно стремилась к полииерархическим формам (я бы сказала — к конкурентной демократии в экономике и даже в политике). В местные советы начали выбирать "лишенцев", крестьянские волнения сопровождались требованием отмены монополии внешней торговли. Перелистайте стенограмму XVI съезда ВКП(б) (1930 г.), и перед вами отчетливо проступят эти процессы. В 1921 году у Ленина другого хлеба, кроме крестьянского, не было. Рано еще было избавляться от независимого крестьянства; и рук, организованных для такой войны, почти не оставалось: бунтовали всплошную и матросы, и рабочие, и мужики. В 1924-м году, когда начал звать в атаку на крестьян и к "большому скачку" в индустриализации Троцкий, весь хлеб еще давал "старательный крестьянин", по тогдашней смягченной терминологии — "интенсивник", а не "кулак". С 1927 года Сталин начал убедительно доказывать, что с наличными колхозами и совхозами войну против мужика поднять *уже можно*. Есть в его полемике с "правыми" тех лет и прямые подсчеты. Хлеба на прокормление партократии и реквизиционеров, на государственные потребности — хватит. Остальных следует кого — побороть, кого — выморить, что и было сделано.

В. Чалидзе настаивает многократно, что Сталин построил не социализм, и не коммунизм, а некую классическую империю, отличающуюся от дофевральской российской империи количественно, а не качественно. Он многократно напоми-

нает, что если бы не Сталин, уничтоживший большевиков, они бы построили не империю, а коммунизм — режим куда более страшный, чем сталинский, — режим, проникнутый зловещим стремлением создать противоестественное равенство от природы неустранимо неравных людей. И тут же называет коммунизм утопией. Но ведь утопию построить *нельзя*, невозможно *по определению*. Комунизма, такого, каким он описан у Маркса и Энгельса, в качестве финала их мировой революции, построить *нельзя*. В этом смысле — как полное воплощение в жизнь марксистской утопии — коммунизм никому не угрожал и не угрожает. Человечеству угрожает строй, который единственно только и можно построить, насилуя коммунистическую утопию попытками ее воплощения в жизнь. Каждый раз из этих попыток вырастают родственные структуры, в которых представлены осуществимые элементы утопии и в которых отсутствуют ее неосуществимые элементы. А силы, возникшие в бесплодных попытках воплотить в жизнь утопию, придя к власти, не желают этой власти лишаться. И постепенно их диктатура из средства построения нового мира превращается в сталинскую самоцель.

Диктатура пролетариата утопична, поэтому она никогда и нигде не осуществляется. Но не утопична иерархическая диктатура партии — она и осуществляется в первую очередь. Предельно централистская, мафиозная структура коммунистических партий просматривается еще в уставах Союза коммунистов, писанных Марксом и Энгельсом. Там предусмотрена даже пожизненная слежка за бывшими сочленами, покинувшими Союз коммунистов, ибо таковые признаются потенциально опасными для покинутого сообщества. Неутопическим было и уничтожение частной и независимой групповой собственности. Но совершенно утопическим было превращение основных средств производства в собственность прямо и непосредственно "всего общества", планомерное и целенаправленное управление общественным достоянием со стороны самих поголовно всех "ассоциированных производителей" (Энгельс). Согласно исходной утопии, пролетариям предстояло нанимать для себя и повседневно собственнично контролировать администраторов и ученых ("техников, надсмотрщиков и бухгалтеров", Маркс).

Само собой разумеется, что пролетарии не смогли справиться с этими задачами. Право собственности есть право распоряжения этой собственностью и право ее распределения. Место утопической прямой и равномерно распре-

ленной собственности (самоуправления) "всего общества" естественно заняла реальная иерархически распределенная собственность (диктатура) партократического государства. А полное устранение из экономики демократической (рыночной конкуренции — у В. Чалидзе динамической полииерархичности — сделало новое государство принципиально не тождественным империи, на обломках которой оно возникло. Свергнутая имперская власть отнюдь не брала на себя монопольного распоряжения всей национальной экономикой. Формы хозяйствования и собственности в границах империи были многообразны и динамичны.

Чалидзе отмахивается и от факта экономической несостоятельности советского строя как от не нуждающегося в опровержении абсурда. Он льстит партократической сверхмонополии, полагая, что она могла бы хозяйничать хорошо, в пользу своих подданных, но с тяжелой руки Сталина хозяйничает отвратительно, назло своим подданным и в пику исходной идеологии. Еще В. Чалидзе упоминает о том, что страна, запуская ракеты в космос, не может быть бедной. Но и у Китая есть водородные бомбы, ракеты и спутники. Не в том ли вопрос, в какую цену обходятся космические успехи народам СССР и, к примеру, народу США? Не сам ли В. Чалидзе напоминает, как в смертельно голодные для ограбленного и полузадушенного крестьянства 1932—33 годы Сталин экспортировал хлеб? СССР посылает ракеты в космос и дарит оружие самым реакционным и разрушительным силам планеты, беззастенчиво грабя свое население, а не от избытка своих экономических возможностей. "Советский космический блеф" (Л. Владимиров) и планетарный террор уже привели народы СССР к преддверию демографической катастрофы, чему есть немало печатных свидетельств. Экономическая несостоятельность национализаторского социализма (полного — в СССР и прорастающего — на Западе и в "третьем мире") очевидна практически, описана статистически и исследована теоретически во множестве госиздатских, самиздатских, эмигрантских и зарубежных работ, художественных, публицистических и научных. Упомяну хотя бы книги и статьи А. П. Федосеева — от "Западни" и "Новой России" до его последнего обстоятельного очерка о Турции в № 23 журнала "Голос Зарубежья". Последний (во времени) предельно сжатый, но точный очерк перерастания современного западного профсоюзно-государственного монополизма в тупиковую сверхмонополию со всеми вытекающими из этого последствиями пунктирно набросал Вла-

димир Буковский в одном из "Писем русского путешественника" ("Русская мысль" № 3385 от 5.11.1981, стр. 11). Мною тоже рассмотрены практический и теоретический опыт советской экономики и некоторые исследования этого опыта в книге "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат" и в ряде журнальных статей. Короче всего будет сказать, что огромная динамическая система хозяйственной жизни современного общества: а) не поддается хорошему планированию из одного или очень немногих монополистических центров; б) при подчинении одному или очень немногим командным центрам оказывается во власти их поневоле близоруких, произвольных и своекорыстных критериев; в) утрачивает все те продуктивные обратные связи, которые в конкурентно-демократическом (у В. Чалидзе — полииерархическом) многокритериальном обществе делают поставщиков — в широчайшем значении этого слова, — работодателей, законодателей и исполнительную власть зависящими от потребителей, наемных работников и избирателей, а не наоборот. Правда, в этой точке мир упирается в другую серьезнейшую проблему — в близорукость потребителей, наемных работников, избирателей, заказывающих музыку. Но это другая тема. В. Чалидзе улавливает опасность этих социалистических процессов для Запада, но почему-то решительно не связывает их с социализмом, когда речь идет об СССР.

Обращаясь к СССР, В. Чалидзе забывает о социализме и коммунизме, об их структурных и экономических основах и многократно, как уже было отмечено, повторяет весьма популярный ныне тезис об идеологическом, структурном и целевом тождестве современной советской партократической государственности (особенно в сталинский ее период) и российской империи, рухнувшей в небытие в феврале 1917 года.

Прежде чем говорить об этом тождестве, следовало бы выяснить, какие тенденции были и остаются ведущими в обеих структурах. Как только мы ставим перед собой этот вопрос, мы видим, что в Российской империи, особенно в последнем 60-лети ее существования, ведущей среди тяжущихся тенденций была тенденция правовой либерализации, нарастания плюрализма, или, в терминологии В. Чалидзе, динамической полииерархичности. В. Чалидзе и сам говорит о том, что российская монархия не являлась чистого вида "статической иерархией", то есть централизованной деспотией, а допускала в рамках самодержавия (уже ограничен-

ного, добавлю я) различные суверенные "динамические иерархии". Элементы плюрализма и тенденции правовой либерализации в этом обществе постоянно, хотя и с колебаниями, росли.

В развитии же ленинской и сталинской партократии все годы, за исключением самосохранительного маневра НЭПа, задуманного, повторяю, Лениным как ограниченный во времени и в уступках тактический ход, оставалась господствующей тенденция централизации власти, тенденция повышения единообразия и приведенности к верховной воле. Это был в общем процесс, противоположный тому, что переживала Российская империя в последнем веке своего бытия, несмотря на все присущие этому бытию эксцессы и колебания. В то же время тенденции, восторжествовавшие в СССР после октябрьского переворота, угрожающе родственны процессам, протекающим ныне и в западном, и в "третьем" мире — как под разнообразным воздействием СССР, так и самопроизвольно.

И если западный мир через национализацию производства, сверхмонополизацию или агрессивный синдикализм мирно и плавно придет к созданию той же общегосударственной сверхмонополии, каковой является СССР, он вкусит все последствия этого шага. Ад окажется адом, независимо от того, притянут нас туда крюками за ребра или доставят авиалайнером класса люкс.

Все на свете происходит исторически конкретизованно, то есть неповторимо индивидуально. Однако у сходного класса явлений мы обнаруживаем некие общие контуры и основы, для усмотрения коих нет необходимости входить в индивидуальную биографию и психологию Сталина или Пол Пота, которые сами по себе, может быть, для кого-то и любопытны. У меня нет стимулов и оснований для построения психологического портрета Сталина. Я не вижу, почему мне не надо верить его марксистско-ленинским декларациям и полагать, что внутренне он ненавидел коммунизм (марксизм-ленинизм). Действовал-то он единственно логичным для воплощения этой утопии в жизнь образом: добивался полной покорности, послушности, бездумности человеческого материала, подлежащего коммунистическим преобразованиям. С другой стороны, в отличие от Пол Пота, Сталин не упускал из виду укрепление индустриального, в первую очередь военно-технического, потенциала подвластной страны; и в отличие от Гитлера, как правило, не заглатывал кусков, которых не мог бы переварить. Потому-то в отличие

от гитлеровского и полпотовского режимов, советский режим и уцелел. Однако расчеты многих специалистов доказывают, что небольшевизированная Россия гораздо быстрее и человечнее добилась бы тех же индустриальных успехов, которых добился Сталин своими бесчеловечными средствами.

Повторяю: реализация всякой утопии сводится к осуществлению ее неутопических элементов. Для коммунистической идеологии, намеренной преобразовать все человечество в некую противоестественную эгалитарную плоскость, не утопическими оказываются: создание государственных институтов, осуществляющих тоталитарную власть, страшный гнет и прямая или замаскированная экспансия, когда последняя для этих структур посильна. Гнет внутри страны ослабляется по мере падения сопротивляемости общества и нарастает, когда, едва приотпущенное "на более длинном ремне" (Ленин о НЭПе), общество опять начинает слегка шевелиться.

В. Чалидзе полагает, что со времен Сталина советская экспансия перестала быть коммунистической и стала имперской. Но имперская экспансия ведется с целью укрепления и процветания метрополии, а коммунистическая экспансия, прямая и конспиративная, идеологическая и военная, тяжелейшим бременем лежит на всех народах СССР, в том числе и на русских. Что же касается фразеологии, в которой интерпретируется эта экспансия, то коммунизм с 1918 года не ведет терминологически единообразной борьбы против некоммунистического мира, а идет против него в разветвленный подкоп, пропагандируя свою экспансию в том фразеологическом оформлении, в каком это ему политически в данный момент удобней и выгодней. В его словаре сохраняются и международная солидарность трудящихся, и поддержка всех деструктивных для демократии и "третьего мира" тенденций и настроений, и "мирное сосуществование", и помощь национальным движениям, которые можно себе подчинить или использовать в своих целях. Активно эксплуатируется внутри страны и патриотическая фразеология, но несравнимо чаще — совпатриотическая, чем великорусская: на более полувека идущее ползучее разложение и завоевание мира многоплеменный советский этнос одной только великорусской демагогией не подвинешь.

Итак, утопии не воплощаются в жизнь иначе, как частично, насильственно, извращенно и беспощадно.

Многоликие сталины всех коммунистических микрокос-

мосов суть не "победители коммунизма", а воплоители в жизнь того немногого, что в великом соблазне коммунистической утопии воплотимо в жизнь.

Что же касается воспроизведения внутреннего мира и побуждений Сталина (задача скорее психолога и художника, чем историка), то мне представляется, что А. Солженицын "В круге первом" решил эту задачу успешней, чем В. Чалидзе в своем исследовании.

Газета "Новое русское слово". 4, 5 декабря 1981 года.

”С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?”

Там вода уже —
 над всем, что было высью.
Там судьба уже —
 ревет, борта сверля...
...Что же злюсь я
 на игрушечные мысли
Здесь —
 на палубе того же корабля.
Н. Коржавин ("Эмигрантское") 19/6

1. ”САМОДЕРЖАВИЕ ПРАВДЫ”

Статья Г. Померанца в журнале ”Синтаксис” №6 называется ”Сон о справедливом возмездии” и имеет подзаголовок ”Мой затянувшийся спор”.

У меня тоже есть свой ”затянувшийся спор” с Г. Померанцем. Спор односторонний, то есть сугубо читательский. Допустимо ли обнародовать этот односторонний спор, если Г. Померанц — там, а я — здесь?

Полагаю, что допустимо.

Во-первых, Г. Померанц ведет полемику с А. Солженицыным не в частном письме к нему, а на страницах эмигрантского журнала. Таким образом, он апеллирует не только к А. Солженицыну, но и к читателям. Во-вторых, живя в ”большой зоне”, Г. Померанц давно и широко публикуется за ее пределами. В-третьих, мои читательские впечатления не повредят ему в глазах надзирателей, ибо я не усматриваю в его высказываниях серьезных нарушений режима. Кроме того, я надеюсь, что, выступая со столь радикальной критикой своего коллеги, Г. Померанц не рассчитывает на молчание несогласных с ним читателей, обусловленное его несвободой. Блистательный публицист, он не нуждается в скидках такого рода. В произведениях, выпускаемых Госиздатом, все мы полуавтоматически производим привычные

читательские поправки на гнет цензуры. Так как журнал "Синтаксис" от этого гнета свободен, то при чтении его публикаций такие поправки были бы противоестественны. Писатель, выступающий в свободной печати, берет на себя весь груз ответственности, возлагаемой на человека свободой выбора. И если при этом человек на самом деле не свободен, то возникает безвыходность, от которой читатель избавиться писателя не в силах.

В русской публицистике (исключая коммунистический Госиздат, который не спорит, а, как говорят на Украине, "лается") идет многоголосый спор с Солженицыным. Нынешние спорщики в свое время почти все ждали от Солженицына безупречной — всегда и во всем — правоты и последовательности. Каждый ждал от Солженицына правоты на свой лад, в своем понимании того, что значит быть безупречным. И теперь мы не устаем объяснять друг другу, в чем Солженицын не соответствует идеалу, который ему каждым из нас предписан.

Когда спорят и даже воют друг с другом две заботы (не будем упортеблять всуе высокое слово "миссия"), спор равноправен, независимо от равенства спорящих в таланте, в прозорливости, в образованности, в известности и в других иерархических отношениях.

Серьезен, к примеру, спор Д. Панина с А. Солженицыным в книге первого "Солженицын и действительность" (Париж, 1975).

Когда же спорят забота и амплуа, одну из сторон нельзя рассматривать в системе отсчета второй стороны: имитатору нет дела до чьих-то забот, а пытающемуся докричаться или постичь истину — до позы, изображаемой исполнителем амплуа.

"Игрушечные мысли", о которых говорится в эпиграфе к этим раздумьям, т. е. затейливая имитация работы и забот духа, — одна из самых страшных забав человечества. И не только потому, что она бесплодна и растлевающая, как все разновидности греха Онана. Имитация творчества опасна еще и потому, что у мастеров и болельщиков этой игры нет в их собственных душах опоры, позволяющей противостоять не только мучительству (это трудно для всех людей), но и лукавству дьявола.

Забота чаще превращается в амплуа, чем можно предположить. Это случается, когда к миссии начинают, пусть в гомеопатических дозах, примешиваться некие посторонние для сути предмета мотивы, личные или навязанные извне (последнее не имеет значения).

Тень ампула чудится мне в некоторых работах о Солженицыне.

Несомненно, что далеко не "всякое несогласие с Александром Исаевичем в конечном счете сводится к казенной лжи" (Г. Померанц)¹. Более того: отнюдь не "всякое несогласие" с Александром Исаевичем вообще сводится к неправоте и уже тем более — ко лжи. Но ведь вот какая возникает странность: в статье Г. Померанца, как во всем том, что он публикует, есть множество точных, тонких и остроумных мыслей, в ней содержатся некоторые обоснованные возражения А. Солженицыну по весьма важным вопросам. Протест же (не просто возражение, а протест, даже некое подобие шока) вызывают те мысли Г. Померанца (и о Солженицыне, и не о нем), которые представляются (мне) для этой его статьи стержневыми и целеполагающими. Чаще всего эти мысли связаны с принадлежащим Г. Померанцу парадоксальным полудождеством-полупротивопоставлением "Солженицын — коммунизм".

* * *

Следуя Нильсу Бору, Г. Померанц различает два класса истин: истины "ясные" и истины "глубокие". Глубокая истина, вероятно, и в самом деле "не может быть однозначно высказана словом" (Г. Померанц): "Я готов повторить то, что сказал когда-то Нильс Бор: бывают истины ясные и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками противостоят друг другу равно глубокие истины. И как раз эта область — королевский домен интеллигенции. Слишком большая захваченность борьбой за ясные истины сужает почву, на которой могут укорениться истины глубокие. Ты мне ври, да ври по-своему и я тебя поцелую, — говорил на заре русской интеллигенции пьяный Разумихин. Соврать по-своему — это лучше, чем правда по-одному, по-чужому. Правда не уйдет, а жизнь заколотить можно. Примеры были..."

Да, примеры были... Но...

Не происходит ли здесь незаметной (за красноречием) подмены вопроса?

Нильс Бор противопоставляет "истины ясные" "глубоким истинам", и я не буду вдаваться в его обобщение. Возможно, он говорит о специальной области со специфическим соотношением "истин" (о моделях физической реальности на различных ее уровнях).

Я не берусь категорически судить о вещах такой степени сложности, но предполагаю, что в той области жизни, которой касается Г. Померанц, любое (и "ясное" и "глубокое") приближение (большого здесь не дано) к Истине неоднозначно и неполно по определению. Здесь классификация Нильса Бора неприменима.

Но ведь строкой ниже Г. Померанц готов предпочесть "ясной истине" уже не "глубокую истину", а "вранье" — лишь бы "по-своему"! Да и беспечное "правда не уйдет"² — ох как сомнительно!.. Это уже от того поветрия, которое во все времена (а на пирах во время чумы — в особенности) предпочитает "карнавальную игру" словами страшному лику всех приближений к правде (как "ясной", так и "глубокой").

Кроме того, "неистины" часто бывают выражены вполне убедительно, с опасным для адресата правдоподобием. Концепции, не следующие реальности, выглядят обычно гораздо более стройными, а значит, и более постижимыми, чем нестройная жизнь.

К числу таких правдоподобных неистин относится введенный Г. Померанцем в его статью образ "самодержавия правды". Эта негативно окрашенная метафора должна хорошо восприниматься адресатом Г. Померанца. Я имею в виду не А. Солженицына, а круг, самовыразившийся в монологе Г. Померанца. Этот круг, по роду своих занятий и дарований вынужденный десятилетиями подвизаться на советской идеологической барщине, испытывает отвращение ко всякой тенденциозности, почти независимо от содержания самих тенденций. Этим людям так долго навязывали не только обязательные высказывания и поведение, но и обязательное миропонимание, что они почитают обскурантизмом всякую мировоззренческую определенность. Им кажется деспотической любая попытка отстаивать такую определенность. Они делают исключение только для апологии неопределенности и недействия, которые легче всего считать свидетельством широты взглядов и глубокомыслия.

Эти изящно — "надежные" люди не переносят лобовых "шестидесятнических" и "передвижнических" вопросов вроде: "Кто виноват?", "Что делать?" и "Кому на Руси жить хорошо?" — от которых, как этому кругу представляется, и пошло все зло.

Мысль, что зло могло утвердиться не из-за вульгарной страсти российских интеллигентов к прямолинейным вопросам, а из-за ошибочности хороших ответов на них, кажется

нынешнему эрудиту и чересчур тривиальной, и дискомфортной.³ Когда же чей-то ответ на один из этих (или подобных) вопросов застревает в душе и становится чересчур беспокоящим, на выручку атенденциозному интеллектуалу приходит неприязнь к "самодержавию правды".

Однако "самодержавие правды" (Г. Померанц) есть словосочетание бессодержательное (если только это не самодержавие "Правды"). "Самодержавия правды" никогда не было и не может быть. Любая мысль, объявляющая себя единственно легитимной, в силу одной уже только этой претензии автоматически становится ложной. Г. Померанц говорит, что он ведет с А. Солженицыным спор "за республику идей против самодержавия правды". На деле же спор "за республику идей" может быть только против самодержавия лжи. Правда органически сопряжена со свободным выбором и многоаспектностью и поэтому реализуется исключительно в виде "республики идей". Но ведь назвать А. Солженицына "самодержцем лжи" невозможно. Это было бы ниже Г. Померанца и слишком напоминало бы "казенную ложь" о Солженицыне. И Солженицын предстает перед читателем в образе фанатического и одностороннего самодержца правды, что, как сказано выше, есть словосочетание бессодержательное: либо правда — либо духовное самодержавие. Зато как полемический прием, рассчитанный на читателя, а не на оппонента, эта формула, осуждающая интеллектуальную нетерпимость и узость, очень удачна. За ней возникает неприятная сила, стремящаяся во что бы то ни стало навязать всем остальным свою, и только свою версию истины.

За этим выразительным, но пустым словосочетанием, явно связанным с Солженицыным, от читателя как-то ускользает, что Солженицын не более самодержец, чем Г. Померанц. Никакого оружия, кроме Слова, он не использует и других не призывает использовать. На протяжении многих лет, истекших после выхода в свет "Одного дня Ивана Денисовича", даже в собственных трудах и речах А. Солженицына не господствует безраздельно и самодержавно одна и та же идея. В этих работах перед нами возникает человек-процесс, занятый напряженным постижением мира. Конечно, постижением по своей, а не по чьей-то методе.⁴

* * *

1. ВОЗМУЖАВШЕЕ ЗЛО

В интерпретации Г. Померанца А. Солженицын неприятен еще и тем, что занят он вроде бы делом уже устаревшим, анахроническим: он борется против вещей, против которых уже нет особого смысла бороться. Во всяком случае Г. Померанцу против того "возмужавшего, окрепшего" зла, которое мешает жить А. Солженицыну, бороться уже неинтересно. Это зло не представляется ему опасным. Предел этого зла обозначен: оно созрело, а все созревшее умирает, чего Солженицын не хочет видеть.

"То, что сталкивает меня с Александром Исаевичем, нельзя свести к недоразумениям, к непониманию друг друга. Скорее это разное понимание зла, сосредоточенность на разных сторонах зла. Солженицына увлекает задача борьбы с возмужавшим, окрепшим злом. Я смотрю на такое зло глазами Лао-цзы: *твердое, крепкое — завтра будет мертвым*. Мне страшно другое: младенчество зла, первый поворот добра к злу, первые его робкие, прелестно нетвердые шажки. Розовые пальчики, которые завтра сожмут топор. Сдвиг в душе змеборца, начало остервенения, из которого вырастает новый змей."

Я думаю, что Солженицына не увлекает, а подчиняет себе задача борьбы с одолевающим мир "возмужавшим, окрепшим злом". И прикован он к этой задаче вовсе не жаждой мести; во всяком случае, об отмщении он говорит редко. Солженицын боится, что в ночь, отделяющую плохое "сегодня" от хорошего "завтра" ("твердое, крепкое — завтра будет мертвым". Г. Померанц), зло успеет перемолоть мир. "Пока солнце взойдет, роса очи выест", — говорят украинцы.

Я тоже боюсь, что зло успеет убить мир в течение ночи, отводимой ему на умирание людьми, способными отрешиться от происходящего. И поэтому у меня есть вопрос к цитирующему Лао-цзы Г. Померанцу: "твердое, крепкое зло" умрет завтра само собой или с помощью одержимых, которые с ним дерутся?

Смысл красивой метафоры с "розовыми пальчиками добра" и зажатым в них топором сводится⁵ к тому, что это именно Солженицын держит в руках топор. Не очень понятно только, против кого он намерен пустить его в ход. Против коммунистов? Против инородцев? Конечно, я понимаю, что несколько упрощаю тезис Г. Померанца: топор держит в руках не лично Александр Исаевич, а те, которые идут

за ним и растут из его одержимости "антипалачеством", из его узости и ксенофобийных комплексов. Но, когда дочитываешь статью до конца, сложная мысль Г. Померанца разрешается хорошо знакомым историко-материалистическим выводом: поскольку коммунизм — это явление зрелое, предельно развившееся, сиречь потенциально отмирающее, а солженицынское "антипалачество" — зло нарождающееся, т. е. развивающееся, то Солженицын не только не безобиднее, но и опаснее коммунизма.

Самый расположенный к Г. Померанцу читатель не смог бы не сделать из его статьи этого вывода.

Если же снять с этой мысли predeterminedенные уникальной начитанностью Г. Померанца наслоения, то окажется, что опасность для человечества А. Солженицына, а также опасность антикоммунизма и антинацизма обусловлена способностью этих трех грозных политико-идеологических феноменов дойти в своем рвении к добру до того же, до чего дошли в рвении к своим идеалам коммунизм и нацизм.⁶

Именно эта смелая и широкая нонконформистская мысль (Солженицын, антикоммунизм и антинацизм, если и не хуже — сейчас, то потенциально опаснее современного коммунизма)⁷ и заставила меня подумать об утрате Г. Померанцем миссии постижения. Мне почудилось рискованное для всякого дарования приближение к некому ампула, даже бесконечно малая примесь которого лишает размышление подлинности. В подлинном поиске живут и великие заблуждения, и роковые ошибки, и слабости, и прозрения. Но вне подлинности самое изощренное словотворчество не может тягаться с косноязычием неподдельной работы мысли.

Довод, что коммунизм — зрелое, окрепшее зло и поэтому завтра умрет, несостоятелен ни с одной из возможных точек зрения на коммунизм, кроме одной точки зрения — коммунистической. Прежде всего потому, что это зло извечно действует по блатному принципу "умри ты сегодня, а я — завтра". И только ему полезно, чтобы мы отложили борьбу с ним на "завтра".

В распоряжение коммунизма нельзя предоставлять эту ночь: может быть, только одна эта ночь и нужна ему для победы.

Такое зло, подобно злокачественному образованию, кончается (если ему не препятствовать) только после того, как оно пожирает все, что может послужить ему пищей и полем существования.

И это отнюдь не метафора — это определение класса явлений.⁸

Может показаться риторически убедительной мысль Г. Померанца о том, что нет таких тенденций (в том числе добра), которые нельзя было бы довести до крайних пределов, губительных и абсурдных, как все крайности. Но в этом смысле и предельный объективизм так же подлежит вырождению в катастрофическую и жесточайшую бессмыслицу, как и любое пристрастие. Если бы Г. Померанц говорил о крайностях какого-то взгляда, лежащих за полем необходимого и достаточного сопротивления злу, это была бы речь об — искони! — самой главной и трудной проблеме человеческого существования. Когда-то Г. Померанц так и говорил об этой самой проблеме: "Никто не мешает нарушать все десять заповедей, и знаешь, что иногда придется сделать это: порвать с отцом и матерью, полюбить жену друга. Но не сделаешь этого до последней крайности, схватившей за горло. Потому что грех, даже если нужно принять его на душу, остается грехом. Всякий грех, даже тот, не сделать который было бы еще большим грехом, трусостью, низостью, раскрывает ворота зла. Иную старушку не только можно — надо убить. Никто не бросит камня в полковника Штауфенберга. Но вслед за старушкой идет под топор Лизавета, и если не под твой собственный, то под топор другого. Ты ввел в мир убийство. Все вакханалии зла начинались с необходимых действий, с жертвы, принесенной на алтарь исторической необходимости.

Поэтому каждый грех требует искупления, и не только внешнего, обрядового, а всеми силами души. И жизнь не только вечная радость, но и вечное страдание, искупление грехов, чувство вины перед каждым, которому не можешь помочь, кого ударил и обидел, не мог не ударить и не обидеть. И еще какой-то вины, которую нельзя описать, если не сказать: вины перед Богом. Потому что ты Его бьешь, кого бы ты ни ударил. И если ты не чувствуешь этого, ты не знаешь Бога. Это одно из самых главных имен Его: Тот, Кого ты бьешь, кого бы ты ни ударил. Я не говорю: не твори зла, не бей. Нет, бей, если это нужно, но помни, Кого ты бьешь.

Нельзя сделать ни одного шага без зла; но нельзя привыкать к этому, оправдывать себя, перестать чувствовать зло как зло. Смертный грех — самодовольство, респектабельность, самооправдание логикой, необходимостью, прогрессом".⁹

Здесь идет речь о нахождении каждым из нас в каждом конкретном и общем случае необходимой и достаточной меры нейтрализации зла. У человечества нет более важной и трудной задачи. Теперь, однако, Г. Померанц говорит о другом — о возвышенности бездействия (не-действия) в сравнении с действием. И эта его позиция перерастает в ту самую крайность, в тот самый "топор в розовых пальчиках добра", которых он так боится. Сегодня, пугая нас потенциальной опасностью активного сопротивления злу, Г. Померанц фактически предлагает нам заранее, по нашей собственной инициативе, выполнить хорошо знакомый и векам и вольноотпущенникам приказ: "Руки за спину!.."

3. ПАЛАЧЕСТВО И УТОПИЗМ

Оставим, однако, в стороне субъективные чувствования и обратимся к чисто логическому заблуждению Г. Померанца. Он утверждает, что любые высокие побуждения могут выродиться в палачество, если они однозначны и непримиримы. Я готова расширить это суждение и добавить, следуя Г. Померанцу, что и беспристрастность, доведенная до отказа от выбора, может выродиться в палачество. Пишет же сам Г. Померанц о грехе действия и о грехе бездействия. От безразличия к палачеству до палачества — всего один шаг.

Но особенность коммунизма, поставленного Г. Померанцем в ряду других миропониманий, не застрахованных от перерождения в палачество, состоит в том, что те могут переродиться, а могут и не переродиться, а коммунизм не может реализоваться иначе, как в виде тоталитарной, то есть палаческой, власти.

Здесь-то мы и натываемся на коренной порок рассуждения Г. Померанца о неизбежности превращения "антипалача"¹⁰ в палача. Не существует такой неизбежности в качестве траектории, обязательной для всякой непримиримости.

Неизбежным и неотвратимым является лишь палачество побеждающих утопистов. В других случаях растение властью (или крайностями борьбы) может случиться, а может и не случиться. Утописты же по определению не могут после прихода к власти выполнить то, что было ими за-

думано и обещано. Поэтому утопистов после победы ожидают вечные колебания между тотальным и выборочным палачеством — в зависимости от меры покорности общества. А общество покориться утопии не может, даже если бы и захотело: требования утопии невыполнимы. Поэтому жестокое насилие над обществом со стороны вчерашнего утописта, не желающего отказаться от партократического полномочия, неизбежно. По крайней мере случаев такого отказа со стороны победивших компартий мы не наблюдали, хотя Г. Померанц почему-то на них рассчитывает.

”Антипалач” же, который не является носителем встречной утопии, тоже может, конечно, по каким-то конкретным причинам выродиться в палача: психическая природа людей этого не исключает. Но роковой предопределенности, безвыходной неизбежности такого перерождения нет.

Условием необязательности роковых, по мнению Г. Померанца, вырожденческих циклов: ”палач — сопротивление палачеству (”антипалач”) — превращение ”антипалача” в ”палача” — является реалистичность задач сопротивления. В понятие реалистичности входят и их ограниченность во времени и пространстве, и их желательность для общества, и их выполнимость, и их полезность, в которой большинство общества вскоре убеждается. Иными словами, с роковой неизбежностью в палача превращается только ”антипалач”, фактически стоящий на одном полюсе с палачом, одна из его модификаций. В иных случаях вырождение может и состояться, и не состояться.

Г. Померанц пишет: ”Американская революция обошлась без остервенения, и слово ”революция” на языке американцев — хорошее слово. Когда Стравинский поселился в Штатах, его назвали музыкальным революционером. Стравинский очень обиделся. В его сознании — сознании русского эмигранта — революция пахла трупным смрадом”.¹¹

Думаю, что в сознании угандийского — времен Иди Амина, камбоджийского — времен Пола Пота, китайского, вьетнамского, кубинского и т. д. эмигрантов революция пахнет примерно так же.

Поэтому и следует рассматривать конкретные программы революций. Если они исключают узаконенный плюрализм и охрану прав гражданина и неуголовной личности, то это не альтернативы. И здесь антисемиты, шовинисты и воинствующие клерикалы, путающие свободу духовного влияния с земной властью своих церквей, столь же опасны, как насилующие национальную самобытность ”интернационалисты”.

демократствующие сторонники однопартийности и воинствующие атеисты.

На мой взгляд, намерение В. Турчина создать "беспартийное" (то есть опять же партократическое: единственной партией будет чиновничество) общество так же определенно выражает опасность "обменять шило на швайку", как некоторые положения статей сборника "Из-под глыб". Но опасности, скрытой за демократической фразеологией, никто не замечает.

В американской войне за независимость и в войне между Севером и Югом было достаточно много остервенения. Но оно оказывалось сравнительно коротким и преходящим, потому что задачи обеих войн были локальными и реальными. Равно, как и задачи Тьера, Пиночета, Корнилова (если бы Керенский его не предал) и даже той жесточайшей антикоммунистической реакции, которую пережила Индонезия. Но мы никогда не соизмеряем защитного насилия с тем, что произошло бы, если бы защитно-предупредительной акции не было. Когда не только действовать (действовать почти невозможно), но и размышлять вслух о действии невероятно опасно, мы предпочитаем выдавать нужду за добродетель: исповедовать высоконравственное недействие и постулировать равную моральную неприемлемость одной жертвы и десятков миллионов жертв.

С одной стороны, "поездка студентов МГУ на уборку урожая — не этап в Потьму" (Г. Померанц)¹², с другой стороны, уравнивается "счет на миллионы" со счетом "на десятки тысяч" (он же). К величайшему сожалению, мы не избавлены от релятивизма в этом страшном счете. Нам (на Земле) непрерывно приходится выбирать не абсолютное благо, а наименьшее зло. Перед другим выбором жизнь нас не ставит.

4. ОБЩЕСТВО ТОТАЛИТАРНОЕ И ОБЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЕ

В 1964—1971 гг. в статье "Два принца" Г. Померанц писал: "Одна из любимых притч Кришна Мурти — о человеке, нашедшем истину. Дьявола это сперва очень огорчило, но потом, немного подумав, он сказал: "Не беда! Человек захочет превратить свое открытие в систему и тогда снова придет ко мне".

Чтобы стать массовой, истина должна превратиться в

систему. Но это тяжелый путь, даже самоубийственный. Истина, целиком превратившаяся в систему, становится стопроцентной ложью. И трудно сказать, к чему больше надо стремиться: чтобы новая истина стала "материальной силой" — или чтобы она не совсем материализовалась и хотя бы отчасти оставалась духовной и личной.

Поэтому зрелость не стремится к победам. Она довольствуется обороной от внешних сил, мешающих ее внутреннему развитию, она обращена внутрь, к источнику своего бытия. Стало поговоркой, что "оборона — смерть восстания". Но наступление — тоже смерть, в духовном отношении еще более верная. Наступать — значит ставить себе все более и более далекие внешние цели и забыть за ними вовсе дорогу вглубь (ради защиты которой все началось). Наступать — значит планировать то, что выходит за рамки человеческого разума; значит угодить в утопию: значит рано или поздно пустить в ход силу, чтобы добиться окончательного решения (которого на самом деле нет), и с великим громом свернуть себе шею."¹³

Во-первых, истине незачем "целиком" превращаться в систему. Ей только и надо добиться защищенности "от внешних сил, мешающих ее" — у Г. Померанца сказано: "*внутреннему развитию*" (*курсив мой — Д. Ш.*), я бы сказала — просто "развитию". Неточность этого рассуждения Г. Померанца состоит в следующем: мы уже угодили в утопию, и добиться внутри этой утопии-оборота¹⁴ ситуации, при которой можно без особого риска защититься от сил, формирующих развитие личности, не удается и не удастся.

"Надежда внести свободу декретом"¹³ отнюдь не бессмысленна, если есть надежда добиться соответствующего декрета (декретов) и его (их) исполнения. Примеров раскрепощающих декретов в истории много, в том числе и в российской — до октября 1917 года (хотя бы великие реформы 1860-х годов).

Бывают, разумеется, случаи, когда можно "быть свободным и при старом режиме".¹⁵ Однако монопартократическое тоталитарное общество находится в положении, когда "быть свободным и при старом режиме" могут лишь люди, не представляющие себе, что такое свобода. А действительно раскрепощающие декреты изменили бы здесь природу режима (статус власти) и поэтому чрезвычайно маловероятны.

Г. Померанц возвышенно пренебрегает разницей между обществами, в которых можно без самоубийственного риска добиваться раскрепощающих декретов, и тоталитарным

обществом, в котором невозможны ни "внутренняя" независимость (ибо нет внутренней независимости без свободы вести себя независимо), ни мирная эмансипация личности. Он пишет: "Я думаю, надо просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям..."¹⁵

Далее следуют несколько строк о праве высоких натур на индивидуальное мученичество. "А обществу можно сказать: "того, что есть, достаточно для внутренней жизни. И если она не удастся, если мы пусты и несчастны, то не потому, что не издан еще соответствующий декрет, и никакой декрет здесь не поможет."¹⁵

И чуть ниже — вывод: "Ну, а если нет? Если история решит иначе? Если всем дорога в золу? Пусть. Мы жили так, чтобы открыть ворота будущему, но не ради будущего, а ради бытия, ради вечного "теперь", и если оно действительно было у нас, — никакая история его у нас не отнимет."¹⁵

Если "пусть" "всем дорога в золу", то говорить не о чем. Вообще, если отправным условием поисков достойного существования является безразличие к жизни (не только готовность отдать свою жизнь, а приятие для всех "дороги в золу"), то к чему и огород городить? Но ведь в этом отрывке не только о смерти сказано. Здесь постулируется и необходимость "просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям... А обществу можно сказать: того, что есть, достаточно для внутренней жизни..."

В редакционном примечании сказано, что будто бы К. Леонтьев выразился в том же духе: "То, что нужно, — это внутренняя решимость, способность к внутренней борьбе в тех реальных условиях, в которых мы живем. И только опираясь на достигнутую свободу, защищая ее, можно постепенно, от поколения к поколению — изнутри наружу развернуть ее".¹⁶

Так ведь К. Леонтьев говорил это о *России*, в которой, вопреки всем нынешним псевдоисторическим "обобщениям", действительно — во множестве немаловажных случаев — можно было действовать и примерно таким образом. В той России с 1860-х гг. даже бороться — без применения террора против правительства — можно было бы без смертельного риска, а уж "внутренне совершенствоваться" — сколько душе угодно. Но говорить о тождестве "главной задачи" на Западе и на Востоке¹⁷ — не кощунство ли? Какого такого "прямого счастья" "и у них нет"? Разве речь идет о больше-

вистской борьбе за "всеобщее счастье"? И можно ли сделать "каждого" (любого из нас) "прямо счастливым" в нашей земной юдоли? Разве речь идет не о достижении правовых обстоятельств, позволяющих личности и группе защитить себя от тирании, государственной и бандитско-частной? На Западе надо эти обстоятельства расширять, углублять и защищать; на Востоке надо их каким-то трудно поддающимся осмыслению способом добиваться. Это далеко не одна и та же задача. До сих пор только "героические" западные леволибералы наших дней осмеливались отстаивать кощунственное суждение о *равном* несовершенстве демократических и тоталитарных обществ, о тождестве империалистических поползновений СССР и США (ниже мы еще встретимся со взглядом Г. Померанца на уход США из Вьетнама). Чешский ученый профессор Рио Прайзнер, сейчас живущий в США, отвечал пропагандистам этой злокачественно-близорукой позиции так: "...По традиции неумения различать феномены Вы бросаете Советский Союз и США в один мешок. Но мне хочется Вам сказать, что Ваши книги никогда не были бы напечатаны в реальном (а не утопическом) демосоциализме. Ваши произведения напечатаны в Западной Европе, этим Вы обязаны США, которые эту Европу защищают. Это утверждение вызовет у Вас издевательский смех. Но я рискну утверждать еще больше: без защиты медленно истекающей кровью американской демократии, которая несмотря на все "формальности" сохранила законность, все развитие, начиная от группы 47 и кончая Вагенбахом и Петером Вейсом, развитие немецкой философии от франкфуртской школы до Гейдеггера и Гадамера было бы непредставимо. Больше того, не было бы послевоенных произведений Сартра и Камю, из всего богатства опубликованной после 1945 г. литературы остался бы, вероятно, бедный Берг Брехт. Не было бы методологических дискуссий и демонстраций студентов, Нюрнберг выглядел бы по сей день, как Дрезденский парк, и не выходила бы даже газета "Ди цейт", не говоря уже о "Ди вельт". Или, может быть, Вы можете себе представить Ваши "Оловянные барабаны" или романы Бёлла как произведения Самиздата, увидевшие свет в подполье, причем авторы рисковали бы своим существованием? Я не могу себе этого представить. Хотя мы себе очень хорошо представляем Самиздат с произведениями Солженицына. Но кто иной был бы готов так заплатить за неразрушимость познания и образа, как это сделал Солженицын? Или Вы можете себе представить Гейдеггера, который после

изнуряющего бессмысленного труда зека объясняет заинтересованным созаклученным разницу между "бытием" и "бытием"? Вы же сами смеялись над подобными представлениями. Как бы то ни было, Гейдеггер, Адорно или Бёлль, или Вы непредставимы как знаменитые философы и литераторы без США. Ваши произведения, таковые Гейдеггера, духовные салты мортале Сартра были возможны только в сфере влияния США с их "формальной" несоциалистической демократией".¹⁸

Когда-то взгляды Г. Померанца были таковы, что им не пришлось бы противопоставлять горькие доводы профессора Прайзнера. Сегодня Померанц рассуждает вполне в духе "Интернациональной амнистии", для которой генерал Пиночет и Брежнев действуют в одной плоскости, в одном направлении и в одинаковой мере преступны. Разница же здесь принципиальная. И смешение этих понятий в одно — такой же порок рассуждения Г. Померанца, как и универсализация процесса вырождения "антипалачества" в палачество.

"Того, что есть, достаточно для внутренней жизни?"

Возможна "способность к внутренней свободе в тех реальных условиях, в которых мы живем?"

Ну и ну!..

Вот как она реализуется — эта свобода — "в тех реальных условиях", в которых живет Г. Померанц более полувека.

"...Органы НКВД начали массовую эвакуацию заключенных. Академик Вавилов был среди тех тысяч обитателей внутренней тюрьмы НКВД, Бутырок, Таганки, Лефортово, которых свезли на вокзалы для отправки в тюрьмы Саратова, Оренбурга и Куйбышева.

Мне удалось разыскать несколько бывших заключенных, которые провели эту осеннюю ночь на вокзальных площадях. Доцент Андрей Иванович Сухно вспоминает: "Нас привели из Бутырок на Курский вокзал что-нибудь около полуночи. Стража с собаками оцепила всю привокзальную площадь и приказала нам стать на четвереньки. Накануне в Москве выпал снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растеклась по асфальту. Люди пытались отползать от слишком больших луж, но этому мешала теснота, да и стража, заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры. Сколько нас там стояло? Думаю, что не менее десяти тысяч, а может, и больше. По одежде и по внешнему облику все те, кого я видел ночью, с кем ехал потом в поезде, были московские интеллигенты. Так на четвереньках простояли мы часов шесть. Рассвело. На улицах стали появ-

латься прохожие. Поднимать голову было строго-настрого запрещено...”¹⁹

В потоке других бездумных, кокетливо-мазохистских пророков элиты ”серебрянного века” Валерий Брюсов, сам не сознавая точности своего пророчества, вещал:

”Бесследно погибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном”.

Салонные апологеты освежающих бурь, подобно нынешним западным их коллегам, не ведали, сколь неестественной будет безгласная гибель одних и тоскливая служба других по разным ведомствам гуннской культуры.

Сегодня мы снова слышим увещевания примириться с ”дорогой в золу” — уже не из снобистски-революционных, а из философских соображений. Не думаю, что заведомая готовность не только на свою, но и на всеобщую гибель пристойней и нравственней смертоносного пустословия Брюсова. XX век с достаточной определенностью доказал (не впервые в истории, но впервые с таким размахом), что страдания, которые превышают власть души над телом, не возвышают, а ломают страдальцев. Даже призрак таких страданий опасен. Они вызывают аварию нервной системы, и тогда только чудо может уберечь личность от крушения. Прежде чем пытаться, инквизиторы обычно показывали подследственным орудия пытки или чужую пытку. Чаще всего этого хватало для самооговора и доносов.

”Всякое страдание, которое человек сумел вынести, выдержать, делает глубже, делает приемником каких-то новых волн, которые иначе (не пострадай человек) так и остались бы не принятыми”, — говорит Г. Померанц. Но не всякое страдание можно вынести! Именно потому не везде одинаково плохо жить²⁰, что не везде управляют людьми посредством страданий (или угрозы страданий), которые невозможно вынести. А Солженицын прошел сквозь часть (его физически не пытали) этих страданий, был навсегда потрясен их бесчеловечностью (за себя и других), но не сломлен. Поэтому он и антипалач — определение почетное, а не позорное. Г. Померанц тоже побывал в этом аду и живет сегодня под властью его устроителей. Что с ним произошло или происходит, не мне отсюда гадать. Напомню только, что в страшной книге Дж. Орвелла ”1984 год” палачи добиваются

от жертвы не просто покорности, но и любви к мучителям. Иногда подобие такой любви наступает как извращенная благодарность за прекращение или неприменение пытки. В одиночке и следовательском кабинете я сама причастилась на какое-то время к этой уродливой благодарности, когда обнаружила, что меня следователь не бьет.²¹

”В годы передышки... Ахматова... часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость: ”Они завидуют нашему страданию.” Причина непонимания вовсе не зависть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшей действительность до полной неузнаваемости. Надо еще прибавить — полное нежелание вдуматься. Предположить у ленивых и равнодушных людей не только зависть, но даже простое сочувствие, каплю жалости, я не могу. Они просто плевали и отворачивались. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. Никакой благодати в нем не ищите: только животный страх и боль...”²²

Одно из двух: либо Г. Померанц по отношению к страданию настолько выносливей, чем Н. Я. Мандельштам, что просто не способен испытывать страх перед ним, либо он так чувствителен к своему страданию, что отворачивается от чужого. Ибо иначе он не мог бы суесловить о возвышающей роли страданий на фоне страшных событий XX века. Страдания, делающие человека сгустком непосильной телесной муки, не возвышают и не делают человека духовнее.

Как можно оборонять свою ”внутреннюю свободу” и ”возможность развития”, стоя на четвереньках, когда ”поднимать голову строго-настрога запрещено”, а запрет подкреплен автоматчиками и овчарками?

Если мне возражат, что четвереньки — атрибут ”сталинщины”, я приведу другое авторитетное свидетельство — о феномене новых, благословенно-вегетарианских ”веймарских” (А. Янов) времен.

”Кроме обычных тюремных тягот были еще и все тяготы психиатрической больницы: бессрочное заключение, принудительное лечение, побои и полное бесправие. И жаловаться было некому — любая жалоба оседала в твоей истории болезни, рассматривалась как доказательство твоего безумия.

Известно было, что хоть формально заключение и бессрочное, но на практике убийц обычно содержат пять-шесть лет, нашего же брата — два-три года. Это при полной покорности, при отсутствии конфликтов и плохих записей в журнале наблюдений. Для выписки врачи откровенно требовали от

заклученного признания своей болезни и осуждения своих действий. Это называлось у них "критикой", критическим отношением к своим болезненным проявлениям, и служило доказательством выздоровления.

В качестве "лечения возбужденных", а точнее сказать — наказания, применялись, главным образом, три средства. Первое — аминазин. От него человек впадал в спячку, какое-то оцепенение и переставал соображать, что с ним происходит. Второе — сульфазин, или сера. Это средство вызывало сильнейшую боль и лихорадку, температура поднималась до 40—41°C и продолжалась два-три дня. Третье — укрутка. Это считалось самым тяжелым. За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек мокрой, скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая, материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро теряли сознание, и на обязанности медсестер было следить за этим. Потерявшему сознание чуть-чуть ослабляли укрутку, давали вздохнуть и прийти в себя, а затем опять закручивали. Так могло повториться несколько раз."²³

Можно ли чувствовать себя свободным, пусть даже только внутренне, на таком фоне? Не лучше ли просто не вступать в диалог о свободе в таких условиях?

Когда-то в присутствии Наума Коржавина некая демократическая дама утверждала возможность внутренней независимости в любых условиях. Коржанин спросил ее, сознавала бы она свою духовную независимость, если бы ее "пропустили" в лагерном воровском бараке мужиков этак тридцать-пятьдесят? Дама смолкла в ужасе — перед цинизмом Коржавина. И по мне это слишком сильный пример, хотя и бесспорный. Чтобы понять свою безысходную духовную несвободу, достаточно одного районного инструктажа для школьных преподавателей истории СССР. Инструктажа, во время которого какой-нибудь тупорылый жлоб насилует сотню учителей, лепящих затем по той же схеме миропонимание школьников.

Кстати, о преподавании. Г. Померанц недвусмысленно полагает, что отказ его молодого знакомого изучать историю на советском истфаке и уход хорошей учительницы из школы из-за нежелания продолжать и впредь насиловать себя и отравлять детей неизбежной ложью — шаги неразумные, непрагматичные. Практически я согласна скорее с ним, чем с его бескомпромиссными знакомыми: сама почти 30 лет барахталась в школе между ложью или полуправдой для боль-

шинства учащихся и опасной и мне, и им правдой — для нескольких самых близких. Не может страна жить без школы, а школа без учителей. Но это было почти невыносимо²⁴, и я понимаю, что юноша и учительница, о которых говорит Г. Померанц, честнее меня.²⁵

5. ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Боюсь, что после приведенных выше примеров самые решительные противники лобовых вопросов раньше, чем успеют себя одернуть, воскликнут: "Что делать?!!" Не знаю, что делать, но знаю, что нельзя делать вид, будто не существует различия между тупиком и трудными обстоятельствами. Подозреваю, что мода иронизировать над вопросами, истязавшими совесть наших дедов, — это симптом затянувшейся духовной реакции на провалившуюся утопию. Реактивное мышление не знает других траекторий движения, кроме маятниковых. Поэтому оно сердится на вопросы, а не на ответы. Трагедия возникает не тогда, когда история почему-либо ставит вопрос: "С кем вы, мастера культуры?" Драма разворачивается, когда в решающий момент мастера культуры отвечают на этот вопрос готовностью остаться при социально опасной силе. Что с того, что они пытаются, попав под ее власть, сохранять позу иронического внутреннего нейтралитета? Практически оставаться нейтральными после победы тоталитарной власти они не могут. Мастера культуры тоталитаризму нужны. Он весьма озабочен их послушанием и умело заставляет их пустословить или лгать, петь или плясать при казни их собственных, все еще зрячих душ.

Быть "ни с кем" можно только до прихода хозяина, который ничей независимости не допускает. Когда он приходит, вопрос о выборе образа жизни и путей творчества превращается в вопрос о выборе между рабством, смертельным риском и "полной гибелью всерьез", как писал Б. Пастернак. Г. Померанц несколько раз уличает поборников антипалачества, в том числе А. Солженицына, в реактивности мышления. Между тем сам он, того, по всей вероятности, не сознавая, демонстрирует перед читателем трагические симптомы духовной реакции на события последнего века российской истории.

Эта история ознаменована культом революционных дейст-

вий. Нынешняя реакция на ход и последствия двухвекового романа между русской мыслью и революционными утопиями Запада преисполнена для оппозиционных интеллектуалов СССР прежде всего отвращением к революционному действию. Но эта реакция неоднородна. В ней, как во всякой реакции такого исторического типа, заложены противостоящие одно другому начала. Одно из них — жажда осмыслить случившееся. Другое — абсолютное отталкивание от всего того, что абсолютизировалось акцией, принесшей столько несчастий.

Г. Померанц ощущает себя беспристрастным осмыслителем глубинных основ бытия и человеческой психологии. Со стороны же, в его рассуждениях с удивительной явственностью проступает реактивное отталкивание заблудившейся мысли от обманувших ее абсолютов — к противоположащим абсолютизациям. Мир погублен культом действия и выбора? Значит, истина в абсолютном бездействии и непредпочтении! Один из главных признаков маятниковой траектории ре-активных эмоций, влекущих за собою и мысль, — неразличение разнотипных явлений, стремление найти для разнородных задач единый алгоритм решения.

Приведу пример.

Во времена Маяковского, броская метафора "...его ни объехать, ни обойти, единственный выход — взорвать!" — была катастрофически ложной. Выиграли те народы, которые не взорвали, а реформировали вполне проходимый квазитупик ранних стадий экономической и политической ("конкурентной") демократии.

Реактивное мышление, испуганное событиями 1917 года и их последствиями, отказывается от ложной — тогда! — формулы ("единственный выход — взорвать!") навсегда, принципиально.

Причем отказ совершается именно в тот момент, когда в результате ненужного (тогда) взрыва образовался тупик не мнимый, а настоящий²⁶. Реакция не желает видеть, что сложилась система, по отношению к коей в принципе, в перспективе этот максималистский вывод: ее "ни объехать, ни обойти, единственный выход — взорвать!" — к великому несчастью для всего человечества, верен. Иной способ устранения тупика может подсказать лишь чудо.

Неотличение квазитупиков (затруднительных, чрезвычайных сложных ситуаций) от тупиков (безвыходных ситуаций) — одна из особенностей мышления ре-активного, то есть антагонистически привязанного к акции, его породившей. Россий-

ская интеллигенция искони, то с большими, то с меньшими основаниями, а то и вовсе без таковых, вопреки исторической логике и своим интересам, сочувствовала "левым", чем способствовала неким роковым событиям²⁷. Какой мы делаем из этого вывод? Одни — долой интеллигенцию! Другие — долой политическое мышление "мастеров культуры" как таковое, вне зависимости от его содержания. Это ли не реакция мысли?

Радикальная интеллигенция 1860—1910 гг. хотела разрушить все старые формы жизни и построить новую жизнь. Результаты известны. Следовательно — "надо просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям" (Г. Померанц). Следовательно — не надо менять формы жизни, а исключительно только улучшать, цивилизовать себя и через себя — жизнь.

Нет, не следовательно.

В советской жизни, в коммунизме как таковом нет здоровых и продуктивных начал, которые могли бы быть поддержаны и развиты мастерами культуры, а в деятельности российских правительств и российского общества 1860—1917 (до 25 октября) гг., как и в нынешнем западном демократическом мире, они были. Вот в чем принципиальная разница.

И если мы не просто марионетки, привязанные к маятнику массового среднестатистического миропонимания или к неким куда более греховным силам, эту разницу видеть мы обязаны.

6. КОММУНИЗМ И АНТИКОММУНИЗМ

Когда А. Солженицын говорит, что коммунизм есть "мировое зло огромной ненависти и силы", зло, враждебное "любой нации", любому народу²⁸, — это ясно, и не надо подменять один предмет разговора другим.

"Мировое зло", в его понимании и ощущении, — тоталитаризм как таковой. Поэтому он заведомо не предполагает и не предлагает новых (русских) гитлеров в качестве альтернативы коммунизму.

Вообще из всего, что пишет и произносит А. Солженицын, никак не следует, что отрицание им одного мирового зла

неизбежно ведет к реактивному влипанию лбом в стенку другого, лишь геометрически противоположного первому, а на деле ему тождественного мирового зла. Это отшатывание от коммунизма к нацизму продельывает за А. Солженицына Г. Померанц, доводя — в своей критической интерпретации — отвращение Солженицына к коммунизму до его эмоционального и логического предела, каким он представляется Г. Померанцу. Между тем нацизм и коммунизм для А. Солженицына находятся на одном и том же нравственном и социальном полюсе. И отталкивание от их насильственной сути приводит его отнюдь не к замене мирового коммунизма русским нацизмом, а в другой тупик: в тупик абсолютизации ненасилия (во всяком случае, так было до сих пор)²⁹. Переход массы русских и нерусских (кроме евреев и цыган) советских граждан на сторону Гитлера Солженицын воспринимает как историческую и нравственную трагедию³⁰, а не как выход.

Однако лишь немногие читатели возьмут на себя труд проверить и исследовать во всей ее сложности позицию А. Солженицына в этом вопросе. Большинство (как и я) привыкло верить оценкам Г. Померанца. Значит, "2 — 0" в его пользу: еще одна (вспомните "самодержавие правды") отрицательная эмоция по отношению к Солженицыну обеспечена. Впрочем, обеспечено и алиби Г. Померанца. Он не сказал прямо, что Солженицын предпочитает Гитлера Сталину. Логические ходы: Солженицын считает коммунизм абсолютным злом; следовательно — все разновидности антикоммунизма для него благо; гитлеризм есть один из видов антикоммунизма; значит, для Солженицына он тоже должен быть благом. Таковы типичные ходы всякой "истребительной полемики" (Ленин), для которой победа дороже истины и которая работает лишь "на публику", а не на обращение оппонента к истине. Но ведь это не Солженицын, а Г. Померанц не видит другой реальной траектории для антикоммунистической мысли, кроме отвергнутого им колебания между "черными дырами" двух разноименных тоталитаризмов.

Альтернативы: "коммунизм — демократия западного образца" или "тоталитаризм — реформаторская (в направлении демократии) авторитарность" Г. Померанцем не исследуются. Между тем А. Солженицыну ближе всего вторая альтернатива: твердая, честная власть, способная к раскрепостительной реформации, но не допускающая анархии, ведущей опять к тоталу. Поскольку Г. Померанц в 1978-м году (!) приводит в качестве примера и основания для надежды на перерождение коммунизма эволюцию западных

компартий, я опять на западного же мыслителя и сошлюсь³¹:

"В исторической перспективе я могу видеть ревизионизм только как иллюзорную попытку исправить неисправимое, и поэтому в ходе диалектики истории я вижу в нем очень хитрого (хитрость духа у Гегеля) помощника тоталитаризму.

Абстрактный гибрид "демократический социализм" заключает в себе, несмотря на всю прельстительность, чудовищное противоречие или, вернее, он потому так прельстителен, что он мнимо чудесным образом разрешает и примиряет несоединимые феномены демократии и тоталитаризма.

Если привести к простому знаменателю, следует сказать: в социализме нет никакой демократии, и в демократии нет социализма. Социализм связан железной логикой с так называемой диктатурой пролетариата, с насильственной ликвидацией частной собственности, с руководящей ролью насильственно ликвидирующих собственность организаций, с тоталитарным аппаратом власти, который делает все это возможным.

Вы, конечно, можете отвергнуть эти мои тезисы, несмотря на исторический опыт, но тогда у Вас останется только один путь, путь утопии, находящийся вне истории. Конечно, в мире утопии, в мире отчаянной надежды, иррациональной логики и бесчеловечной человечности можно представить себе мирное сосуществование между социализмом и демократией, между рабством и свободой... Хотя можно представить себе, может быть, реально, не утопично, совместную жизнь между волком и ягненком, тигром и зайцем, но совершенно не возможно без ужаса думать о конкретной реальности противоречивой тождественности, называемой "демократический социализм".

Но как раз то, что об априорной предпосылке метаноии (полного внутреннего поворота) людей умалчивается и одновременно она втихомолку включается в концепцию, характеризует эту систему как чисто утопическую и одновременно косвенно манихейскую, так как в ней заключается противоречие совершенного человека, который втайне предполагается, с безусловным осуждением испорченного человека капитализма. По сравнению с этим капитализм представляет собою систему чистого позитивизма и прагматизма (так же и в отношении оценки человека), тоталитаризм же — систему чистой бесчеловечности, создаваемой с помощью позитивизма и релятивизма испорченного человека.

Так понятая система советов была бы пригодна разве что для ангелов или в исключительных случаях для святых.

Еще одно замечание: диктаторский режим, который введен в Чили после свержения Альенде, не должен Вас удивлять, так же, как и то, что Солженицын говорит об авторитарном режиме после предположительного отклонения марксизма (не только ленинизма) в России. Из тоталитарных или предтоталитарных режимов нет легкого перехода к демократии. Я даже думаю, что и в Чехословакии в 1948 г., если б коммунистический путч был предотвращен, надо было бы временно ввести авторитарный режим. В Вашей стране демократия Аденауэра стала возможной не только после полной капитуляции нацизма, но и под до известной степени авторитарным покровительством США в первое время. Гораздо логичнее был переход от нацизма к большевизму на почти тождественной плоскости тоталитаризма в восточной части Вашей родины. И я не вижу ни малейшей аналогии между свержением Альенде в Чили и оккупацией Чехословакии. Если мы уж хотим делать сравнения, то мне кажется, что гораздо больше общего между Чехословакией 1948 г. непосредственно перед коммунистическим захватом власти и положением Альенде в Чили. В обоих случаях дело шло о попытке при помощи СССР ввести в стране тоталитарную систему, с той только разницей, что чехословацкий генерал Свобода, в лояльность которого неопытный Бенеш твердо верил, был на самом деле испытанным коммунистическим агентом, тогда как в Чили армия, к счастью, имела достаточно сил, чтобы ровно в 12 предотвратить стереотипно организованный коммунистический захват власти".³²

Взгляд Р. Прайзнера на авторитаризм как на динамичную альтернативу тотала, пожалуй, наиболее близок А. Солженицыну.

Интеллектуал и демократ Рио Прайзнер рассуждает на том же концептуальном языке, что и Г. Померанц. Казалось бы, Прайзнер должен был быть им услышан. Он, правда, обращается не к российским, а к европейским интеллектуалам, надеющимся на либерализацию коммунизма или на построение "настоящего", т. е. демократического, социализма. Западные оппоненты Р. Прайзнера не хотят "сталинизма", но смертельно ненавидят все то, что ими обозначается как "правизна". Фактически Г. Померанц стоит на позиции того западного мышления, которое парадоксальнейше повторяет все комплексы, иллюзии и заблуждения левоориентированной российской интеллигенции начала века. И — что весьма симп-

томатично — набор воззрений западных и советских западного образца интеллектуалов³³ обязательно сопрягается с тенденциозным прочтением Солженицына и с неприязнью к нему³⁴, тогда как почвенничество со ксенофобией объединяются отнюдь не всегда.

Еще одна непостижимая для меня вещь. Г. Померанц с такой категоричностью не приемлет социальных позиций, связанных с международным словообразующим элементом "анти", что всякая "антипозиция" ассоциируется в его восприятии с антихристом: "Мне приходила в голову мысль, что сама сущность антихриста — в упоре на "анти"³⁵.

Неужели сущность "антихриста" в том, что он против ("анти"), а не в том, что он против Христа: Добра, Правды, Спасения?

В своем неприятии "антипозиций" Г. Померанц настолько широк (поистине безграничная "широта" — вплоть до отсутствия взглядов — тоже один из стандартов модернизирующего мышления, о котором я говорю), что не приемлет не только антикоммунизма, но и антифашизма.

"Где-то в большом, сложном, запутанном мире коммунисты так же вдохновляются борьбой со злом, как антикоммунисты. И антикоммунисты так же стерженеют, так же сатанеют от своего антикоммунизма, как коммунисты — от своего антиимпериализма, антифашизма и т. п. И нельзя преодолеть зло, не избавившись от всех анти, от захлеба борьбы. "Антипалач" несет в себе заряд остервенения, который завтра породит нового палача. Нужно не "анти", нужно "а", т. е. "не" (ненасилие, недвойственность; с "не" начинаются многие превосходные идеи, с "анти" — ни одной. "Анти" — слово техническое: антибиотики, антифриз — средство против узко определенного зла. Антибиотики в организме оказались небезопасны. В царстве духа анти вовсе не подходит).

На дне бытия зла нет. Есть разные виды добра, сталкивающиеся и уравновешивающие друг друга. Откуда же берется зло, в котором тонет мир? От остервенения в борьбе за свое частное добро"³⁶.

Позволю себе возразить, что не мы выбираем в своем антифашизме и антикоммунизме позицию "анти", которую Г. Померанц отпугивающе связывает с антихристом. Это коммунизм и нацизм запрещают кому бы то ни было пребывать в позиции "не", уже одним этим фактом ставя неприсоединившихся в позицию "анти". Партократия безвыходно организует жизнь так, что тот, кто не с ней, тот против нее. А

тем, кто против нее, она существовать не разрешает. Разумеется, в зоне для нее досягаемой.

В. Пирожкова пишет:

”Покойный Ю. Б. Марголин писал, что он — не католик, но и не антикатолик, он — не буддист, но и не антибуддист и т. д., но почему же он не может быть только некоммунистом, не будучи антикоммунистом? Потому, что коммунизм сам не нейтрален по отношению к тем людям, которые его не хотят. Он протягивает захватническую и душашую руку к ним всем, он хочет покорить и подчинить их всех себе силой. Вот почему недостаточно быть только некоммунистом, а надо быть антикоммунистом”³⁷.

Нацизм тотально, то есть независимо от взглядов и поведения представителей наций, подлежащих уничтожению, истреблял евреев и цыган. Будучи всего-навсего ненацистами, а не антинацистами, вы всего лишь не участвовали бы в истреблении цыган и евреев, — если бы вам позволили в нем не участвовать. Но вам не позволили бы. И, кроме того, неужели вас удовлетворило бы одно лишь пассивное участие в геноциде? Вам не было бы невыносимо тяжело смотреть на происходящее? Я понимаю, что все мы пережили и переживаем состояние позорного бессилия воспрепятствовать злу, но неужели оно совместимо с чувством внутренней свободы, достоинства, с возможностью развития (чего?)?..

Кстати, Г. Померанц с нацистами воевал, а не уговаривал моих и своих истязаемых и убиваемых соплеменников и родственников прощать нераскаявшихся палачей. Это было дело уничтожаемых — прощать палачей или призывать на них отмщение в свой смертный час, а не наше дело. И в годы сталинщины К. Померанц был в тюрьме и в лагере, а не среди палачей. Как же ныне антипалач уравнивается им с палачом?

Односторонности и угрожающим потенциям всякого ”анти” Г. Померанц противопоставляет спасительный ”внутренний поворот каждого человека к свету”.

Но ведь на априорной предпосылке конечного поворота каждого человека к правильному (?) образу мыслей и к правильной (?) жизни основаны все варианты утопических идеальных обществ! Такой поворот называется метанойей. И порок расчета на метанойю (в социально-исторической плоскости) состоит в том, что, во-первых, само понимание ”света” (”правильности”) определяется в данном случае далеко не непогрешимыми устроителями ”идеальных” обществ, а во-вторых, истребить человеческое разномыслие, человеческую разнокачественность на земле невозможно.

Опыт свидетельствует, что самые обыкновенные, земные, несовершенные люди на одной и той же грешной планете живут все-таки очень неодинаково. Граница между разными существованиями иногда рассекает один и тот же народ (ФРГ и ГДР, КНР и Тайвань и т. д.).

Порой это бывает очень отчетливая хронологическая граница: нацистская Германия — ФРГ; демократическая Чехословакия — "протекторат" Богемия и Моравия; независимая и оккупированная советами и нацистами Польша; Россия — и СССР, Камбоджа до Пола Пота — и при нем. Примеры бесчисленны.

Кроме того, в одних общественных обстоятельствах работа во имя обращения как можно большего числа людей к духовному и нравственному свету возможна, а в других — невозможна или чрезвычайно затруднена.

Поэтому пытаться противопоставить солженицынскому горению незамутненно-надмирные фразы о "повороте всех людей к свету" — задача неблагодарная. Для того, чтобы камбоджийцы зажили хотя бы так, как японцы, а россияне — хотя бы так, как жители ФРГ, всеобщего внутреннего просветления не надо. Достаточно возродить в этих странах нормальную правовую плюралистическую ситуацию, которая дает людям возможность защищать свои интересы. Да и на всей планете и без торжества всеобъемлющей метанойи весьма и весьма просветлело бы, избавься она от коммунистических попечений о ее "повороте к свету".

Солженицын над тем и бьется, чтобы ослабела опасность гибели, идя, как все мыслители такого масштаба, то сквозь прозрения, то сквозь заблуждения (сквозь удачу и неудачу). А Г. Померанц с непостижимой (для меня) слепотой к происходящему печется о том, чтобы умолк, хотя бы на время, — этот — один из немногих — могучий голос, сумевший докричаться до не утративших слуха:

"Кажется в жизни часто бывают положения, когда действовать — грех, и не действовать — тоже грех; иногда я действовал и принимал на себя грех действия, а иногда бездействовал и принимал грех бездействия. Незначительные масштабы событий не опьяняли, и время от времени возникало чувство, что все эти грехи, словно шарик, висят на моей шее. К сожалению, в большой истории легче запутаться. Масштабы так велики, что жернов превращается в пьедестал, и герой, встав на него, заживо бронзовеет. И тогда уже не сознает, что благими намерениями вымощен ад.

Если бы Александр Исаевич увидал вдруг все эти опас-

ности, он наверное замолчал бы, а потом стал писать иначе, другое. И может быть написал бы Исповедь человека, поднявшего меч. Это была бы замечательная книга” (Г. Померанц).³⁸

И тут как-то загадочно-необъяснимо ускользает и от Г. Померанца, и от привычно расположенного к нему читателя, что А. Солженицын поднял всего-навсего перо, а не меч.

Ад коммунизма уже построен. Он безостановочно ширится. И при этом он остается вне поля критики и даже иронии Г. Померанца. А весь огонь обрушивается им на тот проблематичный ”ад”, который еще только может вырасти из антипалаческой страстности А. Солженицына. И каяться должен опять-таки Солженицын, поднявший всего лишь голос в защиту и в память жертв, а не убийцы десятков миллионов его сограждан!

Г. Померанц говорит:

*”Если история — уголовное преступление, то все исторические народы заслуживают казни; и, может быть, она совершится, — в XXI или другом веке. Только что здесь хорошего? Пусть лучше восторжествует не справедливость, а милость. И остаемся со страданиями неотмщенными... или все погибнем.”*³⁹

Отлично: пусть ”восторжествует не справедливость, а милость”. НО: мы, что же, находимся уже в позиции, когда палачи, обезвреженные, ждут то ли возмездия, то ли милости? Идеи, подвигнувшие народы на тотальные преступления XX века, УЖЕ развенчаны? Они перестали действовать, и теперь надо только иметь достаточно великодушия, чтобы о них забыть и помиловать тех, кто сегодня маскирует свои преступления возвышенной фразеологией утопии-оборотня? Уже не горит над каждым из нас: ”КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ, И КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС”? Мы НЕ ЗНАЕМ, что делать, чтобы народы избежали казни, но ведь знание и незнание — это совсем другая проблема, чем та, которой подменяет заботу, владеющую А. Солженицыным, Г. Померанц!

Сентенции Г. Померанца претендуют на великодушие, но и это подмена. Даже ряд подмен. Это похоже на христианское всепрощение, но это не христианство, ибо христианство запрещает самоубийство и прощает раскаявшихся, а не палачествующих. И у Солженицына речь идет не об отмщении, а о спасении — живых и имеющих еще жить на Земле.

А. Солженицын ищет не ”козла отпущения”, а ответа на изводящий всех нас вопрос: почему это случилось? И

еще — почему свободные люди рвутся в ту же ловушку? Ответы могут быть верными и неверными, но он их ищет!

С одной стороны, Г. Померанц без конца повторяет, что и коммунистов, и нацистов, и их противников обрекают на палачество их благие намерения. А посему никакие намерения не гарантируют от того, что носитель их завтра не озвереет. При этом непременно подчеркиваются благие намерения коммунизма.

С другой стороны:

В пароксизме борьбы зло становится мнимо всемогущим, и возникает тот дьявольский пафос, который орвелловский О'Брайен объясняет своей жертве в Министерстве Любви:

"Власть не средство, она цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а наоборот, революции создаются для установления диктатуры. Цель гонений — гонения. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть..."⁴⁰

Во-первых, относительно "мнимого всемогущества" зла. На Земле, в мимолетности одной человеческой жизни и в преходящем существовании народов, государств и цивилизаций, зло может быть и всемогущим — в убийстве, в уничтожении, в разрушении. Поэтому человек, не впадающий в грех готовности на свое и чужое самоубийство, о мнимости всемогущества зла должен говорить осторожно.

Во-вторых, все было бы слишком просто, если бы орвелловский О'Брайен, обо всех судящий по своей подлой душе, был прав.

Гонения, пытки и тотальная власть, к несчастью, возникают даже тогда, когда установление диктатуры первоначально воспринимается утопистами лишь как инструмент, как средство, как преходящая печальная необходимость для построения идеального общества, а не как самоцель.

Ни реакция Тьера на первый коммунистический путч Парижской Коммуны (отнюдь не имевший благой перспективы), ни авторитарность оккупационной политики США в побежденной Германии не превратились в увековеченное пыточное всевластие. Здесь, как и везде у Г. Померанца, обобщение неоднородных явлений приводит к ложному выводу⁴¹.

7. ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ

Естественно, что центральных противоречий антикоммунистической позиции А. Солженицына Г. Померанц не видит. Возможно потому, что для него это проблески правоты, а не противоречия.

Когда говорят о необходимости (для еще свободного мира) сопротивления тоталитаризму, то рано или поздно встает вопрос о сопротивлении действием, а не только словом. Для партократии ее пропаганда, ее управляющая массовым и индивидуальным поведением ложь — это всего артподготовка перед физической эскалацией. Кроме того, коммунизм прорастает и изнутри демократии.

А. И. Солженицын с начала своей услышанной миром проповеди твердит, что "коммунизм останавливается только тогда, когда встречает стену..."

Но с того же момента, когда он был услышан, он повторяет и оговорку: "...хотя бы стену неколебимой воли".

Каков же реальный смысл этой не услышанной Г. Померанцем оговорки (а ведь и до 1978 года А. Солженицын делал подобные оговорки неоднократно)? Перед таким беспощадным, аморальным, агрессивным нападающим, как партократия, чем и как должна быть подкреплена "стена неколебимой воли", чтобы партократия в нее уперлась?

В том же монологе "Коммунизм у всех на виду — и не понят" (январь 1980) сказано, что Запад должен объединить против коммунизма усилия "политиков, дипломатов и военных".

Как должна реализоваться "неколебимая воля" "военных"? Означает ли это, что А. Солженицын готов отказаться от абсолютизации ненасильственного сопротивления?⁴²

Если речь идет пусть о сплошной, но пассивной стене людей, готовых недвижно стоять насмерть под огнем любой плотности, то на земную победу этим волевым людям надеяться нечего. Танки пройдут по ним, ядерное оружие просто испепелит все живое.

Если же речь идет о земном одолении "устрашающих военных сил коммунизма" (военных сил!), то для чего оговорки типа "...хотя бы стену неколебимой воли?"

В отличие от Г. Померанца, А. Солженицыну ясно, что мюнхены только углубляют тупик. Но и он не говорит последнего слова: защищаться ли от "устрашающих военных сил

коммунизма” военными средствами или только стоять на смерть? Потрясенный партократическим насилием и от него отвращенный, он многократно отказывался в своих декларациях от применения против коммунизма военной и революционной силы. Как нам узнать: в любых обстоятельствах и при любом повороте событий? Солженицын во всей совокупности своих работ на этот вопрос не отвечает. Страстная и деятельная натура влечет его на сторону лиц и групп, способных сопротивляться, защищаться и опережать готовящееся нападение. Жажда обнаружить земной поведенческий абсолют, пригодный для всех случаев жизни, постоянно сталкивает Солженицына, как в свое время Толстого и Достоевского, с самим собой. Ибо речь идет о борьбе с противником, строящим свою стратегию на применении силы. Любые иные факторы для этого противника несущественны. ЛОЖЬ — да, но ложь для партократии лишь артподготовка и вспомогательный инструмент насилия. Солженицын говорит только о правде и о ”стене неколебимой воли”. Но его оппоненты, стоящие, казалось бы, на той же стороне рва, что и он, упорно уговаривают его отбросить ”меч” и предаться покаянному прощению пропевающих палачей — НЕПОСТИЖИМО!

У диссидентов и эмигрантов нет никакого физического оружия. А хоть и было бы? Зачем оружие горстке людей? И даже Слово — их единственное оружие — почти ”не задействовано”, ибо у них нет денег и средств информации для доведения Слова до его адресатов.

Но не приспело ли время, может быть, последнее, перестать твердить о ненасильственном, только ненасильственном, исключительно ненасильственном сопротивлении? Хотя бы в наших обращениях к тем, у кого есть армии, оружие и деньги для распространения Слова? Разве мы НЕ ЗНАЕМ, что миролюбием, не подкрепленным силой, ОНИ СЕБЯ НЕ СПАСУТ?

Н. Я. Мандельштам во ”Второй книге” пишет:

”Я бесповоротно отказываюсь от самозащиты, но другим этого делать не советую... Рекомендую осторожность и самозащиту” (стр. 568).

Человек, спасший (для нас, а не для его и свой земной жизни) Осипа Мандельштама, волен не отдалять свою встречу с ним, в которую верит. Но людям этот героический человек завещает ”осторожность и самозащиту”.

И еще:

”... Но все же и во мне теплится надежда (она затухает

каждую секунду и скоро потухнет совсем), что испытания, пережитые человечеством, не пропадут зря. Но каждый день подрывает надежду, потому что новые поколения на Западе (а старые? А на Востоке? — Д. Ш.) ничему не верят и не хотят задуматься о чужом опыте⁴³. Их слепота, равнодушные и идиотический эгоизм приведут Запад к тому, что мы испытали, только сейчас это несравненно опаснее, хотя бы потому, что не локализуется в определенном участке, а распространяется и покрывает всю Землю отрядами, которые по заданиям начальства стреляют в окна, в людей, в душу человеческую, надевают на мыслящую голову китайскую каменную шапку, проламывающую череп, и рубят кисти рук тем, кто играет на рояле (582) ”.

“...Я хочу знать... Почему оно⁴⁴ не успело ничего противопоставить проповеди зверства? ...В чем были роковые ошибки прошлого у нас и в чем они сейчас на Западе? Не идет ли растлевающее влияние не только от арагонов и сартров, но и от ”охранителей”, берегущих свое здоровье, покой, удобства и делающих ставку на счастье для себя, на свое собственное пищеварение?” (стр. 589).

Именно это хочет понять и Солженицын, зарывающийся на десятилетия в документы истории⁴⁵ и делающий свой каждый (часто — спорный, иногда и для него самого переходящий, промежуточный) вывод достоянием читателей.

Г. Померанцу А. Солженицын кажется похожим (интеллектуально и психологически) на Ленина. Мне представляется, что, будь у Солженицына, как видится многим, в том числе и Г. Померанцу, характер Ленина, он занимался бы сейчас без всякой оглядки на историю, философию и теорию только сбиванием профессиональной заговорщицкой партии, а не архивными материалами русского и советского прошлого. Ленин никогда всерьез историей не занимался. В зрелом возрасте он не верил в большую часть того, с чем обращался к массовому читателю. Ленин совершенно а-теоретичен и сознательно бесцеремонен в обращении с фактами.

Солженицын, спеша использовать каждый чудом отведенный ему на постижение истины час, ощупывает исторический лабиринт зловещей эпохи. Немудрено, что очертания лабиринта в его представлении от книги к книге в чем-то меняются.

Как уже говорилось выше, Солженицын, вопреки своему характеру, не решается рассматривать и пропагандировать какие-то формы силового сопротивления коммунизму.

Ленин же бросался в бой, если мало-мальски ясно представлял себе хотя бы 2-3 ближайших тактических хода. Хода

к чему? Всегда к одному и тому же — к власти своих абсолютных единомышленников, то есть к своей власти: "Сначала ввязаться в серьезную драку, а там посмотрим!.." — вот кредо Ленина (см. "Письма к Суханову "О нашей революции")).

Г. Померанц Лениным, как и русской историей, а также стадийным сравнением русской истории с историей Запада профессионально, по-видимому, не занимался. Он отдает дань поветрию и занимается обобщениями вне доказательной фактографии и сравнениями без основательного сопоставления. Поэтому "ясным истинам" в данной его статье взятая неоткуда. Остаются истины, настолько "глубокие", что в них тонешь, не разобравши в чем утонул.

8. О ЖАНДАРМАХ И "МИРОВОМ ДОБРЕ"

Попробую разобраться еще в нескольких обобщениях Г. Померанца. Его шокирует "Мировое Добро в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло"⁴⁶. Эта ирония адресована тем, кто не одобряет ухода США из Вьетнама, а Франции — из Алжира.

*"Мой великий оппонент хотел бы Мирового Добра в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло. Это очень популярный образ доброго правления; но Франция уступила Алжиру и Штаты — Северному Вьетнаму, хотя имели техническую возможность раздавить своего противника. Надо было лишь внутренне перестроиться, встать на позиции пролетарского гуманизма (если враг не сдается, его уничтожают). Запад на это оказался неспособен"*⁴⁷.

И опять — передержка. Ситуации "США — Вьетнам" и "Франция — Алжир" не тождественны: уход из колонии (о целесообразности которого тоже можно поспорить: Алжир превращен в просоветское агрессивное, почти тоталитарное государство) или отступление на границе между двумя мирами — не одно и то же. США воевали не только с Северным Вьетнамом, а с КНР и СССР, стоявшими за его спиной. Г. Померанцу ли об этом не ведать? Поэтому речь шла об очень серьезной битве. Уход США из Вьетнама убил половину населения Камбоджи, уничтожил полностью народ мео, массу лаосцев и вьетнамцев, привел к тегеранской и афганской трагедиям и приблизил Америку к выбору куда более страшному, чем

тот, перед которым она стояла во Вьетнаме. Уйдя из Вьетнама, США как раз и встали "на позиции пролетарского гуманизма", предав гуманизм как таковой. Да и себя заодно. Кончать прерванный бой придется теперь в Западном полушарии, и как бы не на территории США. Отстаивали уход из Вьетнама слепорожденные американские "левые", сидящие в уютных домах с телевизорами и разъезжающие на собственных автомашинах под защитой презираемой ими полиции. Геноцид против народа мого и тонущие в океане вьетнамские беженцы их настроения не ухудшают. Но Г. Померанц, по всей вероятности, еще не забыл, как выглядит война на своей территории, которая приближается к западным демократиям, в том числе и к США?

"По-прежнему справедливость мыслится как зло за зло, око за око, зуб за зуб. Выход за рамки реактивного мышления был бы концом истории, началом какого-то совершенно нового общественного бытия, или даже нового космического бытия — как в "Сне смешного человека". Сегодня мы не дошли до этого, и потому точка зрения Александра Исаевича имеет достоинства, неотделимые от ее недостатков: она в ладу со временем и вдохновляет на великие исторические подвиги. Напротив, моя точка зрения ставит вне исторического процесса. Она делает подозрительным к богатырям и заставляет предсказывать, что Геракл перепьется и постреляет собственных детей, что П. Якир и В. Красин доступны растлению ничуть не меньше, чем герои революции..."

*Вступив в полемику, я мучительно сознаю опасность собственного красноречия (оно не раз уже толкало людей совсем не туда, куда мне хотелось). Я вспоминаю Тютчева: мысль изреченная есть ложь... И голос мой от этого пресекается. У меня нет уверенности, что каждое мое слово служит Добру. И я прошу читателя возвращаться от частных суждений к целому, от буквы к духу, против которого не дай мне Бог согрешить."*⁴⁸

Мне очень неловко от сознания, что я могу ошибиться именно в своем отношении к духу высказываний Г. Померанца. И я заранее прошу в этом прощения. Но чтение всякого текста начинается с его буквы. П. Якир и В. Красин, на мой взгляд, отличаются от "героев революции" тем, что были сломлены, тогда как те ломали других (и создали ситуацию, в которой людей ломают). Нормальная же человеческая выносливость не рассчитана на испытания, постигшие П. Якира и В. Красина, и вообще на единоборство с пар-

тократией. Ссылки на людей, сломленных советской охранкой, в качестве довода против антикоммунизма (именно по духу таких апелляций) не убедительны. Это — доводы против коммунизма. Геракл, конечно, может и "перепиться", и "перестрелять своих детей", но и любой ущемленный и уязвленный мозгляк может сделать то же. Для этого не обязательно быть героем. Слабые и униженные часто отыгрываются на еще более слабых. Так что это не довод против героев, а мутноватой воды риторика.

Главная же мысль (дух?) высказывания Г. Померанца сводится к идеализации не только недействия, но и небытия.

Прямо сказать, что недействие (в данном историческом случае) обеспечивает хотя бы надежду "быть красным, но не мертвым" ("besser rot als tot"), он не решается. Он несколько раз говорит о возможности общечеловеческой гибели и о предпочтительности такого исхода сопротивлению. Конечно, "можно сказать, что врагов вообще нет, что это ложное положение, созданное ложно направленным умом" (Г. Померанц), — сказать все можно. Но как мне это сказать, когда в мирном городе даже не спровоцированные на отчаянные акции люди⁴⁹ среди бела дня стреляют в автобус со школьниками? Софистика Г. Померанца сводится к одностороннему разоружению. И это действительно будет "концом истории". "С точки зрения вечности"⁵⁰ все пустяк. Но измерение "тревог времени" (от которых Г. Померанц все-таки "неспособен совершенно освободиться") исключительно в категориях вечности так же бессмысленно, как принятие гвоздя в своем башмаке за проявление "мирового зла".

Чрезвычайно причудливо связаны в монологе Г. Померанца правда и правдopodobие:

"Реактивное мышление возникает на том уровне, где целое утрачено разумом. Истина, добро и красота отделились друг от друга, перестали быть именами единого Бога, стали предметами, ничего не знающими друг о друге. И все ценности стали атомами, замкнутыми в себе. В этом ложном мире страстное стремление к полноте бытия принимает форму фанатизма: одна частная ценность утверждается, как вся истина, а противоположная отрицается, как чистая ложь.

Реактивное мышление становится великой силой, когда человечество (или какая-то группа людей) опасно приближается к Сцилле; и оно право, предупреждая, что дальнейшее движение к Сцилле ведет к смерти. В этот миг не до тонкостей, не до оттенков. В этот миг надо кричать во всю

глотку, как гуси, спасшие Рим: назад! Красный свет! Череп и две скрещенные кости! Таков голос Александра Исаевича в "Архипелаге". Но проходят годы, десятки лет, и вопль истины становится воплем лжи. Потому что напротив Сциллы — Харибда. Потому что непреклонный антикоммунизм так же опасен как непреклонный антифашизм; и национализм, к которому Александр Исаевич возвращается, ничуть не менее разрушителен, чем интернационализм. Первую мировую войну, с которой все началось, весь "настоящий XX век", развязали не интернационалисты..."⁵¹

Но "интернационалисты" во главе с Лениным, начиная с 1914 года, упорнейше сражались с любыми проявлениями пацифизма в социал-демократической (международной) среде. И трудно найти в русской публицистике документы, близкие (по их цинизму и бесчеловечности) к тем письмам Ленина 1914—1917 гг. к его соратникам (Шляпникову, Коллонтай и др.), в которых он вопиет о пользе для социалистической революции самых бесчеловечных поворотов войны и о катастрофичности для нее же любых переговоров о мире. Эти письма имеются во всех пяти советских изданиях сочинений Ленина и представляют собой увлекательнейший материал для чтения, но КТО ИХ ЧИТАЕТ? Впрочем, Солженицын — читает. А Г. Померанц?

О реактивном мышлении я уже писала выше.

Но "весь "настоящий XX век" начался не с первой мировой войны (мир переживал уже страшные войны, в том числе в Европе, причём куда более долгие). "Весь "настоящий XX век" начался с провала утопии, бездумно и безответственно вознамерившейся уничтожить плохой и создать идеальный мир. Утопия эта была теснейше связана с экономическими основами жизни. Очевидно, поэтому и Г. Померанц не может оставить их в стороне.

* * *

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ "КРЕДО" Г. ПОМЕРАНЦА

Об экономическом аспекте Г. Померанц рассуждает настолько поверхностно, что можно было бы о нем и не упоминать, если бы не все та же ухмылка утопии-оборотня, которая так часто выглядывает из-за его риторики:

”Мировой кризис 1929—1933 гг. показал, что либеральная экономика изжила себя, что без каких-то сдвигов к государственному регулированию производства нельзя обойтись. Сейчас, в 70-е годы, надвигающийся мировой голод говорит о необходимости какого-то нового, интернационального регулирования. Но горький опыт России, бросившейся в регулирование безо всякого удержу, без оглядок на исторически мыслимый оптимум, привел И. Р. Шафаревича к мысли, что социализм — воля к смерти, а Солженицын примерно в том же винит воплощение интернациональных идей.

И. Р. Шафаревич приводит в пример древние царства, которые погибли, потому что довели регулирование до аракеевских высот административного восторга. Но гораздо больше царств погибло от недостатка регулирования, от анархии. Одна из причин, по которой русский народ многое прощал Грозному, — это память об удельных распрях.”⁵²

Прежде всего, *”горький опыт России”* еще продолжается, и, главное, СССР его распространяет на остальной мир, в котором весьма сильны просоциалистические иллюзии. Мне уже однажды доводилось писать⁵³, что именно коммунизм (национализаторский социализм) исключает внесение в экономическую жизнь реалистического планирования с *”оглядками на исторический оптимум”*. Мысль же о том, что сегодня необходимо *”какое-то новое, интернациональное (курсив мой, Д. Ш.) регулирование”* (при том неразличении способов демократической и партюкратической регуляции экономики, которое проявляет здесь Г. Померанц) вообще устрашающа. Нефтяной шантаж не может быть снят *”государственным регулированием”* производства и продажи нефти, да еще в интернациональных масштабах (создание еще одного сверхмонополиста типа ОПЕК над ОПЕК?). Идеальный способ снятия подобного шантажа демонстрирует история каучукодобывающих районов мира. Суть его — в изыскании западным обществом собственных резервов горючего. Палиативные способы заключаются в ответном экономическом давлении на нефтяных шейхов, причем в давлении неотвратимом, в категорическом исключении ситуации политического шантажа со стороны нефтедобывающих стран. Для всего этого необходима решимость и осознание безвыходности бездействия⁵⁴.

Мне тоже, как и Г. Померанцу, очень далек и кажется необоснованным взгляд И. Шафаревича на психологическую этиологию социализма.

Я полагаю, что это взгляд поверхностный, тенденциоз-

ный, с научной методологией данной проблемы имеющий мало общего. Мне уже не раз приходилось текстологически доказывать, что развитие национализаторских социальных утопий стимулируется не мистическим "инстинктом смерти", а стремлением (можно называть его искушением) раз навсегда упорядочить, переделать, "правильно" "рассчитать" и "хорошо" устроить нашу общую жизнь. Но в том, как Г. Померанц относится к заблуждению И. Шафаревича, явно проглядывает та же тенденция, что и в случае с Якиром и Красиным, в котором сломленные приравниваются к ломающим. И. Шафаревич ошибается, но ошибается он, пытаясь противодействовать социализму, остановить его. Этики социализма он не приемлет. А Г. Померанц, отвергая взгляды И. Шафаревича и А. Солженицына на происхождение социализма, демонстрирует действительную волю к смерти, да еще не к своей (это было бы его личным делом), а всего исторического человечества. И опять из-за его плеча удовлетворительно щерится утопия-оборотень.

"Нравственно то, что полезно революции" — идея, имевшая сперва благородную редакцию, мученическую редакцию. Ради революции шли на виселицы, сжигали себя, как исторический Мышкин (революционер, а не персонаж Достоевского). В истории христианства прошло несколько веков между мученичеством и сожжением еретиков (мешал образ Христа). В истории русской революции мученики очень быстро стали мучителями. Но логика одна и та же: ad maiorem gloriam Dei. Александр Исаевич подчеркивает, что марксизм — ложная вера, а православие — вера истинная. Гораздо важнее другое — свобода от остервенения, от пены на губах в утверждении любой истины и желание понять своего противника. "С этой точки зрения, в споре Т. Ходорович с Л. Плющом я иногда готов встать на сторону Плюща; он больше хочет понять свою оппонентку (не требуя от нее перемены веры), чем она его (непреренно требуя, чтобы он растоптал ногами Карла Маркса)..."⁵⁵ — Примечание Г. Померанца".

В споре о вере ложной и истинной мне непонятно само сопоставление социальной доктрины с религией. Зверствование церковей возникают тогда, когда их земные отцы начинают присваивать себе функцию светского утопизма — насильственную перестройку людей и жизни соответственно своим критериям. Вырождение революционных мучеников в мучителей происходит тогда, когда задача революционеров не имеет решения. Об этом мы уже говорили.

Разумеется, "свобода от остервенения" и "желание понять своего противника" важны всегда. Но понять — не всегда значит принять и смириться. Изучая марксизм 37 лет (и по сей день), я тоже не принимаю марксистских сентиментов Л. Плуща и твердо уверена, что они исходят из недостаточного знания им Маркса. Не бывает "любой истины" — бывают более или менее удовлетворительные приближения к Истине (с разных сторон и в различных аспектах) и безнадежные, непоправимые уходы от Истины. К числу последних принадлежит, к несчастью для человечества, и марксизм. Всякое серьезное, полное прочтение его источников и собственных текстов лишь утверждает, а не разубеждает в этом выводе.

Ни Маркс, ни Ленин коммунистами не "были поставлены на голову". При ином подходе, чем у Ленина — к утопии Маркса, а у Сталина — к наследию Ленина, нельзя было ни попытаться воплотить в жизнь нечто заведомо в нее невоплотимое, ни укрепить и отстоять возникшее в этих попытках чудовище.

*"Идеи Маркса дали толчок, который привел к Архипелагу. Но при этом Маркс, а отчасти и Ленин, были поставлены на голову. Маркс говорил о насилии как повивальной бабке истории, но он не предлагал тащить человека гинекологическими щипцами через всю жизнь до могилы... Поэтому Солженицын не совсем прав, начиная историю Ахрипелага с 1918 г."*⁵⁶

Это замечание тоже может быть объяснено плохим знанием первоисточников. Маркс и Энгельс предусматривали целую историческую эпоху насилия и революционных войн. Социализм (коммунизм) должен был, по их схеме, победить в международном масштабе. При этом Энгельс писал об уничтожении целых наций, которые окажутся стоящими на пути у коммунистической революции, например, чехов. О целой эпохе кровавого насилия писали и Ленин, и Троцкий, и Бухарин. "Весь мир насилья мы разрушим до основанья" — не преувеличение и не метафора.

Речь идет (в десятках вполне однозначно звучащих пророчеств, рецептов и рекомендаций) о насилии, разрушении, уничтожении, ломке всего "старого мира" и лишь после этого — о лепке "нового человека" и новых форм жизни. Неужели Г. Померанцу "основоположники" кажутся настолько слепыми, что он предполагает в них веру в почти ненасильственное (только "толчок") осуществление такой программы? Не "человека" предполагали они "тащить гинекологи-

ческими щипцами через всю жизнь до могилы”, а человечество — до торжества коммунизма во всем мире. Это они и осуществляют, хотя наполнение термина ”коммунизм” для Брежнева, вероятно, иное, чем для Маркса.

Но какая в том разница для поработаемых? Сравнивая и стараясь уравнивать в масштабах и побуждениях белый и красный террор времен гражданской войны, следует помнить, что у белых не было такой задачи, которая потребовала бы в случае их победы перманентного насилия над всем обществом. Зато их поражение стало условием террора непреходящего и неустрашимого. Даже Ленин писал о ”20-ти — 40-ка годах белогвардейского террора” в случае реставрации, понимая, что вечным этот террор не будет. А тут уже 63, и конца не видно. О том, что существование Архипелага (не книжного, а исторического) Г. Померанц счел возможным сузить до рамок сталинщины, я уже писала. Прав в этом споре не Г. Померанц, а Солженицын.

История ”Архипелага” действительно начинается с 1918 года, ибо уже в первых своих декретах Ленин постулировал ”революционное правосознание” вместо закона, принудительный труд с жесточайшими карами за уклонение от него, реквизицию продукта труда и имущества граждан и столь широкий набор поводов для репрессий, что сразу же возникла необходимость в концлагерях. Примерно тогда же Троцкий доказывал (с присущей ему заразительной имитацией революционного пафоса), что мнение, будто принудительный труд не производителен, есть предрассудок. Военские части, отрезанные от тыла ”заградотрядами”, отлично сражались. А уж под конвоем трудиться, как он прозорливо предположил, они тем более станут и смогут.

”Лагерное рабство как способ производства” было следствием именно того ”революционного сочетания энтузиазма с террором”, которому Г. Померанц выдает нечто вроде индульгенции. На самой вершине большевистской иерархии даже летом 1917 года никакого энтузиазма не было (перечитайте открытые материалы истории КПСС и сочинения Ленина). В толще народа и в массе образованных классов его было мало.

После победы октябрьского путча руками функционеров, мобилизованных и сравнительно немногочисленных энтузиастов⁵⁷ меньшинство сначала дезориентировало, дезорганизовало, втянуло в гражданскую войну, а затем терроризовало большинство народа, которое сопротивлялось, поставляя кадры для лагерей. Использование рабского труда заклю-

ченных определялось не "сознательным выбором Сталина". Оно явилось следствием (и неизбежным) непрерывной войны коммунистов со всеми слоями колонизируемой ими страны — войны, включавшей в свое время и борьбу внутри партии.

Да и не безразлично ли, энтузиазм, или расчет, или комбинация того и другого лишают людей свободы всюду, где утопия-оборотень вступает в свои права? Если энтузиазм, то губительный; если расчет, то преступный.⁵⁸

Г. Померанц счел возможным лишить Архипелага даже Китай с его примерно ста миллионами разными способами репрессированных людей.

Архипелаг — собирательное название места принудительного пребывания, заключения и рабства людей (в тюрьмах, в лагерях, в ссылках, в "шарагах", в психзастенках и даже под домашним арестом — пример А. Д. Сахаров... Рабство везде рабство). И даже — запертых в границах страны, которую неслучайно начали называть "большой зоной". Уверена, что часть эмигрантского потока обусловлена несовместимостью человеческого достоинства с подданством у закрытого на замок государства. И если "в Китае было несколько гигантских волн террора, но основные формы — другие: интеллигентов посылали на перевоспитание в деревню и роль вертухаев играли простые крестьяне. Экономические задачи решают не лагеря, а нечто вроде трудармий (Китай кое в чем разыгрывает дебют Троицкого)"⁵⁹ — то китайцам от этого не легче, чем русским. И приворожить антикоммунистов к коммунизму это никак не может.

И уж совсем непонятно, к чему подводит читателя Г. Померанц в следующем утверждении:

*"Лагерное рабство достигло масштабов "уклада" или "способа производства" только еще в одной империи, не коммунистической: в Третьей империи Адольфа Гитлера. Яростный антимарксизм Гитлера строил лагеря смерти ничуть не хуже, чем яростный марксизм Сталина. Марксисты и националисты старомодной европейской выделки приходили к власти и уходили от власти, но власть не становилась для них напитком ведьмы, и на их совести нет ни Колымы, ни Майданека."*⁶⁰

Итак, а) Гитлер — антимарксист; б) Гитлер строил концлагеря. Следовательно?.. Подспудная логика тут должна быть такова, что лагеря могут строить и антимарксисты (ранее упоминалось, что нацизм — это тоже антикоммунизм).

А вот европейские социалисты их не строят, хотя и могли бы.

Но ведь Гитлер это и есть европейский социалист, пришедший к монопартократической власти⁶¹. А "марксисты и националисты старомодной европейской выделки" к однопартийной внеконкурентной власти ни разу не приходили. И только это спасает западную Европу "от Колымы и Майданека"⁶².

*"Существование Архипелага, строго говоря, не доказывает тождества социализм — Архипелаг и невозможность демократического социализма, основанного на другом прочтении Фурье, Сен-Симона и Маркса. Развитие свободного капитализма тоже не обошлось без рабства (в колониях, например, в южных штатах Америки). Я не думаю, что рабство негров справедливее рабства з/к. И по масштабам — 3 млн. рабов! — американский Архипелаг сравним со сталинским. Читая книгу о Джоне Брауне, я невольно сравнивал ее героя с Солженицыным. Та же заикленность на своей освободительной идее. Та же ярость борьбы..."*⁶³.

"Строго говоря", "тождество социализм — Архипелаг" и "невозможность" "другого" прочтения Фурье, Сен-Симона и Маркса", как и многих других социалистов, доказаны как теоретически, так и экспериментально в XIX-XX столетиях. Допустим, что Г. Померанц мог не читать работ, посвященных этому. Но не знать, что рабство в Америке было отменено как раз развитием американского капитализма, он не может. Здесь тоже ясно ощутим лишь словесный, риторический параллелизм, призванный вызвать определенные эмоции у читателя.

Боюсь, что вторая центральная мысль монолога Г. Померанца (первая — Солженицын страшной коммунизма) заключена в маленьком, вроде бы безобидном замечании, затерявшемся среди намеков на близость между антимарксизмом и гитлеризмом:

*"Злодействовала не идея (национальной самобытности или вселенского братства), а ярость, развязанная на полях первой мировой войны. Злодействовал гнев, переставший быть святым и искавший нового предмета ненависти, перебирая старые счета..."*⁶⁴.

Итак, идеи коммунизма и нацизма (а не "национальной самобытности" и не "вселенского братства") ничем особенным от хороших вещей, помещенных в скобках, не отличаются? Не имеют особенностей, обрекающих их воплотителей на злодейство? "Ярость, развязанная на полях первой миро-

вой войны”, ответственна за Колыму, Майданек, ”укрут-ку” всех видов и национальных моделей? Злодействует седь-мое десятилетие не ”идея”, а первая мировая война?

То же самое говорил о светлой идее коммунизма в свое время И. Эренбург:

”Нет, идее не был нанесен удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.”⁶⁵

Право, это всего лишь беспринципная казуистика.

Какой идее не был нанесен удар? Какая идея не несет ответственности за преступления партократий XX века? Какие и с кем ”старые счета” сводят идеи, лежащие в осно-ве расизма и коммунистической партократии?

Итак, вторая из двух целеполагающих мыслей, лежащих в основе статьи Г. Померанца: коммунистическая идея как таковая не скомпрометирована попытками ее воплощения в жизнь. А эта мысль, кстати, в мире достаточно популярная, страшна теми последствиями, которые из нее вытекают. Она подвигает к новым, ”лучшим”, попыткам воплощения злока-чественной идеи в жизнь.

И. Эренбургу реверанс перед неуязвимой идеей продик-тован предупредительной самоцензурой. Это понятно. Но если, находясь ”там”, нельзя печататься даже ”здесь”, не уклоняясь так непоправимо от истины и от логики, то лучше не печататься ”здесь”. Ибо тому, что с таким риском печатается ”здесь” или обращается в Самиздате, люди привыкли верить. Поверить же, что по прошествии двадцатилетия, отде-ляющего статью Г. Померанца от мемуаров И. Эренбурга, человек с остроумием и эрудицией Г. Померанца может искренне отстаивать ту же мысль, что и Эренбург в приве-денном выше отрывке, очень трудно.

И поэтому — все-таки — С КЕМ ЖЕ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬ-ТУРЫ?

ж-л ”Голос Зарубежья” №№ 20 и 21, 1981.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цитаты из Г. Померанца, не оговоренные особо, взяты из упомянутой выше статьи в "Синтаксисе" № 6, стр. 13–87.
2. Бедные деревенские яшинские "рычаги" когда-то вешали: "Правда, она, брат, свое возьмет, она прогремит!.."
3. Пожалуй, с вопросом: "Кто виноват?" я тоже готова расстаться. Но вопросы: "Что виновато?", "Как это вышло?" и дважды безнадежно скомпрометированное "Что делать?" – продолжают (какую) меня волновать. Более того: они меня преимущественно и занимают.
4. Мне, например, и эта методика, и этот человек далеко не всегда близки, но в том, что он занят мучительным и важнейшим для людей (и себя) делом, у меня никогда сомнения не возникало.
5. В итоге статей Г. Померанца и А. Янова, помещенных в журнале "Синтаксис" №6.
6. При этом националистические переборы Солженицына отнюдь не рассматриваются как простительный и понятный "эмоциональный всхлип" (Г. Померанц) типа "Россия – сука" у А. Синявского. Говорю об этом в примечании, ибо и Г. Померанц оправдывает "эмоциональный всхлип" А. Синявского в примечании. Ничего не имею против этого объяснения. Хочу, однако, заметить, что А. Солженицын ни разу к равному по силе экспрессии "эмоциональному всхлипу", например: "Бей жидов – спасай Россию!" – не приближался. Ни прямо, ни в подтексте своих произведений. Ему же это почти откровенно приписывается.
7. В том же № 6 "Синтаксиса" А. Янов обозначает эту смелую и оригинальную мысль вполне однозначно: "Дьявол меняет облик".
8. Мне безразлично, именуется ли партократия свою задачу "мировой революцией" или маскирует ее какой-то иной фразеологией. Важно, что поглощение еще не проглоченного – способ существования реального коммунизма.
9. Г. Померанц, Неопубликованное, изд.–во "Посев", 1972, стр. 83–84. Цит. по ст. В. Пирожковой "Веточка в растворе" Г. Померанца. Проблема интеллигенции", "Зарубежье" № 1 (33), март 1972, стр. 10–11.
10. Термин Г. Померанца.
11. "Синтаксис" № 6, стр. 19, 20.
12. Хотя налицо и этапы в Потьму, и чудовищность неспособной прокормить себя хлебом советской коммунистической державы конца XX века.
13. Цит. по ж-лу "Зарубежье" № 4 (48), стр. 4, 1975.
14. Утопии иначе как в виде и в сути вурдалаков-оборотней не реализуются.
15. Цит. по ж-лу "Зарубежье" № 4 (48), стр. 4, 1975.

16. Цит. по ж-лу "Зарубежье", 4 (48), стр. 4
17. Г. Померанц — там же.
18. "Зарубежье", сентябрь—декабрь 1974, стр. 30; № 3—4, стр. 43—44. Комментарии редакции журнала "Зарубежье", объясняющие конкретные детали ссылок Р. Прайзнера, я опускаю: не в них суть.
19. М. Поповский. "Вавилон", отрывок из книги. Альманах "Память", вып. 3, стр. 334.
20. Люди, познавшие "обе" жизни (в СССР и на Западе), могли в этом убедиться на опыте — если они не слепы.
21. "Тетрадь на столе", ж-л "Время и мы", №№ 52, 53, 55.
22. Н. Я. Мандельштам, "Вторая книга". Изд. 1979 г.
23. В. Буковский, "И возвращается ветер", стр. 182—183.
24. См. ж-л "Время и мы", №№ 34, 52, 53, 55.

25. 10 октября 1980 года в советской газете "Пионерская правда" была напечатана статья Л. Корнеева "Ложь ради денег и власти", беспрецедентная по своей погромщицкой откровенности. Учитель истории и классный руководитель обычно обязаны комментировать в классах газетную информацию. В этой статье, в частности, было сказано: "Рвутся бомбы и снаряды в Ливане — наживаются банкиры Лазары и Лейбы. Бандиты в Афганистане травят газом школьников — множатся пачки долларов в сейфах Лимэнов и Гугенхаймов. Понятно, что для сионизма главный враг — мир на земле.

...Президент Картер под их давлением запретил доставку в СССР зерна и технического оборудования.

...Все больше людей на земле начинают понимать: сионизм — это фашизм сегодня.

...Идет урок в израильской школе. Называется он уроком "национального сознания". Учитель спрашивает: "Как быть с арабами?" "Убивать" — хором отвечают ученики."

Тот же автор поместил более развернутый вариант этой статьи в "Красной звезде" — газете для военнослужащих.

Если учитель, не желающий лепить из советских детей погромщиков и чудовищно клеветать на евреев, на Израиль и на еврейских детей, скажет об этой статье правду, такой урок станет его последним уроком в советской школе. За увольнением последует какой-то из видов "укрутки". Как быть учителю? А ведь это самая что ни на есть будничная школьная ситуация. Как тут сохранить "внутреннюю свободу"?

26. При таком подходе к событиям очень важно утвердиться во мнении, что и демократия никуда не годится, ведь тогда не стоит ради нее рисковать жизнью. Вспомним, что говорит Г. Померанц: "На Западе люди, может быть, менее несчастны; но прямого счастья и у них нет. Главная забота, главная задача на Востоке и на Западе одна и та же." (См. "Зарубежье", № 4 (48), 1975 г., стр. 4). Будь это так (а это — относительно "главной заботы, " — к счастью не так), уже это "менее" и было бы тем глотком воздуха, который

позволяет дышать в условиях демократии, и отсутствие коего не позволяет существовать (без смертельного риска) в условиях тоталитарных.

27. Я не рассматриваю здесь вопроса о том, могла ли Россия 1916 года выйти из своего квазитуника без крушения, но предполагаю, что могла. Однако, когда Г. Померанц говорит об англосаксах: "Они просто защищали свои традиционные вольности — и добились, шаг за шагом, всего, что было нужно. По крайней мере, в защите от политической тирании", — и проводит в подтексте аналогию между ними и современными подданными Кремля, становится страшно. Ведь автор не может не понимать, что у советских людей, в отличие от англосаксов и даже российских подданных 1860–1910 гг., нет вольностей, которые им следовало бы защищать!
28. Солженицын не ответственен за своих эпигонов. Сам он в этом утверждении не делает из своего обобщения исключений.
29. Подробнее об этом ниже.
30. Уверена, что если бы немцы второй мировой войны относились к евреям и цыганам хотя бы так же, как к другим народам СССР, относительное число евреев и цыган, перешедших на их сторону, было бы не меньше числа представителей других народов СССР, поддержавших немцев из ненависти к коммунизму.
31. Рио Прайзнер — чешский профессор, живущий сейчас в США и занимающий кафедру в Пенсильванском университете. Из Чехословакии он эмигрировал в 1968 г. Прайзнер дает во многом иную картину "Пражской весны", чем та, к которой мы привыкли. Его анализ тоталитаризма и ревизионизма весьма глубок, и к нему стоит прислушаться. Р. Прайзнер является автором книги "Критика тоталитаризма", вышедшей в 1974 г. в Риме на чешском языке в издательстве "Христианская академия".
32. Журнал "Зарубежье", сентябрь-декабрь 1976 г., стр. 26, 28, 29, 31.
33. Когда я говорю о серийности модернизирующего (ибо действительная новизна здесь не присутствует) мышления, я имею в виду не масштабы дарований и образованности. Как в большинстве направлений мысли, тут есть свои великаны, лилипуты и середняки. Я говорю о стандарте подхода и отклика. Ибо различия и новизна присущи лишь манере выражения, а не позиции.
34. Ждать от современного коммунизма эволюции (по аналогии с европейской социал-демократией) — занятие не более серьезное, чем неприятие Г. Померанцем солженицынского призыва "Жить не по лжи" на том основании (он говорит об этом мимоходом, но он о многих важных вещах в своей статье говорит мимоходом), что Сталин спекулировал словом "правда". Что с того? Сталин — спекулировал, а Солженицын не спекулирует. Разумеется, Г. Померанц прямо этого и не утверждает. Он лишь упоминает, что о правде можно и лгать. Как Сталин. И опять возникает чисто риторич-

ческая симметрия (Сталин и правда — Солженицын и правда; Сталин о правде лгал; а Солженицын?..), которая бросает на Солженицына некую эмоциональную тень. Я не считаю А. Солженицына непогрешимым учителем жизни и тем более — непогрешимым политиком и вообще не представляю себе учителей и политиков непогрешимых. Но все эти риторические фигуры полемическим приемам Г. Померанца убедительности не прибавляют.

35. "Синтаксис", №6, стр. 12.

36. Там же.

37. "Зарубежье", декабрь 1975, № 9 (48), стр. 6.

38. "Синтаксис", № 6, стр. 57—58.

39. Там же.

40. "Синтаксис", № 6, стр. 20.

41. Я не буду входить в гипотезу возможного (или предначертанного) "конца истории" (Г. Померанц), "бушменизации" мира и возвращения человечества из истории в "этнографию". Хочу лишь заметить: не надо об экологии. Меньше всего именно этот довод может служить в пользу "бушменизации" или диктатуры, якобы замедляющих индустриальную эксплуатацию природы, о чем упоминает Г. Померанц. Мало-мальское приближение к первостепенно сложной экологической проблематике исключило бы эту его ссылку. Диктатура неизмеримо интенсивней эксплуатирует природу, чем пытается уравновесить эту эксплуатацию. "Бушменизация" может замедлить экономический кризис только при камбоджийском решении демографической проблемы: резкое уменьшение народонаселения, скачкообразное снижение потребностей, возвращение к неолитическим формам существования. Нынешнему народонаселению Земли "бушменизация" просуществовать не позволит. Тем более не обеспечит она — так же, как и диктатура — свободы духовного самосовершенствования и "тихого движения внутрь", ибо добывание хлеба засушливого опять начнет занимать весь световой день, а всю световую ночь придется спать без просыпа. Кроме того, подсечное и гаревое (после выжигания леса) земледелие и истребляющее растительность примитивное скотоводство экологически не безобиднее, чем хищничество современной цивилизации. Всмотритесь в экологические обстоятельства Африки и арабского Востока и сравните их с экологическими успехами хотя бы маленького воюющего Израиля. При сохранении современной численности человечества вывести его из современного экологического кризиса могут только наука и технология более проницательные, дальновидные и гуманизированные, чем нынешние. Поистине удивительно тщание, с которым Г. Померанц не упускает ни одного возможного, как ему кажется, довода, способного подкрепить неприятие демократии диктатуре, борьбы — недействию, напирания сил — забвению об угрозе.

42. Эмоционально, внутренне, он никогда этого принципа не абсолютизировал. См. хотя бы страницы о лагерных восстаниях, стукачах и кровной мести горских племен в "Архипелаге". Но декларативно во всех своих публикациях, затрагивающих этот вопрос, он отказывается от военного, силового сопротивления коммунизму. Впрочем, американские военные, отдающие себе отчет в опасности нынешнего соотношения военных потенциалов СССР и США, понимают А. Солженицына вполне однозначно — как друга страны, которую он стремится побудить к эффективной самозащите. "Новое русское слово" (от 12.6.80 г.) в статье "Кризис американской безопасности" приводит высказывания американского отставного генерала Элбиона Найта. Генерал Найт, дающий серьезный анализ современного состояния американской безопасности, опирается, помимо убедительной статистики и данных о психологическом климате американского общества, еще и на ряд высказываний А. Солженицына. "Запад теряет нервы, а всякая нация, теряющая нервы, — гибнет. ...Коммунизм остановится только перед мощной стеной сопротивления ему. Но Запад теперь избегает создать такую стену, а время подходит к концу," — так звучит А. Солженицын в восприятии и пересказе Э. Найта. И такое понимание возникает все чаще. На этом фоне какой-то малопривлекательной симптоматикой "отдает" усиливающееся неприятие А. Солженицына частью эмиграции и внутренней неподцензурной, как следует думать, литературы.
43. А мы — о своем? недавно один честный, смелый и самоотверженный человек писал мне, что посылка в лагерь или семье арестанта полезнее всех сочинений о коммунизме. Но посылки начали массово возвращаться и просто не доходить. Мои — во всяком случае. А слепота, о которой говорит Н. Я. Мандельштам, грозит привести к тому, что посылки неоткуда будут посылать. Посылки и сочинения о коммунизме не заменяют и не исключают друг друга. И нам вряд ли следует спорить о том, что полезнее — витамины или теория относительности (спор примерно столь же целесообразный и логически законный).
44. Речь идет о поколении Н. Я. Мандельштам.
45. Не связана ли вдруг оживившаяся и в западной прессе, и в некоторых русских изданиях (я, разумеется, не имею в виду Г. Померанца) кампания против Солженицына с тем, что, во-первых, усилился объединительный, а не разъединяющий элемент его выступлений против коммунизма, а во-вторых, с тем, что он готовит издание сразу нескольких новых исторических романов? Ведь, в отличие от надмирных и надтенденциозных философов, наш главный, и, надо надеяться, общий оппонент зорок и бдителен. Сейчас самое время дискредитировать Солженицына как мстительного обскуранта и ксенофоба.
46. Интересно, почему Г. Померанца не шокирует (или тоже шокирует?) образ обыкновенного полицейского, милиционера или жандарма,

оберегающего нормальных людей от воров, хулиганов, бандитов, террористов etc?

И так ли уж плох был бы совокупный "мировой жандарм", который не позволил бы коммунистам оккупировать Афганистан? Или раннее Венгрию и ЧССР? Или — завтра — Польшу? Впрочем, какое там "завтра"? Не с конца ли 1940-х годов оккупирована Восточная Европа?..

47. "Синтаксис", № 6, стр. 22.
48. Там же, стр. 23.
49. Г. Померанцу их неспровоцированность на это неочевидна, а нам здесь очевидна. И убийца, кстати, не приговорен к смерти. Исключение (смертный приговор) сделано только для Эйхмана.
50. С которой Г. Померанц великодушно готов забыть "публицистику Солженицына".
51. "Синтаксис" № 6, стр. 28–29.
52. Там же, стр. 29–30.
53. См. ж-лы "Голос Зарубежья" №№ 10, 11, "22" № 6 и "Время и мы", № 57.
54. Переход на жидкое топливо с использованием собственных запасов угля продемонстрировала в свое время нацистская Германия и демонстрирует сегодня ЮАР, где более 30% потребности в жидком топливе удовлетворяется за счет перегонки угля.
55. "Синтаксис" ; №6, стр. 30–31.
56. Там же, стр. 41.
57. Как это ни парадоксально, энтузиасты появились на стороне большевиков в основном уже после их переворота, в результате серьезной идеологической работы "верхов" и прессы.
58. Г. Померанц ссылается на Югославию, где, по его словам, есть социализм, но нет ГУЛага (полицейский террор он игнорирует). Его и здесь опровергает профессор Р. Прайзнер, по словам которого "неизбежно фарисейский образ" "демократического" социализма "предлагает нам югославская система, затянувшийся период "висящего в воздухе" перехода к тоталитаризму, система, сохраняющаяся благодаря вывозу рабочих за границу и диктаторской власти Тито. "Зарубежье", декабрь 1974 г., стр. 29). Естественно, что столь межумочное состояние возможно надолго лишь для малой страны.

В последнее время появились в прессе сообщения и о существовавшем в течение всей диктатуры Тито югославском "Архипелаге–ГУЛаге", спрятанном на наглухо закрытых островах Адриатического моря, — не таком большом, как в СССР, но не менее страшном.

59. "Синтаксис" № 6, стр. 42.
60. Там же.
61. Если Г. Померанц сомневается в том, что Гитлер — социалист и что антимарксист он постольку, поскольку Маркс — космополит (интернационалист) и еврей (еврей — для Гитлера, ибо для себя он антисемит и немец), пусть перечитает "Mein Kampf" и десяток — другой нацистских газет. Или хотя бы следующее:

”...7. Мы требуем, чтобы государство взяло на себя обязательство в первую очередь заботиться о заработке и пропитании граждан.

9. Все граждане должны обладать равными правами и нести равные обязанности.

10. Первым долгом каждого гражданина должен быть творческий труд, умственный или физический. Деятельность отдельного лица не должна нарушать интересов общества, она должна протекать в рамках целого и на пользу всех.

13. Мы требуем огосударствления всех уже (до сих пор) обобществленных производств (трестов).

15. Мы требуем широкого и систематического обеспечения престарелых.

23. ...Газеты, нарушающие интересы общественного блага, подлежат запрещению. Мы требуем законодательной борьбы против направления в литературе и искусстве, вносящего разложение в жизнь нашего народа, и закрытия издательств, которые нарушают вышеприведенные требования.

24. Для проведения всего этого мы требуем создания сильной центральной государственной власти, неограниченной власти центрального парламента над всей империей и над всеми ее организациями.

Вожди Германии обещают неукоснительно бороться за осуществление вышеприведенных требований и в случае необходимости пожертвовать за нее собственной жизнью”.

”Социалист – это тот, кто готов стоять за свой народ всеми фибрами своей души, кто не знает более высокого идеала, чем благо своего народа...”.

Соавтор приведенных выше тезисов и автор последнего отрывка – Гитлер. Цитирую по книге А. Белинкова ”Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша”, Мадрид, 1976.

62. Г. Померанц ссылается на израильские кибуцы и на марксизм в Израиле, не породившие, несмотря на их социализм, Архипелага. Кибуцы свободны от государственного диктата и независимо выходят на внутренний и международный рынок. А марксизм пытался, но не обеспечил себе в Израиле ”монополии легальности” (как и ни одна другая идеология). Так что пример неудачен: в Израиле пока что партократического социализма нет. А уж коммунизма – тем более.
63. ”Синтаксис” № 6, стр. 43.
64. Там же.
65. ”Люди. Годы. Жизнь.”

В одном эмигрантском журнале обозвали как-то другой журнал "Мюнхенской правдой". Думаю, что это название совсем не компрометантно: в Москве правду публиковать нельзя; поэтому советская "Правда" иначе, как в кавычках, ни с прописной, ни со строчной буквы ("правда") писаться не может. А в Мюнхене правду (уже и пока еще) печатно провозглашать можно. Поэтому не позорно и не абсурдно именоваться "Мюнхенской правдой".

Когда я узнала об этом квазиполемическом выпаде, мне пришло в голову, что каких-нибудь тридцать шесть — сорок пять лет тому назад в Мюнхене не могла бы быть обнаружена неокавыченная правда о тогдашнем германском правительстве, его доктрине и присущих ему способах управления. И современная Бавария по сравнению с Баварией нацистского периода предстала передо мной как утешительное перевоплощение одной социальной структуры в инокачественную социальную структуру, хотя и построенную на этнически тождественном человеческом материале. "Постойте, — слышу я возражения, — до 1933 года Бавария, как и вся тогдашняя Германия, была столь же демократической, сколь и сегодня. Может быть, это и есть национально-органическая форма ее бытия?" Думаю, что читатель предвидит ответную ссылку на нынешнюю Восточную Германию. Недавно мне передали такой разговор: в сегодняшнем Любеке некое собрание слушало лекцию о тоталитарных режимах. По окончании лекции одна из присутствующих в зале дам воскликнула: "Ах, это все так далеко от нас!" На что сидевший неподалеку молодой человек ответил: "Всего в пяти километрах..."

За семнадцать лет (1933—1950) в непосредственной близости друг от друга один и тот же народ сформировал три социальные структуры: национал-социалистическую, демократическую и коммунистическую (интернационал-социалистическую). Ради верности истине заметим, что обе социалистические структуры сводимы к одному типу общественной организации — тоталитарно-партократическому.

Эти образы — Мюнхен веймарских, нацистских и послевоенных (по сей день) лет; четыре Германии (донацистская, нацистская, современная Западная и современная Восточная) ;

два Китая; две Кореи; несколько вариантов Камбоджи; Россия и СССР (список можно продолжить) — всплывают в сознании в связи с тем национал-психологическим фатализмом, который стал сегодня так популярен. Мне представляется, что можно уже говорить о некоей планетарной моде относить все, что происходит с народом, за счет его национальных психологических черт.

О некоторых воззрениях одного такого национал-психологического фаталиста — Александра Зиновьева — я и выскажу здесь несколько соображений.

Я не буду говорить о его книгах как о фактах искусства, хотя мне и представляется, что они чрезвычайно ценны именно в той своей части, которая, будучи легко отделяемой от философской и обществоведческой публицистики, есть знаменательное явление художественной литературы. На мой взгляд, Зиновьев-художник — блестящий словесный маг. Он играет неисчерпаемыми логико-лингвистическими ассоциациями и антитезами. Эта игра ошеломительно воспроизводит фантазмагорию тоталитарного мира посредством виртуозного соударения русского языка с языком советским. Но причудливо-достоверное художественное полотно, которое он выткал, дает лишь срез, а не этиологию советской жизни. Вписанные же в эту картину социально-аналитические экскурсы рвут впечатляющее полотно.

Зиновьев посвятил свою научную жизнь не истории, а логике. Недостаточная фактографическая вооруженность, стремление к универсальной схематизации очень выразительны в аналитической части его работ. Заранее оговорю, что я отнюдь не противник отвлечения и обобщения, неизбежных для аналитического подхода к истории.

Но историческое обобщение должно быть обеспечено необходимым фактографическим основанием. У Зиновьева это далеко не всегда так. Поэтому, например, следующее рассуждение вызывает поток вопросов и возражений.

’Можно дать описание типа цивилизации данного общества, выявить законы функционирования цивилизации этого типа, выявить общие законы всякой цивилизации. Можно установить законы развития общества в рамках цивилизации данного типа и некоторые общие законы такого рода в рамках любой цивилизации. Но не существует никаких законов превращения одного типа цивилизации в другой. Не существует в самой нашей

способности научного изучения общества в силу определенных понятий и методов абстракции, без которых невозможна наука. Не существует (если уж непременно нужны образные иллюстрации) подобно тому, как нет законов превращения мух в слонов, слонов в лошадей и коров, кроликов в львов и тараканов и т. п. На самом деле происходит живой исторический процесс, в котором распадаются одни человеческие объединения и на их месте образуются другие, которые создают, возможно, другой тип цивилизации сравнительно с тем, какой имел место в предшествующем человеческом объединении. Но это и есть превращение одного типа цивилизации в другой. Например, когда рухнула Российская империя, на ее месте образовалась новая человеческая общность. Но она сложилась не по неким мистическим законам перехода от одной общественной формации к другой, более высокого уровня, а по законам складывания больших человеческих объединений в тех исторических данных условиях. И тот факт, что при этом сложилось общество, весьма далекое от прекраснодушных идеалов классиков марксизма, дает тому убедительное подтверждение. Эти идеалы дали лишь словесный материал для идеологии этого общества.”¹

Что означают слова ”тип цивилизации”, ”законы функционирования цивилизации данного типа”? Без определения этих понятий (а эти понятия Зиновьевым не определены) можно ли говорить о ”законах превращения одного типа цивилизации в другой”, о возможности или невозможности обнаружения этих законов, об их объективном наличии или отсутствии?

Каковы необходимые и достаточные параметры для определения ”типа цивилизации”?

Параллель с мухами, слонами, лошадьми, коровами, кроликами, львами и тараканами весьма эффектна, но ничего не прибавляет к содержанию всей тирады. Что может быть общего между превращениями одного вида живых существ в другой, биологически далекий (иного семейства, иного отряда, класса, типа) вид и изменением способа общественного существования одного и того же народа, одного и того же биосоциального вида?

Я повторяю вопрос: каковы типобразующие признаки разных цивилизаций?

Ведь в действительности Зиновьев рассуждает во всех своих книгах не о разных цивилизациях, а об одном и сравнительно недавно сложившемся социальном укладе, возникшем в России, то есть внутри современной европейской цивилизации, и затем распространившемся на часть так называемого "третьего мира". Но и на более или менее архаические основы цивилизаций "третьего мира" наложились в свое время колонизаторские воздействия все той же европейской цивилизации.

Внимательное чтение Зиновьева (я говорю о его теоретических отступлениях) заставляет думать, что цивилизацией, которая, сколько ее ни толки и ни перемешивай, ни во что себе не тождественное не превратится, считает он русское историческое существование. И в современной коммунистической партократии он видит одну из роковых вариаций этой русской цивилизации. Поэтому и не осуществились в России, по его представлению, "прекраснодушные идеалы классиков марксизма".

Я решительно не нахожу возможным прилагать к рассмотрению русской истории и советского партократического режима термин "цивилизация", полагая его слишком широким и слишком расплывчатым для этой цели. И одновременно позволю себе высказать убеждение, что, пройдя сквозь мясорубку гражданской войны, через интермедию НЭПа и ад большого террора, Россия отнюдь не вернулась в какой-то свой прежде для нее характерный статус. Думаю, ни один из приверженцев чисто русской этиологии большевизма не сможет доказательно опровергнуть тот факт, что в течение 1860—1910-х годов Россия (с немалыми осложнениями, эксцессами и рецидивами бесправия для тех или иных слоев и групп ее населения) обогащалась, двигалась по пути быстрого экономического развития и добивалась увеличения суммы общественных и личных прав своих граждан. В один из своих исторических кризисов она быстро вошла в состояние запредельной свободы, перешедшее сразу же в полную дестабилизированность.

Затем так или иначе (абстрагируюсь от исторических деталей) положением овладели марксисты-ленинцы, получившие вскоре возможность проверить на практике "прекраснодушные идеалы классиков марксизма".

В результате применения марксистской исторической схемы к реальной политике возникло общество, прямо противоположное пророчествам и прогнозам марксизма.

Зиновьев (как всякий, кто вопреки историческим доку-

ментам пребывает в плену у концепции российского "тысячелетнего рабства") считает, что в этом повинна специфичность русской цивилизации. Однако очень сходное общество возникло в Германии 1933—1945 гг. в результате приложения к реальной политике другого общества, другого народа, другого государства не "прекраснодушных идеалов марксизма", а отвратительной концепции гитлеризма.

Что лежит в основе этих двух переходов — сходство народов, пришедших к тоталитарной форме существования, или сходство концепций, носители которых овладели социальным существованием своих народов?

Я утверждаю, что сходство концепций, порождающее во всех случаях сходные структурно-организационные принципы.

Если не говорить о таких широких и размытых понятиях, как цивилизация, и рассматривать такие конкретные вещи, как государственный строй, да еще выделить при этом некоторые важные параметры последнего, то становится вполне возможным рассмотреть условия перехода одного типа обществ в другой тип обществ. И оказывается, что среди этих условий есть такие, которым ни один национальный характер не может противостоять, не уничтожив самих условий своего бытия.

Самоочевидно, что в основе цивилизации зиновьевского Ибанска лежат эти условия, а не национальный характер многоплеменных ибанцев и что любая страна, любой народ, по той или иной причине принявшие эти условия, "впадают" в ту же описанную Зиновьевым "цивилизацию". Разумеется, при этом немцы не становятся камбоджийцами, угандийцы — эстонцами, кубинцы — русскими, украинцы — узбеками, евреи — эскимосами и т. д. Но способы их общественного и, в основной части, личного существования в ряде определяющих черт сближаются.

Мне придется привлечь ряд терминов и среди них — предмет планетарной терминологической полемики — термин "социализм". М. Сергеев в "Русской мысли" (№ 3374, 20 августа 1981) в своем отклике на статью А. Федосеева "Альтернативы", опубликованную в журнале "Голос Зарубежья" (№ 20, 1981), определяет социализм так: "Не в собственности дело. Социализм — это максимальное обеспечение жизни рода путем обеспечения составляющим его индивидам наиболее высоких в данных условиях гарантий безопасности, то есть обеспечения от стихийных неприятностей... обеспечения от голода (безработицы), страховки на случай болезни и ста-

рости, страховки от произвола работодателей путем коллективных договоров, общественной и государственной инспекции, участия в управлении предприятием и участия в его прибылях”.

Все, о чем говорит здесь Сергеев, составляет различные стороны жизни современного конкурентно-демократического общества, не уничтожившего частной и групповой собственности на средства производства и политико-идеологического плюрализма. Эти черты демократического существования, как их ни называли бы, суть великие завоевания человека и общества. Но, к сожалению, дело и в собственн о с т и, ибо социалисты и коммунисты, литературные и политические, испокон веков объявили и продолжают считать основой всех социальных бед частную собственность. Но еще нигде и ни разу уничтожение частной собственности или введение тотального контроля государства над частной собственностью не привело к росту правовой обеспеченности подданных государства-экспроприатора.

Сергеев может, конечно, называть социализмом развитую и стабилизированную западную демократию. Тогда мне придется каждый раз оговаривать, что я не этот социализм имею в виду. Но другие социалисты и коммунисты — от Томаса Мора до Леонида Брежнева — считали и считают социализмом строй, уничтожающий политико-идеологический плюрализм и частную, а также независимую групповую собственность. Этот строй называют социализмом во всем мире. Поэтому я заранее обуславливаю, что под социализмом — коммунизмом подразумеваю моноидеологическую партократию и повсеместно вводимый ею монокапитализм, то есть полное огосударствление экономики.²

Почему множество разнохарактерных, разнокорневых, разнопочвенных этносов начинают превращаться в уродливых близнецов, приобщаясь к нацистскому или коммунистическому типу государственной организации?

Так ли уж тут сбоку припеку идеологии национал-социализма, интернационал-социализма (коммунизма), мусульманского клерикал-социализма и любой другой монопартократической государственной диктатуры, осуществляющей три монополии: политическую, экономическую и идеолого-информационную? Ведь даже в безнациональных литературных аллегориях типа замятинского “Мы” или в английском варианте социализма Орвелла эти черты идентичны.

И действительно ли народы выбирают партократическую

систему правления по своей национально-психологической склонности существовать несвободно?

Зиновьев в той же книге иронически перечисляет черты коммунизма в их официальной интерпретации.

”Коммунистический рай и реальность

В учебнике ”Научного коммунизма” написано следующее. При коммунизме все источники общественного богатства польются полным потоком. Осуществится принцип ”от каждого — по способностям, каждому — по потребностям.” Будет обеспечен неизмеримо более высокий жизненный уровень, чем в любой стране капитализма. Труд перестанет быть просто средством заработка. Человеческие отношения полностью освободятся от расчета и корыстных соображений. Человек получит возможность всегда бесплатно получать из общественных запасов все то, что ему нужно для обеспеченной и культурной жизни. Это освободит его от тягостных забот о завтрашнем дне, и он посвятит себя высоким интересам. Всемирное развитие получит свобода личности, а также политические и социальные права граждан. Наступит полное социальное равенство и свобода. Различие в деятельности не будет вести к привилегиям и неравенству владения и потребления. Исчезнет почва для каких бы то ни было мер принуждения. Отношения господства и подчинения окончательно заменяются свободным сотрудничеством. Отпадает необходимость в государстве как политической организации. Методы убеждения полностью заменят административно-принудительные меры воздействия на людей. Общественное самоуправление будет действовать в атмосфере полной гласности, информированности масс о делах общества и чрезвычайно высокой активности людей. Во всю гигантскую силу развернется человеческий разум. Огромных высот достигнет культура характеров и чувств людей. В полную силу разовьются новые моральные побуждения, солидарность, взаимное доброжелательство, чувство глубокой общности с другими людьми — членами одной человеческой семьи. Сплочение, сотрудничество и братство станут принципами отношений между людьми внутри общества и между народами. И так далее в том же духе.”³

Но ведь это не просто манящая маска. Это именно то, что веками, от самых ранних литературных и экспериментальных опытов было истинными целями коммунизма, истинными надеждами его пророков. Именно это и предполагалось построить. Именно это и было с полной искренностью обещано людям в миллионах томов, речей, статей, листовок, трактатов, произведений искусства — каждому на его языке, соответственно его культурному уровню, интересам и целям. Именно этому люди и поверили, а в ряде случаев, как это ни дико, продолжают верить. Соглашаясь на коммунизм, люди соглашались на все эти очень хорошие вещи, а не на перечисленные ниже мерзости. Несчастье увидели только прозорливцы, которых не слушали, ибо слышат, как прарило, тех, кому хотят верить.

”А пока все наоборот. Вопиющее социальное и экономическое неравенство. Массовые насилия. Дезинформация. Обман. Бесхозяйственность. Нищенский жизненный уровень для большинства. Взаимная злоба. Дефицит всего необходимого. Очереди. Полное бесправие. Прикрепление к месту жительства и работы. Злоупотребление служебным положением. Взятничество. Цинизм. Расточительство властей. Гонения на мыслящую интеллигенцию. Насилие над соседними народами. Идиотизм руководства. Славословие. Демагогия. Холуйство. Всеобщая скука. Массовая преступность и т. п.”⁴

Однако, ежели изначально и массово большинство соглашалось на вышеописанные хорошие вещи, а не на описанные чуть ниже плохие, то отпадает по крайней мере соображение о патологической привычке данного народа (и ведь народовто много!) к лишениям, о тяге его к несвободе, о склонности этого народа быть порабощенным. Но эти свойства и тяготения приписываются многими авторами лишь россиянам (а часто среди россиян исключительно русским), всего-навсего первыми рухнувшим в интернациональную ловушку утопии-оборотня. Ведь и Зиновьев, разделив этот удручающе примитивный взгляд на события, неоднократно назвал власть ЦК — ГБ российской народной властью, а реальный советский режим — наиболее соответствующим воле и вкусам народа (народов?) России (СССР?)⁵.

Один герой Зиновьева читает по долгу службы сочинение другого его героя. В сочинении анонимного ”патоантикоммуниста”, по-видимому уже уничтоженного, явственно

звучит голос автора книги "В преддверии рая". О коммунизме сказано, что он ширится и заражает весь мир и что неверие в него тех, кто его испытал на собственной шкуре, его не ослабляет и его распространению не препятствует.

Но коммунизм не только ширится, движется и заражает весь мир, что несомненно, но и развивается изнутри еще не завоеванного им мира на собственной почве последнего. Неважно, как в каждом конкретном случае называется тоталитарный строй: речь идет о тождественных типах общественной организации, точнее, о все более явной динамике перехода к этому типу организации и свободных народов, и вчерашних колониальных. Когда А. Федосеев или А. Югов, или автор этих строк говорят об этой опасной динамике, они имеют в виду отнюдь не те завоевания демократии, которые защищает Сергеев. Переход от демократии к тоталитаризму возникает тогда, когда экономический, политический и идеолого-информационный плюрализм начинают эволюционировать или скачкообразно превращаться в трехсторонний монизм.

Этот переход от плюрализма к монизму, произойди он повсеместно и прочно, может привести и к перерождению такого широкого феномена, как современная цивилизация.

Попавши в тоталитарную ловушку, лица и группы утрачивают возможность противостоять ходу событий без риска погибнуть прежде, чем им удастся что-либо изменить. И эта фундаментальная особенность любой тоталитарной структуры радикально изменяет психологию и этику большинства ее подданных.

Зиновьев считает необходимым изучать советское партократическое общество, начиная с его первичной "деловой ячейки", а не с затронутого выше вопроса о том, кто и как производит массу социально значимых решений для этого общества, то есть как и каким образом соединены и управляются элементарные ячейки тоталитарного общества.

"Первичные деловые ячейки складываются и существуют по определенным правилам, независимо от того, для какого дела они складываются. Характер дела здесь не играет роли. Лишь бы влиятельные силы общества считали это дело нужным и отпускали средства на эту ячейку. Деловая ячейка вообще есть лишь способ, каким та или иная группа людей приобретает средства существования и реализует свои намерения и интересы. Например, какое бы место в структуре об-

щества ни занимала та или иная ячейка, в ней так или иначе имеет место тенденция к независимости руководства от подчиненных и к единоначалию. Так что разговоры о "коллегиальном руководстве" страной — пустая болтовня или констатация временного состояния в руководстве при смене последнего.

Такой путь анализа общества сразу же с первых шагов обнаруживает некоторые очевидные обстоятельства, совершенно не приметные с иной точки зрения. Например, сразу же становится ясной неограниченная власть коллектива ячейки над рядовым индивидом. И переход из одной ячейки в другую не отменяет этой власти в принципе.

Разумеется, социальная структура общества не сводится к ячеечному строению. Здесь следует принимать во внимание и иные аспекты расчленения общества, координации, субординации, иерархии и т. д. его тканей, слоев, органов, организаций. Но путь к систематическому пониманию всего этого начинается с понимания ячейки общества. Подчеркиваю, среднетипичное учреждение страны копирует, отражает в себе, реализует все существенные стороны жизни страны в целом, — отношения господства и подчинения, отношения сотрудничества, иерархию должностей и привилегий, распределение благ, надзор за индивидом и т. д. Если хочешь постичь общество, изучи сначала его клеточку. Я знаю, что не делаю открытия. Известно, например, что для понимания феодального общества надо было начинать с его клеточки — с отдельного помещичьего хозяйства. Я лишь обращаю внимание на нечто очевидное."⁶

Я опасаясь, что Зиновьев в своем (характерном и для формационных моделей марксизма) подходе к тоталитарному обществу со стороны его "деловой ячейки" не только не делает открытия, а, скорее, невольно производит закрытие того, что открывается взгляду при другом подходе — при попытке понять, чем отличается тоталитарное общество как некое системное целое от демократического общества как некоего системного целого.

Ибо "деловые ячейки" того и другого, взятые вне "иных аспектов расчленения общества, координации, субординации, иерархии" и т. п., структурно весьма мало отличаются друг от друга.

Кроме того, с одной стороны, Зиновьев постулирует

”тенденцию к независимости руководства от подчиненных и к единоначалию”, с другой — ”неограниченную власть коллектива ячейки над рядовым индивидом”. При этом, в его представлении, ”общество в целом есть многократно расчлененная сверхячейка”, то есть, по-видимому, и в обществе в целом наблюдается, с одной стороны, ”тенденция к независимости руководства от подчиненных и к единоначалию”, а с другой — ”неограниченная” (заметьте: не ограниченная даже единоначалием и независимостью руководства от подчиненных) власть коллектива, то есть в данном случае всего общества, над его членом.

Я полагаю, что тезис о власти коллектива над его рядовым членом является для любого партократического общества ложным.

Даже чисто логически, в рамках приведенной выше цитаты из Зиновьева, этот тезис опровергается положением о приоритете единоначальника или квазиколлегиального руководства над коллективом. Этот приоритет позволяет начальству откорректировать или изменить любую санкцию коллектива.

Подойдем к вопросу, однако, более широко. ”Заводы, институты, магазины”, многие сельскохозяйственные предприятия, ”школы и т. п.” организованы и структурированы в партократическом и в демократическом обществах весьма сходно. Везде существует и принцип единоначалия, и принцип приоритета воли начальства над волей подчиненных. Но в демократическом обществе, как правило, в о з м о ж н ы:

а) эффективная правовая самозащита подчиненных от превышения начальством своих полномочий, при этом самозащита как индивидуальная, так и коллективная;

б) организационная и деловая самостоятельность локальных ”ячеек” определенных типов как по вертикали, так и по горизонтали;

в) примитивно-демократические организации (преимущественно малых и средних форм, типа кооперативов и т. п.), в которых действительно существует власть коллектива над всеми его членами, какие обязанности они бы по решению коллектива ни исполняли (пример — артели, небольшие кооперативы, кибуцы).

В партократическом обществе не фиктивных горизонтальных взаимоотношений власти и подчинения (меньшинства большинству, одного — группе), как правило, нет. Там существует лишь соподчинение индивидов и групп дан-

ного горизонтального уровня вышестоящему лицу или институции. Зато в этом обществе наличествует особая по сравнению с демократическим обществом направленность конкуренции, делающая сплошь и рядом индивидов одного уровня жертвами друг друга, коллективы — жертвами индивидов и индивидов — жертвами коллективов. Иными словами, и группа может пасть жертвой лица, и лицо может пасть жертвой группы или другого лица. Эти взаимоотношения предопределены особой направленностью конкуренции, характерной для больших и малых⁷ структур тоталитарного типа.

Допустим, что перед нами общество, в котором монополистическим тенденциям ни в экономике, ни в политике, ни в области производства информации и ее обращения не удастся удушить плюрализм и конкуренцию. Несколько партий наперебой предлагают свои программы избирателям. Тысячи поставщиков товаров, услуг, идей, образов зазывают покупателей и потребителей в свои конторы, магазины, издательства, театры, галереи, врачебные кабинеты, больницы, учебные заведения, кооперативы, общины, союзы и т. д. и т. п.

Кто перед кем конкурирует в таком обществе?

Поставщики перед лицом потребителя; предлагающий перед платящим, пользующимся и выбирающим.

Потребители часто выбирают дрянь, иногда самоубийственно для них вредную.

Поставщики плюют на мораль и игнорируют экологическую или политическую диверсионность своих товаров. Политиканы борются за свое влияние на ход событий, за власть и связанные с ней возможности. Объединенные наемные работники (продавцы рабочей силы, способностей, знаний, умений) выбивают из работодателей не увязанные с действительной эффективностью их труда надбавки к зарплате. Работодатели сопротивляются, а если сдаются, то повышают цены на выпускаемую продукцию.

Поставщику необходимо одолеть конкурента; поэтому он все-таки озабочен и качеством продукции, и относительной ее дешевизной, и сохранением хороших работников, и человеческими отношениями на своем предприятии, и платежеспособным спросом, то есть нормальной покупательной способностью общества.

Существует конкуренция партий, претендующих на роль влиятельных или правящих. От этих партий можно добиться действий, нравящихся большинству избирателей; иначе их

прогонят после первой же каденции, а то и до ее окончания.

Разумеется, избиратели близоруки, но у тех, кто хочет их просвещать, нет кляпа во рту. Не запрещены и хорошие, полезные тенденции в предложении различных услуг и товаров. В конце концов и политиканам, и предпринимателям, и избирателям можно многое втолковать и навязать, если не смиряться с их слепотой и не отступать перед своими оппонентами, не опускать рук. Ни экологическая, ни анти-монополистическая, ни морально-этическая проблематика не находится под тотальным запретом на конкурентных рынках — публицистическом, научном, литературном и т. д.

”Прекраснодушные идеалы классического марксизма” состояли в том, чтобы дать обществу возможность делать все ”правильно”, обходясь без несовершенного механизма плюралистической конкуренции, без частной собственности, порождающей корыстолюбие, и без ненасытных ”хозяев жизни”.

Не из-за особенностей русской истории и русской ментальности в СССР ”сложилось общество, весьма далекое от прекраснодушных идеалов классиков марксизма”. И далеко не один только ”словесный материал для идеологии этого общества” дали марксистские идеалы. Эти идеалы потребовали, с одной стороны, уничтожения частной и независимой групповой собственности, с другой — подчинения всего общества одной всеобъемлющей и всепроникающей доктрине. Поскольку без управляющей инстанции современная экономика функционировать не может, то уничтожение такого ее регулятора, как конкурентный рынок, потребовало создания централизованного верховного регулятора, беспомощного в своих творческих, хозяйственных прежде всего, потенциях. А обязательное подчинение общества одной (и к тому же еще импотентной в созидательном смысле) доктрине потребовало от ”изма” тотального принуждения. Зиновьев называет ”измом” советский социализм — коммунизм, но то же справедливо и для нацизма, и для мусульманского клерикал-социализма — для любой абсолютной партократической диктатуры.

Исчезла ли в СССР и других коммунистических странах конкуренция?

Не исчезла, а изменила свое направление и приняла концлагерно-ожесточенные формы.

Сверхмонополии конкурировать не с кем. Она устранила легальные формы конкурентной борьбы на всех обществен-

ных рынках и осталась единственным держателем капитала, работодателем и поставщиком — посредником между производителями и потребителями товаров, услуг, идей, образов, программ и критериев во всех сферах жизни. Ей теперь надо лишь подавлять и душить непрерывно возникающие в обществе поползновения соревноваться с ней нелегально, в обход установленных ею законов.

Зато теперь все и везде: от самого страшного лагпункта до ЦК правящей партии — конкурируют по горизонтали и выслуживаются по вертикали перед лицом ближайшего к ним воплощения сверхмонополии.

З а ч т о идет состязание, ясно. Каждый воюет в конечном счете за какие-то блага — от увеличенной пайки и облегченной работы в концлагере до выхода на главные роли в любом из кремлей.

В ч е м состязаются конкуренты — вот основной вопрос.

Супермонополист поощряет по-настоящему только то, что ему действительно необходимо. Важнее всего для него сохранение его диктаторской внеконкурентности. Фактически на всех ступенях иерархии идет состязание в сохранении внеконкурентности поработившей общество силы. О какой власти коллектива над индивидами может идти речь в таких обстоятельствах? Здесь один рядовой сексот может терроризировать весь коллектив одним только фактом своего функционирования в нем. А если оный сексот сотрудничает не со своим непосредственным начальником, а с начальником, стоящим ступенькой-другой выше, и тем более с органами госбезопасности, — то он и любого начальника может свалить удачным доносом. Сверхмонополия поставила дело так (поставить его иначе означало для нее перестать быть самой собой), что отказ от борьбы за ее благорасположение, то есть за укрепление ее полномочий, рассматривается как антигосударственное преступление.

Зиновьев-художник блестяще воссоздает картину и атмосферу этого взаимного всепредательства. Последнее тем универсальней, чем ближе к вершине всеильной иерархии находятся конкуренты или чем тяжелей условия их существования. В этом смысле концлагерь и элитарные слои общества весьма сходны друг с другом. Борьба за высшие привилегии и за власть протекает так же ожесточенно, как и борьба за выживание в условиях лагеря.

Но я не знаю, что имеет в виду Зиновьев-исследователь, когда он говорит:

”Ученик присоединился к двум парням из отдела математических методов и социальных исследований. Эти психи, сказал один из них, придумали у меня потрясающе простую модель. Чисто комбинаторскую. И из нее, как дважды два четыре, ясно, что, начиная с некоторого числа элементов и некоторой степени их разнообразия, возможности создания из них некоторой целостной формы начинают сокращаться. В конце концов возможности комбинаторики сводятся к единице. Причем последующее увеличение степени ее разнообразия делает систему избыточной. Мы проделали тысячи опытов. Теперь я берусь доказать чисто математически, что большие социальные системы, вроде нашего общества, могут организоваться в наше время одним единственным способом. Так что сам понимаешь... Здорово, сказал собеседник. Рассуждения гениев ”научного коммунизма” теперь уже кажутся неубедительными. Так, может быть, с помощью психически больных удастся восстановить утраченную веру?!..”⁸

”Большие социальные системы” могут, как показывает исторический опыт, организовываться разными способами. Главным эпохальным различием в способах их организации стало наличие или отсутствие в них плюрализма, экономического, политического и идеолого-информационного. Плюрализм и монизм порождают каждый свое направление конкуренции: первый — конкуренцию управляющих перед лицом управляемых; второй — конкуренцию управляемых перед лицом всемогущего Управляющего.

Итак, идеалы основоположников агрессивных ”измов” определяют не только фразеологию, но и структуру обществ. Структура же предопределяет распределение прав и обязанностей и действительный характер тех и других.

Фанатизм последователей таких учений после их победы быстро уступает место недоумению, опустошенности и враждебности по отношению к правящей силе. Но структура-то создана, и появились контингенты, для которых она является условием их существования, источником всех их благ. И она цепко охватывает, оплетает своими связями, законами и беззаконием все и вся, в том числе и своих опоминающихся от фанатического кошмара недавних сторонников.

Даже при антагонистических фразеологиях (расизм — интернационализм, на общей, правда, словарной основе социализма) все моноидеологические ”измы”, победив, создают родственные структуры.

Зиновьев ставит в предисловии к "Преддверию рая" ряд вопросов, связанных с качествами и перспективами коммунизма. Эти вопросы демонстрируют не то незнание, не то игнорирование их автором классической и современной критики коммунизма, его теории и практики. Автор "Преддверия рая" словно бы не читал (а может быть, действительно не читал?) ни классических (от Г. Спенсера до русских мыслителей начала XX века), ни современных (от Н. Винера и Р. Конквеста до крайне осторожных советских ученых 1960-х годов, овладевших искусством иносказания и подтекста не хуже, чем беллетристы), ни эмигрантских (этих он решительно ни в грош не ставит) писателей, решавших и решивших проблемы, которые Зиновьеву представляют впервые научно рассмотренными лишь им самим.

Художественные полотна Зиновьева могут служить впечатляющими иллюстрациями к тому, что сказано мировой наукой и публицистикой о коммунизме — сказано и в качестве предупреждений против последнего, и в качестве исследований его реальности. Но в своих попытках аналитически осмыслить изображаемое и, главное, его причины блестящий художник обнаруживает парадоксальную бедность идей и познаний. В частности, он совершенно не представляет себе размаха истинной (пассивной и активно растущей) оппозиционности широких масс населения по отношению к партократической власти.

”Вопрос: А народные движения, религиозные (в СССР?) Разве они, по-вашему, не дают никаких надежд?

Ответ: Это все нужно отнести к сказкам. Нет таких движений, их выдумывают диссиденты и Запад...

Вопрос: А народные движения в балтийских странах, например, в Эстонии?

Ответ: Это все высосано из пальца.

Вопрос: Как вы оцениваете роль советских диссидентов, находящихся на Западе?

Ответ: ...по-моему, их роль закончена, это политические пенсионеры, которые устраивают свои частные дела. Там нет никакой мысли, особенно политической. Их прежде всего интересует личная выгода, они научились, как надо жить на Западе, и устраивают всевозможные политические кампании исключительно во имя эгоистических целей: ищут славы и т. п.”⁹

Я получила недавно читательское письмо из Западной Германии. Автор, г-жа Нина Тумуреану, пишет, в частности, следующее: "У России упорно и идиотически отбирают ее трагически-дидактическую роль... Себе же на погибель!" Речь идет о катастрофическом нежелании Запада понять и учесть роковой опыт народов современного СССР.

Зиновьев-художник наглядно воспроизводит этот губительный опыт, а Зиновьев-публицист декларативно сводит на нет исторический смысл своего труда.

Я не знаю, в процессе каких исследований Зиновьев установил, что

"Каждый народ имеет преимущественную предрасположенность к цивилизации определенного типа. И если ему предоставляется историческая возможность имманентно развить некоторый тип цивилизации, он развивает этот свой преимущественный тип. Причем такая "удача" выпадает на его долю лишь один раз в истории."¹⁰

Зато я знаю, что ни одному народу, вошедшему или ввергнутому в тупик сверхмонополизма, не удалось благодаря каким-то своим национальным чертам избежать тех изменений, которые возникают в общественной жизни при замене конкуренции демократического типа конкуренцией тоталитарного типа.

Зиновьев часто говорит о русских как о народе, который сформировал для себя систему и власть, наиболее для него подходящие. Русский национальный характер выступает в его декларациях как более важный компонент "ибанской цивилизации", чем заимствованный на Западе и построивший эту "цивилизацию" марксизм.

Десятки миллионов жертв достаточно четко характеризуют процесс становления коммунистической партократии в СССР и меру ее желательности для народов бывшей Российской империи, включая русских. Неоднократно было сказано и доказано документально, что исторический языковой приоритет русских внутри СССР не дает им как народу и лицам никаких политико-экономических преимуществ перед другими народами СССР, за исключением особо дискриминируемых в данный момент народов. Мне уже доводилось неоднократно писать, что СССР — типичный для коммунистического мира пример страны, в которой есть особо дискриминируемые народы: чечены, ингуши, калмыки,

балкарцы, крымские и карачаевские татары, тувинцы, евреи, немцы Поволжья и др., — но нет народа свободного, процветающего и обладающего действительными политико-экономическими привилегиями. Русские отнюдь не играют в СССР роли немцев эпохи нацизма в Германии и в завоеванных ею странах. Более того: основные толщи русского населения не заражены экспансионистскими настроениями и тяготеют скорее к изоляционизму.

Народы СССР не равноправны, а равно бесправны. Исключение составляют народы, еще более бесправные (не юридически, а фактически или согласно секретным инструкциям), чем остальные. Когда сталкиваются в качестве конкурентов представитель стандартно бесправной нации с представителем нации особо дискриминируемой (например, русский с евреем при поступлении в вуз или на работу — повсеместно, или украинец с татаринном — в современном Крыму), то первый выигрывает.

Обратимся теперь к следующему доводу Зиновьева: открытые выступления диссидентов (преимущественно правозащитников), время от времени возникающие в СССР с конца 1950-х годов, не находят отклика в народных массах. Не буду сейчас говорить о недиссидентском, закрытом для наблюдателей, глубинном сопротивлении подсоветских граждан образу жизни, навязанному им партократией, — о сопротивлении пассивном, но обладающем огромной инерцией в силу своей массивности, о сопротивлении активном, но не принимающем открытых политических форм. Останемся при популярном тезисе исключительности сопротивления литературного и правозащитного. Но разве только в собственно русских областях РСФСР, а не по всему СССР действия правозащитников не встречают массовой всенародной поддержки?

И разве, когда возникали в СССР 1918—1980-х годов какие-то формы индивидуального и массового протеста: забастовки, демонстрации, восстания, саботаж, создание "второй экономики" ("черного рынка"), та же правозащита, но бытовая, самиздат, публикации за рубежом, — разве русские стояли в стороне от этих событий или движений и уступали в этом другим народам СССР?

Кто вообще исследовал и написал исторический свод прямого и косвенного, активного и пассивного сопротивления народов СССР режиму, которому сами же эти народы помогли утвердиться в 1917—1920 годах?

Есть история партократического террора, принадлежащая и самиздатским, и эмигрантским, и западным авторам, — довольно полная, и сводная, и заключенная в массу разрозненных сочинений. Но нет истории сопротивления, хотя в опубликованных в СССР открытых партийных материалах и во множестве несобранных, неизученных книг, самиздатских и эмигрантских, в газетно-журнальных архивах СССР и Запада воспроизведена и история сопротивления народов СССР (в том числе русского) партократической колонизации. Я не говорю уже о советских архивах и библиотечных "спехранах". Но на смену историзму мышления 19 — начала 20-го столетия пришел сегодня поразительный аисторизм и даже антиисторизм мышления бесчисленных — тем не менее! — обобщателей исторического процесса, не прибегающих к изучению исторической фактографии.

Мне представляется, что наиболее общие черты тоталитаризма, коммунизма в частности, сегодня важнее, чем его второстепенные национальные особенности. Победив, тоталитаристы угнетать и уничтожать всенепременно *будут*. А как убивать и что делать с убитыми: хоронить в вечной мерзлоте или сжигать в крематориях, — решится на месте.

Коммунизм торжествует и ширится. Внушать еще не познавшим его народам, что он опасен в тоталитарном своем варианте одним лишь русским или россиянам, — плохая услуга этим народам. Коммунизм, победивший, не злокачественным быть не способен.

Мои выводы и оптимистичней и пессимистичней выводов А. Зиновьева. С одной стороны, я не знаю народов, чьей историей и национальным характером предопределялась бы только тоталитарная форма существования. С другой стороны, я не представляю себе и народов, в жизни которых победа партократической идеологии не породила бы тех же явлений, которые она порождает в СССР.

Я отнюдь не считаю, что планетарная победа партократии неизбежна: все зависит от темпов и степени осознания миром ее опасности.

Поэтому страшно, если разговаривать с Западом будут и впредь по преимуществу обличители русской тиранолюбивости, а не бескомпромиссные критики партократии как таковой.

Ж-л "Время и мы" № 62, 1982 год.

ПРИМЕЧАНИЯ

Зиновьев А. В преддверии рая. Losanne, "L'Age d'Homme", 1979, 16. Разрядка моя. — Д. Ш.

Германские нацисты последнего осуществить не успели, но к тому стремились.

Зиновьев А. В преддверии рая, с. 23—24.

Там же, с. 24.

Я уже говорила и рискну повторить, что только опереточное восприятие западноевропейской истории, не углубившееся со времен отроческого ознакомления с адаптированными для подростков романами Александра Дюма и Вальтера Скотта, может позволить считать европейскую историю менее жестокой и кровавой, чем русская. Впрочем, даже внимательно прочитанные книги этих авторов не допускают такого вывода.

Зиновьев А. В преддверии рая, с. 28—29.

Например, мафии или некоторые средневековые рыцарско-монашеские ордена.

Зиновьев А. В преддверии рая, с. 19.

Этот отрывок взят из опубликованного в последнем (24—25) номере польского журнала "Анекс". На вопросы журналистки (кстати говоря, тоже диссидентки — польской) отвечает Александр Зиновьев.

См. также: Каравацкий Бернард, Борис Вайль, бывший советский политзаключенный, ныне живущий в Копенгагене, по поводу интервью А. Зиновьева. — "Русская мысль", 1981, №3375.

Зиновьев А. В преддверии рая, с. 18.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Большая и чрезвычайно интересная статья А. Синявского, опубликованная в "Русской Мысли" (№№ 3400—3401), вызывает желание не только вдуматься в ее многоплановое содержание, но и сопоставить его со своим личным опытом. Во всяком случае мое чтение этой статьи сразу сложилось по принципу активного отклика: у Андрея Синявского было так; а у меня — вот так; он думает по данному поводу так-то, а я либо так же, либо иначе. Уже заголовок статьи "Диссидентство как личный опыт" поворачивает любого внимательного читателя лицом к его собственному личному опыту.

Я не знаю, какой опыт интереснее для читателей: уникальный или типический. Думаю, что уникальный опыт чрезвычайно редок (таков был бы, к примеру, личный опыт Рауля Валленберга для его семьи, для его близких, его круга). Чаще всего у каждого автора находятся читатели со сходными переживаниями. Надеюсь, что найдутся такие читатели и у меня.

О СЕБЕ

В том, что пишет А. Синявский о своем детстве и юности, мне очень много родственно. Я тоже воспитывалась "в лучших традициях русской революции или, точнее сказать, в традициях революционного идеализма..." Во мне тоже эти революционные идеалы, не отделимые, да и не отличимые тогда для нас от гуманистических и либеральных, воспитали "представление о том, что нельзя жить узкими, эгоистическими", я бы сказала не "буржуазными" (как сказано у А. Синявского), а "мещанскими", — этот гневный эпитет был в нашей среде употребительней, — интересами; а необходимо иметь какой-то "высший смысл" в жизни" (там же). Мне бы даже не пришло в голову брать сегодня слова "высший смысл" в кавычки. Очевидно, я не изменилась с тех пор,

ибо для меня и остались высшим смыслом жизни посильные попытки разобраться в ее сумятице и хотя бы песчинкой в стене стать на дороге того, что ощущается мною как зло. Для меня тоже долго не было "ничего прекраснее мировой революции и будущего всемирного, общечеловеческого братства". Пожалуй, я и теперь скажу, что не было бы ничего прекрасней такого братства, если бы оно состоялось неподдельно и добровольно. Тогда нам казалось, что до этого идеала — рукой подать. И что все секреты его достижения заключены в марксизме.

А. Снявский пишет, что он не жалеет о своих юношеских иллюзиях. Я тоже: они слишком многое во мне определили. Более того: не все в них было иллюзорным. Не иллюзорной была значительность, которой наделялись в нашем исходном мироощущении чужое благополучие, чужая свобода, чужое достоинство, справедливость, добро. С высоты своей полудетской бескомпромиссности, своих идеалов, — таких, каковы они были в нашем восприятии, — мы в ранней юности и начали выверять для себя сначала советскую действительность по священным для нас тогда первоисточникам, а затем и самые эти первоисточники. Теперь мне кажется, что нас спасло от рабства у зловещей утопии-оборотня следующее: марксизм был для нас только языком, только фразеологией. Истинное наполнение словам и лозунгам давала в нашем воображении великая литература XIX века — начала XX века, русская и переводная, заботливо открытая нам родителями и немногими старыми учителями, сохранившимися в школе 1930-х гг. В моей жизни не меньшую роль сыграло и домашнее воспитание — нравственность и этика моих родителей. Позднее я поняла, что они старались наполнить душу мою содержанием, способным противостоять реальности, все менее для них приемлемой, хотя и боялись поставить нас в прямую оппозицию к ней. Влияние отца оборвалось рано. Он ушел из жизни, когда мне было десять лет. Нравственное влияние матери сопровождало меня долго и сохранилось на всю жизнь. Получилось так, что из учения, имеющего словарные механизмы воздействия и на самые высокие побуждения личности, и на самые низменные инстинкты особи и толпы, мы впитали лишь первое влияние. И когда мы начали проверять учение и как нравственную, и как научную, и как политическую систему (со своих, как мы полагали, самых марксистских позиций), оно не выдержало серьезной критики. Наше расхождение с официозом вызревало по мере вгрызания все более вооруженной знанием мысли

одновременно и в жизненный материал, и в теорию. Марксизм-ленинизм был отвергнут нами изнутри теории. Это, разумеется, не гарантия безошибочности выводов, но дает основание полагаться на свое знание предмета. Так сложилась моя оппозиционность к советской власти — диссидентство, о жизненных перипетиях которого я здесь говорить не буду. Строгие доказательства несостоятельности марксизма пришли позднее, уже в зрелом возрасте.

О ДИССИДЕНТСТВЕ

А. Синявский уделяет много места в своем докладе определению диссидентства. У слова "диссидент" есть простой переводной смысл — "протестант", инакомыслящий, инакоговорящий, инакопищущий. "Инако" — по отношению к чему? В условиях тоталитарной государственности — по отношению к верховно предписанному миропониманию, к вытекающему из него поведению. Лидия Чуковская предлагала называть инакомыслящих просто мыслящими. Их и можно так называть — в отличие от бездумных дублеров газеты "Правда" и всех ее иначе именуемых пресс-копий. А также в отличие от тех, кто вообще не задумывается ни над чем вне пределов быта. Впрочем, в нынешнем СССР даже в пределах сугубо бытовых обобщений "такомыслящим" остаться не просто. Инакомыслящих в стране великое множество, как бы не большинство. И даже "инакодействующих", то есть действующих не по закону и не по верховной указке. Но отнюдь не все они диссиденты, ибо, мысля и действуя не по указке, они не протестуют против навязываемого образа мыслей и жизни, и не отстаивают своих убеждений и своего образа действия. По мнению А. Синявского, диссидент — это человек, который не только "мыслит несогласно с государством" (многие ли в СССР наедине с собой мыслят согласно с ним?), но и "имеет смелость" поставить себя в оппозицию к власти. А. Синявский соединяет эти два обстоятельства: "мыслит несогласно" и "имеет смелость". Он не уточняет, идет ли речь лишь об открытом для власти сопротивлении (позиция правозащитников) или о скрытом тоже. Я склонна относить к диссидентству и открытое, и скрываемое от власти, но целенаправленное противодействие ей. А. Синявский вплоть до своего ареста переправлял в

течение десяти лет свои работы на Запад и публиковался за границей тайно от советских властей, под псевдонимом. Он считает этот период временем своего диссидентства, в чем он, на мой взгляд, совершенно прав.

Многие лично известные мне люди долгие годы работали и работают в оппозиции к официозу тайно и под псевдонимами. И, даже выехав на Запад, они не могут всего рассказать о своей работе: ведь не все неявно работающие уезжают. Полагаю, что подводная часть оппозиционного айсберга продолжает расти, и при этом быстрее, чем его надводная часть. На смену советскому чартизму, пик которого приходится на вторую половину 1960-х гг., приходят другие формы сопротивления. Поэтому признак открытого сопротивления вряд ли может быть признан как один из определяющих признаков диссидентства. Или диссидентами среди многих людей, работающих в оппозиции к партократической власти и ее монополии легальности, называются только те, кто действует явно и гласно? Тогда для тех, кто работает, не объявляясь открыто ни для кого, кроме лиц, с ними непосредственно связанных, надо найти другое название. А. Синявский считает решающим признаком диссидентства и способность инакомыслящего не раскаяться ни на одной ступени своей протестантской дороги. Каются те, кто в какой-то особо тяжелый и страшный (или соблазнительный!) для себя миг не выдерживают открытого противостояния беспощадной и изобретательной в сокрушении и уловлении человеческих душ машине. Не выдержав, они, естественно, из сопротивления, то есть из диссидентства, уходят. Но значит ли это, что они не были диссидентами до момента своей духовной аварии? Разве Петр Якир не был диссидентом до того, как сломился под тяжестью второго ареста и публично (и несомненно неискренне) раскаялся в своей диссидентской деятельности? Был, но с момента памятного нам всем трагического телеспектакля таковым быть перестал. Трудно сохранить нервные силы в открытом противостоянии такой власти. Тяжко выстоять в этом противоборстве, когда ты оказываешься с ней один на один, в отдалении от подпирющих тебя союзников. Нужна большая осторожность в осуждении сдавшихся, особенно, если они предали только себя. Тем больше чести несдавшимся. Но те, на кого никогда не оказывали подобного давления, вряд ли вообще могут судить неустоявших.

Очень точным представляется мне следующее суждение А. Синявского: "...диссидентство это прежде всего, на мой

взгляд, движение интеллектуальное, это процесс самостоятельного и бесстрашного думания. И вместе с тем эти интеллектуальные или духовные запросы связаны с чувством моральной ответственности, которая лежит на человеке и заставляет его независимо мыслить, говорить и писать, без оглядки на стандарты и подсказки государства”.

Я бы только добавила к этому еще и определение государства, в границах которого единственно и возникает такое диссидентство: государства, считающего серьезное разномыслие с собой тяжело караемым преступлением. Ибо в стране, в которой, подобно четырехмиллионному Израилю, в канун выборов возникает тридцать пять политических партий, не может быть диссидентства в советском значении этого термина.

Если принять утверждение, что несогласномыслящих много, но борющихся (явно и тайно) относительно мало, закономерен вопрос о том, что нужно для перехода представителей первой категории подсоветских людей во вторую. Нужно очень многое, ибо только свободные или хотя бы полусвободные люди позволяют себе вступать в конфликт с правительством при малейшем расхождении своих личных вкусов с действиями и законодательством последнего. Довольно легко сказать, ЧТО нужно для перехода недовольных к сопротивлению, но невероятно трудно ответить на вопрос, КАК этот переход стимулировать. От попытки ответить на второй вопрос я заранее отказываюсь. Уверена лишь в одном: в ценности и необходимости длительного нелегального распространения неподцензурной литературы, в необходимости неподконтрольного властям воспитания в людях демократического правоощущения, предполагающего не только свободу субъекта права, но и соблюдение интересов людей, его окружающих. Не говорю, что это исчерпывающий задачу путь. Подчеркиваю, что просто не знаю других путей. Но мы оставили без попытки ответа первый вопрос: ЧТО нужно для перехода недовольных к сопротивлению? Столь мощное чувство самоценности свободы, своей и чужой, столь всепоглощающее сострадание к терпящим бедствие, что они, и только они одни, заставляют человека рисковать жизнью, присущи меньшинству любого народа. Для того же, чтобы его большинство или хотя бы существенная часть вступили в борьбу с тотальной тиранической властью, требуется классическое совпадение ряда условий. Надо, чтобы и для множества рядовых, а не только особо чутких людей, господствующее положение стало не просто неприятным,

а невыносимым. Нужно еще, чтобы сопротивление имело, в глазах этого большинства, шанс на успех. И, главное, надо, чтобы люди верили в свое понимание не только того, чего они не хотят терпеть, но и того, чего они добиваются. В современном СССР не выполняется ни одно из этих условий. Положение тяжело и неприятно для многих, но для большинства переносимо; шансов на успех сопротивления в его нынешних формах, выражаясь смягченно, весьма мало; большинство недовольных плохо представляют себе, чего они хотели бы взамен тех тягостных обстоятельств, к которым привыкли. Из описанного положения вырастает задача, которая могла бы заполнить существование большинства диссидентов, попавших в эмиграцию, если бы она их увлекла и сплотила — в той части, для которой возможно взаимопонимание и сотрудничество.

Возможно ли объединение сколько-нибудь существенной части диссидентов для общей деятельности, хотя бы в некоторых направлениях? Не знаю. С одной стороны, взгляды тех, кого оппоненты обычно объединяют под именем новых русских националистов или почвенников, расходятся внутри направления не меньше, чем разнятся между собой взгляды тех, кто относит себя к либерально-демократическим течениям диссидентства. Даже внутри каждого из определившихся в полемике движений диссидентской мысли множество оттенков, расходящихся вплоть до полной взаимной несовместимости. С другой стороны, взаимная нетерпимость между представителями двух основных течений нередко обусловлена лишь предвзятым и невнимательным рассмотрением взглядов и языка друг друга. При текстологическом (с учетом различий во фразеологии) изучении публицистических деклараций многих, казалось бы, очень далеких друг от друга авторов годчас оказывается, что значительная часть их воззрений и чувств совпадает, образуя общие мировоззренческие зоны. Таких взаимно совпадающих зон при наложении одного круга идей на другой может оказаться больше, чем кажется. Возможно, нужна большая исследовательская работа, чтобы доказательно выявился обнадеживающий парадокс: реальность продуктивного диалога, из которого выпали бы во всех течениях мысли только носители крайних экстремистских воззрений и сомнительной политической ответственности. Но печальная особенность наилучшего хода событий состоит в том, что он крайне редко сбывается.

Я очень сомневаюсь в жизненности метафоры А. Синявского, полагающего, что диссиденты на Западе, как мухи в меду,

увязают в некоем подобии НЭПа, то есть, по-видимому, НЭПовского житейского благополучия. Многие ли добились благосостояния, занимаясь литературой или публицистикой? Единицы. Среди моих знакомых нет удачников, достигших достатка за счет продолжения своей диссидентской, здесь — литературной и общественной — деятельности. Многих ли кормит здесь противостояние советской власти?

Существеннее иные трудности. С одной стороны, оппозиционеры, тайные ТАМ, становятся явными ЗДЕСЬ, но это не прибавляет самоуважения, ибо не связано с прежним риском. С другой стороны, действия, которые там придавали оппозиционерам высокую исключительность, здесь исключительности не придают. Здесь, во внезапно расширившемся пространстве, можно свободно размахивать кулаками и громко кричать. Но пространство это глухо к нашему крику, тогда как там наша узкая, тесная, грозившая при любом (неизбежном для всех активно действовавших) расширении предательством среда жадно впивала каждый наш шепот, шорох каждой страницы. Теперь на месте этой узкой, но чуткой аудитории почти вакуум, тягостный и для самолюбия, и по самому высокому творческому счету. В чем спасение? В овладении тремя аудиториями, которые вовсе не ушли от нас, а лишь отступили, расширившись: эмигрантской, подсоветской и западной. Это невероятно трудно, ибо эмигрантскую и западную аудиторию одним уже фактом того, что мы говорим, когда другие молчат, не покорить. Здесь все говорят о том, о чем хотят говорить. Отечественная же, пусть и узкая, но сочувственная аудитория отступила так далеко, что до нее почти невозможно докричаться. Кризис, который мы претерпеваем, переселяясь в свободный мир, заключается, если мы сохраняем свои надличностные задачи, в резком изменении способов решения этих задач — настолько резком, что они начинают казаться нам в нашем новом положении нерешимыми. И все-таки спасение в одном — все в той же работе, хотя наш адресат (а для публициста адресат совершенно необходим) уже не находится на расстоянии вытянутой руки от нас и не обладает прежней готовностью нас слушать. В горькие минуты мы ощущаем сейчас меньше смысла в изданной нами книге или статье, чем ощущали тогда в одной честной беседе с глазу на глаз или в классе, после урока, исполненного недомолвок и намеков, понятых несколькими наиболее чуткими учениками. Но это, к счастью, не так. Если нам есть что сказать, если за прежними недомолвками, намеками

и подтекстом есть полноценное содержание, мы должны говорить и пробиваться ко всем трем возможным аудиториям: эмигрантской, подсоветской и состоящей из нашего нового окружения. Другого пути для восстановления смысла в нашем существовании я не вижу.

О "НАШИХ СПОРАХ"

Есть еще одно различие в нашем самочувствии там и здесь: там мы ощущали всю оппозиционную к правительству часть общества как нечто дружественное себе. Я — по личному незнакомству с кругами открытого сопротивления — полагала, что в них нет ни вражды, ни взаимной цензуры. Поэтому, передав первый вариант своей книги "Наш новый мир" — по причине отсутствия другого канала — в круг оппозиционных марксистов, я испытала потрясение, узнав, что, вопреки просьбе посредника, они не дали ей ходу в Самиздат, сочтя ее вредной. Прорваться туда удалось лишь двумя-тремя годами позже, через другой круг. Так что марксисты и в оппозиции верны своему главному идеологическому принципу — "монополии легальности" (Ленин). И все-таки там мы были сплоченней, чем здесь. Здесь мы гораздо чаще и больше обличаем друг друга, чем выясняем свои общие взгляды, которые могли бы помочь нам действовать заодно. Наши споры естественны, хотя взаимная утрировка взглядов, непрестанное уловление друг друга в смертных грехах и заблуждениях мало приятны. Идеалом является благожелательный спор по существу проблем, но мы-то не идеальны, а подвержены всем человеческим слабостям. И все-таки русская литературно-публицистическая диаспора представляет собой не партократию и не диктатуру толпы, а республику идей, хотя в ней есть и монархисты, и потенциальные духовные монополисты. Наши споры не дают никому из нас реалистического основания утверждать, что мы и там были враги и здесь враги, что кто-то из нас и здесь "вообще враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально... вообще никому не друг, а только враг" (А. Синявский, "Диссидентство как личный опыт"). Очевидно, субъективное ощущение А. Синявского именно таково, но оно ошибочно. В вытолкнутой и вырвавшейся из СССР диаспоре нет единого центра, нет господствующей идеологии, нет верховного или коллективного требования говорить и писать именно так, а не иначе. И потому нет тотального осуждения и отверженности.

У Андрея Синявского есть свой журнал, есть большой круг читателей, почитателей и друзей во всем мире. Его популярность весьма велика, и жаль, что он не слышит своих сторонников, спорящих с его оппонентами. Если бы он слышал своих друзей, его позиция, возможно, проиграла бы в эстетизме (трагизм полного одиночества весьма эстетичен), но выиграла бы в своей близости к скрытой от него истине.

Но, может быть, стоило бы серьезнее задуматься и о сути споров, а не главным образом о своем месте в них?

Если А. Сахаров и А. Солженицын сходятся в своих непрерывных, хотя и глубоко различных по стилю, советах Западу быть бдительней по отношению к СССР, к его экспансии и инфильтрации, к некоторым внутренним западным тенденциям, то, может быть, в этом есть некая истина и правда? И если большинство эмиграции склонно соглашаться в этом вопросе с А. Солженицыным и А. Сахаровым, а не с А. Синявским и его единомышленниками, то, может быть, дело не только в стадности нашего мышления? Почему же ТАМ нынешние сторонники повышения самозащитного потенциала западной демократии за большинством не шли и состояли в трагически осажденном меньшинстве, а ЗДЕСЬ вдруг оказались ненаблюдательным и близоруким стадом?

Изложив, как выглядят, по его представлению, разногласия между почвеннической и западнической группами российского диссидентства, основавшимися на Западе, А. Синявский заключает: *"Таковы наши споры в самых общих и утрированных чертах"* (выделено мной. Д. Ш.). Мне же представляется, что назрела задача рассмотреть эти споры прежде всего не вообще, а конкретно-текстологически и, главное, не в утрированном, а в точном их содержании. Ибо от утрировки взгляды спорящих не проясняются, а искажаются. Вместо портретов возникают карикатуры. Наш горький опыт многолетних читателей *"Крокодила"* и *"Правды"* свидетельствует, что утрирование некоторых характерных черт оригинала, не исключая сходства, может изменять истинный смысл якобы портретируемого объекта на противоположный. Хлесткость не заменяет точности. А. Синявский пишет:

"Наверное, нам следует быть скромнее и, передавая Западу свой печальный опыт, остерегаться учить его, как жить и строить свое фундаментальное западное общество. Свое общество мы уже построили в образе коммунистического государства, от которого не знаем куда деваться... Новые русские националисты, правда,

на это возражают, что все наши российские беды пришли с Запада. С Запада явился марксизм. С Запада пришел либерализм, подточивший самодержавно-патриархальные устои России. С Запада проникли инородцы (поляки, евреи, латыши, венгры), которые и произвели Октябрьскую революцию. Все это поиски "виновного" где-то на стороне. Не мы виноваты, а кто-то чужой (Запад, мировой заговор, евреи...)... По существу, это отчуждение собственных грехов и оплошностей. Мы-то хорошие в самом деле, мы — чистые, мы — самые несчастные. Потому что мы — русские. А это "черт" вмешался в нашу историю".

"Свое общество" мы, действительно, уже построили. Но множество других народов, судя по ряду бесспорных объективных симптомов, которые здесь невозможно рассматривать (назову лишь монополизацию всех видов, отступление перед внешним и внутренним насилием и растерянность перед проталитарной демагогией или зачарованность ею), подобное же общество готовы построить. И здесь в самый раз искать способы преодолеть западное нежелание и неумение нас услышать. Или, что в общем одно и то же, овладеть способностью говорить так, чтобы нас услышали. И в этом вопросе никак не удастся утрированно разделить диссидентов на самонадеянно поучающих цивилизованный Запад квасных почвенников и тактичных, цивилизованных демократов, деликатно предоставляющих Западу двигаться его традиционной дорогой. А. Солженицын и А. Сахаров с одинаковой озабоченностью бьют тревогу и зовут Запад оглянуться в его беспечности. Достаточно сравнить построчно "Коммунизм у всех на виду — и не понят" А. Солженицына и "Тревожное время" А. Сахарова, чтобы убедиться в совпадении их взглядов на этот вопрос. А такое совпадение полностью ломает искусственное разнесение диссидентов по "самым общим и утрированным" статьям хотя бы в их отношении к Западу.

"Новые русские националисты", о которых говорит А. Синявский, не представляют собой монолитной массы. Столь смехотворно-поверхностное отношение к вопросу о взаимосвязи российских внутренних исторических процессов с внешними воздействиями и влияниями, как то, которое критикуется А. Синявским, проявляют среди почвенников лишь самые крайние и малообразованные экстремисты. Но и противоположный взгляд: о полной изолированности исторического процесса в России от внешних влияний, о пол-

ностью российских корней такого широчайше международного, планетарного явления, как тоталитаризм XX века, — не более исторически грамотен. Взгляды разных групп российского диссидентства на исторические процессы именно потому нельзя обобщать и тем более утрировать, что приближение к истине наиболее велико как раз в их неутрированной срединной области. Всякая утрировка сообщает любому взгляду крайностный, а значит ложный характер. Разве А. Солженицын или Б. Парамонов мало пишут о *российских* исторических и политико-психологических корнях того кризиса, который сделал Россию *первой жертвой общечеловеческой утопии коммунизма*? Другие националисты пишут иначе? Совершенно верно. Не бросается ли, однако, в глаза странное совпадение: эти другие (национал-экстремисты, нацисты — есть и такие) неизмеримо бездарней и мельче тех русских почвенников, которые рассматривают вопрос во всей его сложности? О крайних взглядах следует говорить пофамильно. Ведь у мало осведомленных читателей возникают в уме при стандартном обозначении той или иной группы диссидентства ("новые русские националисты" или "демократическое движение") лишь известные имена. Носители этих имен и выглядят ответственными за утрированные воззрения, которыми грешат не они, а их эпигоны или совершенно не связанные с ними и их идеями лица.

Тезис "России противопоказана демократия" в качестве одного из лозунгов "новых русских националистов" тоже утрирован. Следует четко обозначить лиц, утверждающих это безоговорочно и на все времена. Многие почвенники говорят о желательности постепенной трансформации партократии в демократию, некоторые — через динамический авторитарный режим. Но ведь и А. Сахаров против революционного взрыва в СССР! А кое-кто из почвенников — за него.

В свое время русский патриот и *либерал* П. Столыпин полагал, что окончательной правовой либерализации России должна предшествовать хозяйственная и гражданская эмансипация российского крестьянства — абсолютного большинства народа. Его крайний слева оппонент Ленин утверждал, что если дать Столыпину на завершение его реформ двадцать спокойных лет, то революция в России станет невозможной. Более того: она стала бы в России не более нужной, чем в Англии или США тех же лет, добавлю я. Нельзя, как это делает А. Синявский, брать слова "русские патриоты" в кавычки, ибо это двусмысленный прием: с одной стороны, можно надеяться, что автор кавычек подразумевает лишь лжепат-

риотов; с другой стороны, выглядит окавыченным весь русский патриотизм — чувство не менее законное, чем всякий другой патриотизм. Вопрос о путях трансформации современного СССР в демократию (и какую демократию) — сверхсложный вопрос. В "обобщенном и утрированном" изложении он всерьез рассматриваться не может: СССР стоит в трагическом тупике, в который он старается втянуть весь мир. Тут не до легкости в мыслях, не до блеска в стиле. И опять напрашивается вывод, что не взаимная ирония здесь уместна, а текстологическое рассмотрение накопленного эмиграцией в ее полемике о возможных путях грядущей России (и к грядущей России) богатейшего материала.

Публицисты, негативно воспринимающие все русское национальное движение в целом, обычно настаивают на опасности слияния диссидентского национализма с правительственным и возникновению на этой почве русско-кремлевского нацизма. Мне представляется, что во всем спектре русских и нерусских националистических настроений в СССР Кремлю выгодно эксплуатировать устойчиво и всерьез только антисемитизм. Последний представляет собой чувство более или менее универсальное, сплывающее некоторые специфические элементы всех советских народов и дарящее им общий объект ненависти, отводимой таким образом от КПСС. Объект этот ценен еще и объединением внешнеполитической ориентации (сионисты) с внутривнутриполитической (евреи — агентура международного сионизма). В этом направлении Кремль, повторяю, готов эксплуатировать предрассудки не только русских, но и всех народов СССР. Но ведь антисемитизм — это не национализм, представляющий собой в первую очередь самопредпочтение данной нацией своих национальных традиций, интересов, забот и дел всем прочим. Антисемитизм — это чувство негативное, ксенофобия, то более, то менее агрессивная.

Эксплуатировать же русский национализм всерьез, надолго, как идеологическую основу имперского существования, а не эпизодически, от случая к случаю, Кремль не станет, ибо это чувство разъединяющее, а не собирающее разные нации СССР воедино. Центробежные тенденции там и без того велики и всегда воспринимаются Кремлем как крайне опасные. От случая же к случаю кремлевские правители эксплуатируют *все*, в том числе и либерализм, и демократизм, и космополитизм. В частности, и для дезориентации умных, тонких и к тому же *весьма влиятельных* западных советологов — либералов и демократов. Мне приходилось с такими

встречаться тоже. О том, какой стереотип западного политического восприятия мира формируется под этим их влиянием, ярко и точно свидетельствует статья Льва Наврозова "Хотите помочь советской экспансии? Вот вам рецепт" ("Новая газета" №97, 13—19 марта 1982 г., пер. с англ. Екатерины Юнг). Каким образом Кремль эксплуатирует в свободных странах альтруизм, пацифизм, либерализм, комплексы социальной и колониальной вины и стремление к запретной свободе личности, мы видим достаточно ясно.

Почему объективно, исторически опасно сегодня то, против чего так упорно сражается А. Солженицын: неправомерное отнесение главных черт тоталитарных режимов за счет истории и психологии впавших в тоталитаризм народов?

Потому что каковы бы ни были национально-исторические и национально-психологические корни кризисов, на почве которых приходят к власти "партии нового типа", общность структуры, предопределенной утопией коммунизма, неминуемо превращает подвластные им государства в уродливых близнецов. Никакие традиции здесь не спасают, ибо структура, обороняемая всем тираническим потенциалом партократии, сильнее традиций и национальных характеров.

Надежда М. Михайлова, что можно осуществить демократию и на основе полной национализации, беспочвенна. Полное огосударствление делает любую национальную экономику импотентной. Мировой экономической кризис социализма мы наблюдаем во всех соцстранах, кроме нэповского заповедника — Венгрии, но ведь в ней наличествует и свободный рынок. Если правящая сила и представляемая ею система (огосударствление) не прокармливают народ, то эта сила должна уйти, а система должна быть изменена. Воля народа иной быть в таких обстоятельствах не может. Но правящая верхушка, исключительные привилегии коей растут только из данной системы, не хочет ее менять, то есть отменять национализацию. Значит, она будет защищать ее насильем и ложью. Третьего не дано.

В странах, в которых не произведено полное огосударствление экономики, политическая тирания не исключена, но и не неизбежна. В странах, где огосударствление экономики осуществлено, неизбежно умирает и политическая свобода. Другого мы до сих пор не наблюдали.

Почему тиранический потенциал *всякой* (независимо от ее истории и традиций народа) тоталитарной власти высок, а созидательный низок? Потому что бесчисленные сложные,

подвижные неповторимые созидательные задачи нельзя решать посредством команд, поступающих из единственного в столь сложной системе центра, стоящего над нею. Этот центр не может овладеть всей необходимой ему информацией и не располагает приемлемым временем для решения своих практически бесконечных задач. Но экспроприировать львиную долю ресурсов подвластной страны за счет потребления своих подданных и сжать их в нужное ему время и в нужном месте в "один громящий кулак" он может. Вспомните события в ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польше, беспорядки в городах и республиках СССР... И если влипнут в подобное положение посредством то ли огосударствления, то ли сверхмонополизации, то ли в результате оккупации — самые эмансипированные страны Запада, тоталитарная структура одолеет и их историю. Мы уже видели такой прецедент, как нацизм в стране Гете и Шиллера... И сейчас уже не традиции, а подобная страшным тискам структура держит в плену исторически самые разнохарактерные народы.

Снисходительно и терпеливо нас уговаривают не надоедать Западу своими поучениями. Мы и так не надоедаем, ибо кто нас слышит?.. А. Синявский говорит о том, что Запад не читает ни советской, ни эмигрантской прессы с некоторой пренебрежительной по отношению к нечитаемой прессе интонацией. Я же говорю об этом с горечью и с опасениями и за СССР, и за Запад. Да, нас, к великому сожалению, почти не читают, не слышат. Но говорить, то есть писать, на столь страшные темы мы обязаны так, словно каждое наше слово действительно падает на весы истории, то есть со всей доступной нам мерой личной ответственности...

Газета "Русская мысль" №№ 3406 и 3407, апрель 1982 г.

В ТОСКЕ ПО УТРАЧЕННЫМ АБСОЛЮТАМ

"С пацифизмом и Вы и я боролись как с программой революционной пролетарской партии. Это ясно. Но где, кто, когда отрицал использование пацифистов этой партией для разложения врага, буржуазии?"

Ваш Ленин

Письмо Г. В. Чичерину и поручение секретарям. Написано 16 февраля 1922 г.

В. И. Ленин, ПСС, т. 54, стр. 171.

Документ №277

I

То, что представлено ниже как диалогическое столкновение мнений, есть на самом деле ряд монологов, звучащих на протяжении нескольких лет.

Одна из главных тем современной русской неподцензурной публицистики — обсуждение планетарной необходимости сопротивляться тоталитарной экспансии и анализ форм этого сопротивления. Центральный мотив этой темы — пожелание, требование или совет лишь ненасильственного сопротивления диверсионному и насильственному самораспространению тоталитаризма.

Ниже будут рассмотрены некоторые из подходов к этой проблеме.

II

Я уже писала¹ о том, как удивляет в монологе А. С. Солженицына "Коммунизм у всех на виду — и не понят"² сочетание, с одной стороны, призыва противопоставить экспансии коммунизма "хотя бы стену неколебимой воли", с другой — упоминание и "военных" в числе общественных сил Запада, призываемых возвести достаточно прочную стену на пути тоталитарного нашествия на человечество. Предусмотрено ли в этом призыве и силовое сопротивление насилию? И если предусмотрено, то исключительно ли сопротивление осажденной крепости? Ответа на этот вопрос в упомянутом монологе А. И. Солженицына нет.

А. П. Федосеев предлагает иную модель сопротивления: силой отеснять коммунизм на участках, где атака явно не вызовет в настоящий момент глобального контрнаступления, например, в Латинской Америке, в Африке, кое-где — в Азии. И уж во всяком случае решить окончательно — более не отодвигаться со своих рубежей ни на пядь. Не допускать расширения "большой зоны" и не сужать более и без того ограниченной территории не охваченного ею мира.

Иногда при чтении русской неподцензурной публицистики возникает впечатление, что абсолютизация ненасилия, порожденная отвращением к тоталитарному насилию XX века, начинает ослабевать. Апостолы ненасилия, пришедшие к своему абсолюту путем реактивного отталкивания от абсолюта противоположного, утрачивают целостность своего настроения. Но — не хотят отступить, не хотят расстаться с выстраданным ощущением, что абсолюту должен быть противопоставлен иной абсолют, а не полумера. В действительности же абсолютам противостоят лишь позиции, чуждые абсолютизации. Абсолюты же не взаимоисключаются, а сливаются или переходят друг в друга.

III

Может быть, наиболее трагично и наиболее полно отвращение к насилию проявляется во всем том, что удастся произнести в его мученическом пленении Андрею Дмитриевичу Сахарову. Со многими колебаниями я решаюсь обратиться к позиции благороднейшего из обретших слышимый голос современников наших. Но именно безграничное уважение заставляет остановиться на его взглядах с достаточной обстоятельностью.

А. Д. Сахаров выводит свой постулат принципиального ненасилия из опыта всеобъемлющего насилия, пережитого и переживаемого народами СССР:

"Чрезвычайно важно принципиальное ограничение ненасильственными методами. Такая позиция естественна в стране, прошедшей через все круги ада насилия. Призыв к новым революционным переворотам или к интервенциям был бы безумием и страшным преступлением в неустойчивом мире, стоящем в нескольких шагах от термоядерной пропасти...

...Я убежден, что необходимо... ..чисто нравственное — движение, подготавливающее в сознании людей

основы демократических, плюралистических преобразований, необходимых стране, нужных всему человечеству ради мира на Земле.”³

Я думаю, все, для кого важно происходящее в СССР, убеждены, что такое движение необходимо. Тысячи людей в нем участвуют и вне сравнительно малочисленных героических групп открытого сопротивления, участвуют буднично и повседневно, в бесчисленных дружеских кружках, названных Д. Паниным ”микробратствами”. Вдумчивое исследование окружающей жизни, неподцензурное чтение и просветительство перебрасывают мостики от ”микробратства” к ”макробратству”. Таких островков и клеток в этом интеллектуально-нравственном движении больше, чем кажется.

Но является ли такое движение единственно мыслимой для всех вероятных обстоятельств формой сопротивления тоталитарному насилию? Согласимся, что в нынешнем СССР немедленная попытка революционного переворота ”снизу” была бы безумием, но разве не только в силу своей обреченности на удушение, на провал? В большинстве предостережений от попытки революции в СССР звучит страх перед разгулом разнонаправленного кровавого насилия, которое развяжет такая попытка. Я думаю, что вопрос о том, как потечет антикоммунистическое восстание в СССР, можно пока не обсуждать, ибо массовое восстание не стоит на повестке дня, а узкий заговор может иметь успех, лишь возникнув у самой вершины иерархии власти, что тоже весьма маловероятно. Массовое восстание могло бы стать теоретически мыслимым лишь после широкой, очень длительной, конспиративной просветительно-пропагандистской работы в массах. Но после такой работы резко упала бы опасность того, что восстание потечет по предполагаемому пути кровавого столпотворения. Просвещенные массы приблизились бы к чехословацко-польскому варианту событий. Пока что нет ни достаточно массовой просветительно-антирежимной работы инакомыслящих в толщах народа, ни стихийного порыва масс к революции. Однако это не делает мысль о восстании преступной: скорее всего она просто-напросто несвоевременна. В. Рыбаков недавно очень кстати напомнил нам, ”что власть свергается только свободными или полусвободными людьми и никогда — несвободными”.⁴ Советские люди еще ни внешне, ни, главное, внутренне даже не ”полусвободны”. Их нельзя подвигнуть сейчас на революцию. Им еще не ясно и то, чем такая революция должна была бы заменить

тоталитарный режим. Но значит ли это, что антикоммунистическая революция в тоталитарных странах не только невозможна (сегодня), но и нежелательна? И действительно ли единственной ее формой может быть кровавый хаос? Согласимся: попытка революции со стороны сотни-другой протестантов в огромной империи, действительно, была бы *сегодня* безумием. Но — преступлением ли? Разве что только против себя самих...

Возникает вопрос, который неоднократно ставился польским писателем-антикоммунистом И. Мацкевичем, в частности, в "Голосе Зарубежья": следует ли считать насильственную революцию всегда преступлением или безумием — вне зависимости от ее потенций и от целей, которые она перед собою ставит?

А. Д. Сахаров видит одно из главных достоинств оппозиционного движения правозащитников в СССР в том, что последние не ставят перед собой политических целей, исключают из своих планов идею прихода к власти. Но сделаем фантастическое допущение, что деятельность каких-то анти-тоталитарных организаций в СССР была бы связана со стремлением захватить власть (от чего вполне разумно отказываются не имеющие никаких шансов на успешный захват ее правозащитники). Реалистично ли было бы это намерение и для чего его носителям нужна была бы политическая власть — вот что существенно и что должно было бы подлежать обсуждению в каждом конкретном случае. Общего, годного на все случаи исторической жизни, ответа вопрос о желательности или, напротив, нежелательности революции в тоталитарных условиях не имеет и иметь не может.

Интервенция тоже не может не рассматриваться конкретно, относительно данного участка фронта успешно ведущейся коммунизмом войны за свое мировое господство. Например, чистейшим безумием была бы попытка Чехословакии 1968 года или Польши 1980—81 годов произвести интервенцию против душащего их СССР. Ведь если бы не советская оккупация (или постоянная угроза таковой), в Польше и в других социалистических странах Восточной Европы давно произошли бы антикоммунистические революции, которые при снятии советской угрозы не были бы там ни безумием, ни преступлением. И были в истории послевоенной Европы периоды (например, осень 1956 года), когда Запад мог посредством серьезной военной угрозы заставить СССР убраться из Восточной Европы.

Интервенция может быть и преступлением: таковы, напри-

мер, интервенции СССР в Венгрию, в Чехословадию, в Афганистан, в Польшу⁵ и т. д. ("и т. д." были до и будут после перечисленных акций).

Но вот своевременная мощная интервенция США на Кубу или в наши дни — в Никарагуа не вызвала бы мирового термоядерного конфликта (как не вызвала его акция генерала Пиночета против чилийских коммунистов); зато не позволила бы СССР "ногою твердой стать при" Латинской Америке. И в Азии, и в Африке есть такие уязвимые для коммунизма точки, где интервенция мощных антикоммунистических сил повернула бы ход истории данного региона и, возможно, не только его.

И ведь что главное: нет никакой уверенности в том, что "в неустойчивом мире, стоящим в нескольких шагах от термоядерной пропасти" (А. Д. Сахаров), принципиальная ненасильственность ответных и превентивных действий атакуемой стороны может помочь сохранить хотя бы сегодняшнее сомнительное равновесие. Ведь тотальное насилие имеет конечной целью не свою безопасность в стратегически наиболее выгодных для себя границах, а завоевание и переделку мира (из каких побуждений: идеологических или выживательных, — я здесь разбирать не буду; экспансия — способ существования экономически импотентных режимов). Ему и мир завоевать, и людей переделать по своим потребностям нужно как можно быстрее, так как, по весьма точному замечанию А. Д. Сахарова,

"в исторической перспективе, в условиях мирного и спокойного развития, плюралистические свободные структуры более жизнеспособны и динамичны,"⁶

чем структуры тоталитарные. В мирном соревновании время всегда работает против тоталитаризма. Отлично чувствуя справедливость этого взгляда, тоталитаризм посредством многообразной инфильтрации в жизнь свободного и "третьего" миров не дает им решать их проблемы спокойно и мирно, последовательно, не торопясь. Кремль же спешит. Поэтому:

"миру предстоят очень трудные времена, жестокие катаклизмы, если Запад и определяющие свое место в мире развивающиеся страны не смогут уже сейчас проявить должную стойкость, единство и последовательность в сопротивлении тоталитарному вызову".⁷

О какого рода "сопротивлении тоталитарному вызову" идет здесь речь? В чем состоит последовательность и как должна выразиться стойкость "сопротивления тоталитарному вызову"? Пленный мыслитель советует человечеству серьезнейше над этим задуматься. СССР действует против Запада и развивающегося мира: а) физически отесняя их на удобные для себя рубежи; б) разлагая и соблазняя их своими злокачественными миражами, деморализуя их изнутри; в) организуя и направляя мировой терроризм. А. Д. Сахаров не может диктовать и подсказывать миру конкретные формы сопротивления. Он по коренным качествам своей высокой личности не хочет и не может решать за других. Он пытается лишь разбудить в читателях чувство тревоги и волю к спасению:

"Это относится к правительствам, интеллигенции, бизнесменам, ко всему населению. Необходимо осознание чувства общей опасности — остальное, я думаю, придет, тут я верю в западного человека, в его практический, деловой и одновременно устремленный к крупным целям ум, в его доброжелательность и решительность."⁸

Доброжелательности у западного человека хоть отбавляй. Особенно в тех случаях, когда она не стоит особых усилий. А вот решительности — чем ближе к нему находишься, тем меньше ее в нем видишь. Решительность западных правительств и граждан пребывает в идеально латентной форме.

Я не знаю, как сотворен мир и кто предопределяет его судьбы. Я только верю, что во многом людские судьбы определяются через самих людей, через их выбор, через их действия и ответственность (не во всем, разумеется, но в немалом). В своих размышлениях о нашем тревожном времени А. Д. Сахаров несколько раз говорит о своей надежде на "логику исторического развития". Но не является ли "логика исторического развития" в существенной степени равнодействующей всех личных миропониманий людей — субъектов этого исторического развития? С одной стороны, чем напряженней эпоха, тем судьбоносней становятся для всех и каждого его миропонимание и общественное поведение. С другой стороны, тоталитаризм создает такие страшные ситуации, когда реализация их воли и убеждений для втянутых в "черную дыру" партokratической диктатуры людей становится сверхчеловечески трудной задачей. А. Д. Сахарову,

по его словам, *хотелось бы верить* в то, что и в СССР "сегодня и руководители страны не идут и не могут идти" против стремления людей к миру, "этого самого главного импульса людей", "что они тут искренни, что они из автоматов власти становятся людьми". Эти слова звучат как заклинание, как страстный порыв внушить "автоматам власти" человеческое отношение к вопросам жизни и смерти людей и народов. Горькое "я *хотел бы верить*" — вместо оптимистического "я верю" — свидетельствует о подозрении автора, что "автоматы власти" не очеловечатся даже у края термоядерной бездны. Ведь говорит же он несколько ниже, что

"...и стремление людей к миру эксплуатируется, и это, быть может, самый страшный обман. Оно используется для оправдания всего негативного в нашей жизни: экономических неурядиц, сверхмилитаризации, для оправдания якобы "защитных" внешнеполитических акций — будь то Чехословакия или Афганистан, для оправдания закрытости и несвободы общества, для оправдания экологических безумств — уничтожения Байкала, лугов и пашен, рыбных богатств страны, отравления воды и воздуха."⁹

Что же следует делать Западу в его противостоянии силам, которые даже стремление людей к миру способны цинично эксплуатировать в своих темных целях?

"Страны Запада должны сделать все необходимое, не поддаваясь на шантаж и демагогию — вроде кампании против американских ракет в Европе, — чтобы поддержать, а в ряде областей — восстановить это равновесие. Недопустимо, чтобы другая сторона имела возможность использовать в случае конфликта втрое больше танков и артиллерии, или в полтора-два раза больше атомных подводных лодок, или вдвое большую сухопутную армию, или стратегические ракеты в полтора-два раза большей суммарной мощности (я не утверждаю, что такова в точности ситуация, я недостаточно знаю о фактическом положении дел; но я привел эти цифры, встречающиеся в передачах зарубежного радио, так как они хорошо поясняют мою мысль и дают представление о серьезности ситуации). Пресса, пользующиеся известностью публицисты, государственные деятели должны неустанно разъяснять

это людям, не боясь прослыть "правыми", "агентами военно-промышленного комплекса", "поджигателями войны".¹⁰

Здесь, казалось бы, все понятно: речь идет о боеспособности, во всяком случае — обороноспособности Запада, а значит, и о готовности защищать свои рубежи военными средствами.

Но, с другой стороны,

"вопросы войны и мира, вопросы разоружения так важны, что и в самой трудной ситуации они должны иметь абсолютный приоритет, и нужно использовать все существующие возможности для их решения, готовить почву для дальнейшего продвижения в будущем. И в первую очередь — для предотвращения ядерной войны — основной опасности современного мира. В этом совпадают цели всех ответственных людей на Земле, в том числе, как я считаю и надеюсь, и советских руководителей, несмотря на проводимую ими опасную экспансионистскую политику, несмотря на их цинизм и на владеющие ими догматические предубеждения и чувство неуверенности, часто не позволяющие им проводить более реалистическую внутреннюю и внешнюю политику."¹¹

А. Д. Сахаров принадлежит к тому небольшому числу русских голосов, которые Запад, вернее имеющая уши часть западных политиков и обывателей, *слышит*. Но массовый слух всегда избирателен. Западный слушатель в большинстве своем пропустит мимо ушей грозные предупреждения первого из двух последних отрывков и уцепится за родственные его духу идеи второго.

В словах А. И. Солженицына о "стене неколебимой воли", в предупреждениях А. Д. Сахарова о необходимости "проявить должную стойкость, единство и последовательность в сопротивлении тоталитарному вызову" заключена их общая мысль о том, что Западу отступать далее некуда. Все практические формы взаимоотношений между свободным и тоталитарным мирами должны были бы вытекать из этой категорической аксиомы. Но Запад не слышит предупреждения о смертельной опасности. Зато он услышит и очистит от всех предостерегающих оговорок мысль о том, что "вопросы разоружения... ..и в самой трудной ситуации... ..должны

иметь абсолютный приоритет”, и с готовностью отодвинет в неопределенное будущее призыв к поддержанию равновесия *в вооружении*. С еще большей готовностью он примет дорогую его сердцу идею о “чувстве неуверенности” советских правителей, которых не следует задевать за больное место.

Но с чего бы им все-таки быть неуверенными, если они в своей внешней политике с 1943 года идут, пусть с небольшими и временными отступлениями на отдельных участках, от победы к победе? Кроме того, применительно к своим целям (остаться у власти, расширять свое господство и олигархически пользоваться его плодами) они уверенно ведут самую реалистическую политику. При этом их мускулистая и самоуверенная наступательная политика с первых дней существования ленинской партии и с первых часов существования ее государства строится со всесторонним учетом психологии их противников, извечно страдающих недостатком бдительности и воли к борьбе. Они не раз терялись и отступали, когда в их противниках просыпалась воля к сопротивлению. Сегодня социализм терпит по всему внутреннему фронту своей системы перманентный экономический кризис. Партократические вожди все хуже руководят производством, все меньше обеспечивают нужды своих подданных, все труднее овладевают поведением и сознанием общества. Если бы их запереть извне и решительно не дать им ни на шаг двинуться из своих пределов; если бы перестать им подбрасывать хлеб¹², современную технологию и технику; — внутренний кризис, развиваясь и углубляясь, привел бы их, может быть, за вполне обозримое время к таким сдвигам, которые отодвинули бы человечество от края пропасти. Но все эти “если бы” не имеют смысла по отношению к тем, кто не слышит предупреждающих голосов. А ведь и А. И. Солженицын, и А. Д. Сахаров переводятся на западные языки.

IV

Мировая склонность Запада ко всяческим компромиссам (с собственными угловниками и экстремистами ли, с тоталитарными ли силами и правительствами) и антипатия подсоветских, вырвавшихся или изгнанных из СССР инакомыслящих к силовому сопротивлению насилию имеют разные корни. Запад оберегает убывающую комфортабельность своего нынешнего существования, пряча голову под крыло и стараясь

не думать о последствиях своего благодушия. Подсоветские же инакомыслящие прошли сквозь все круги ада насилия, кто — лично, кто — в историческом опыте своих народов, и поэтому решительно отвратились от насильственных методов устройства мира. Отвратились тем более полно, что в своем недавнем историческом прошлом пережили могучий соблазн радикально-насильственного переустройства общества.

Небольшой литературный экскурс: доктор Юрий Живаго, заглавный герой прославленного романа Б. Пастернака, был в юности бездумно левоориентирован, как вся его среда. Никогда так остро не ощущается невыносимость помех, как в пору активного раскрепощения общества. Несмотря на то, что в России начала XX века шло такое раскрепощение, Юрию Живаго и его поколению революция казалась необходимым и радостным апогеем и торжеством всего того светлого и благородного, что кружило их головы. Поэтому они, как могли, помогали революционерам и встретили их победу восторженно (не только в феврале, но и в октябре). Во всяком случае, они чувствовали себя внутренне обязанными к восторгу перед революцией.

Очень скоро выяснилось, что послеоктябрьская действительность отнюдь не есть продолжение, усиление и очищение лучших сторон их, Юриных родителей и сверстников, его самого, дореволюционного существования, а есть конец и отмена всего того, чем они были живы и чем дорожили до октябрьских событий. Началось нечто страшное, ни на что знакомое не похожее. И повзрослевший доктор Живаго, наблюдающий то с одной, то с другой стороны фронта этот ужас, пришел к выводу, что людям насилие *не нужно ни при каких обстоятельствах*, что добром легче было бы добиться доброго в людях и для людей.

Ошибка, заключенная в рассуждениях доктора Живаго (хотя бы в его первом разговоре с Самдевятовым в железнодорожном вагоне) лексически ничтожна, но семантически грандиозна. Частный, но ценный вывод, что насилие не нужно было *тогда, в тот исторический момент, и в тех ложных целях, в которых его применили к России февраля и октября 1917 года*, подменяется глобальным, но сомнительным выводом о ненужности насилия *вообще, всегда, по отношению к любому объекту*. Этот вывод законен для тех, кто от надежды на сносное посюстороннее человеческое общежитие решительно отказался и мыслит категориями исключительно потусторонними. Но здесь, на Земле, такой, как она есть, этот вывод *в ходе его абсолютизации* начинает рано или поздно работать в пользу насильников и против насилуемых.

Сознание, потрясенное разгулом насилия XX века, оказалось рассматривать эту проблему конкретно-исторически и житейски. Между тем здесь наиболее важны вопросы конкретные: *где, когда, при каких обстоятельствах, в каких целях, в каких масштабах и формах, под чьим и каким контролем* применяется или предлагается силовое сопротивление насилию?

От А. Д. Сахарова при всем его отвращении к применению силы не ускользает печальная необходимость устрашения насильника встречным силовым потенциалом. С огромной тревогой он, пленник атакующей стороны, говорит о том, как изменилось международное соотношение сил в пользу СССР и как

”Одновременно с изменением соотношения сил (это, конечно, не единственная причина) усиливалась скрытая и явная экспансия СССР в стратегически и экономически ключевых районах земного шара. Юго-Восточная Азия (руками Вьетнама), Ангола (руками кубинцев), Эфиопия, Йемен — вот лишь некоторые примеры. Вторжение в Афганистан, может быть, является новым и еще более опасным этапом этой экспансии”¹³.

А. Д. Сахаров твердо уверен, что без равновесия сил

”не будет ни разоружения, ни, быть может, мира”,

то есть, не будучи устрешенным перспективой ответного удара, насильник не остановится.

”Какие именно меры должны применять страны Запада — это вопрос конкретного анализа, с учетом не только военно-технических, но всех стратегических в более широком плане факторов”¹⁴.

Однако тут же звучит знаменательное предостережение:

”Если страны Запада в чем-то ”перегнут” палку (пока нет существенных признаков этого) — СССР будет вынужден принять ответные меры. В принципе с этим тоже надо, конечно, считаться. Но главное сейчас — линия на переговоры, реальное согласование ограничения вооружений с позиции равновесия сил”¹⁵.

Но, может быть, "пока нет существенных признаков этого" (а также, рискну добавить, и несущественных признаков роста агрессивности Запада тоже нет; есть только робкие попытки США с момента прихода к власти президента Рейгана задуматься над восстановлением равновесия, утраченного в эпоху пресловутого "детанта", встреч на высшем уровне и переговоров на более низких уровнях), не стоило бы Запад остерегаться от "перегибания палки"? Западный пацифизм, и собственный, и взращиваемый на Западе Советским Союзом, и без таких оговорок создает настроение и состояние полной духовной демобилизованности, несопротивления любому варианту своей судьбы. Ведь А. Д. Сахаров ранее предупредил, что даже равновесие военно-технических сил не предрешает благоприятного хода событий:

"Для оценки ситуации очень важны особенности СССР — закрытого тоталитарного государства с фактически милитаризованной экономикой и бюрократически-централизованным управлением, которые делают его усиление относительно более опасным"¹⁶.

Так можно ли надеяться *главным* образом (к чему Запад и склонен) на переговоры? Есть ли основания предполагать, что СССР согласится разоружиться до состояния своего равновесия с Западом?

Запад очень склонен в отношениях с тоталитаристами не дразнить гусей (иными словами, не перегибать палки). А ведь речь идет вовсе не о гусях: гусь — вегетарианец, он зашипит и ущипнет до синяка, только если его раздражить и перепугать. Здесь же идет речь о хищниках, которые, дразни их или не дразни, питаются не травой и зерном, а мясом. Чем их дразнили, к примеру, Афганстан или Ангола? Хищник должен бояться пули или капкана. Размягченное же западное сознание, еще и не взявшись за палку, тотчас же уцепится за совет не перегибать ее...

V

Как далеко может нас завести полный отказ от релятивизма в обсуждении проблемы насилия, свидетельствует следующий небольшой литературный эпизод: в статье Г. Померанца "Князь Мышкин"¹⁷ поставлены в субъективно-психологическом аспекте рядом:

”...люди Штерна, убивавшие детей в деревне Дейр Ясин, и люди д-ра Хаббаша (бывшего врача), убивавшие детей в Маалоте, на севере Израиля... ..они переполнены своей обидой, своей обездоленностью, до совершенной неспособности думать о чем-то другом, принять в расчет еще что-то, кроме своей обиды.”

На первый взгляд — проявление высшей гуманистической широты и всепонимания. На второй взгляд — неведение основных фактических обстоятельств того, о чем идет речь (а если ведение, то кощунство).

Во время войны Израиля за его независимость, узаконенную специальным решением ООН, арабская войсковая часть, дислоцированная в деревне Дир-Ясин, преграждала путь израильским войскам.

Израильское командование предупредило о штурме и *предложило эвакуировать мирное население из деревни*. Вскоре арабы подняли белый флаг капитуляции. Израильские солдаты пошли во весь рост в деревню, чтобы принять капитуляцию — и были встречены уничтожительным залпом, под которым погиб и командир части. Затем был штурм, ожесточенные уличные и внутридомовые бои, в которых погибло много мирных жителей деревни. Израильтяне, начиная с Менахема Бегина (см. его книгу ”Восстание”) и кончая левыми журналистами, по сей день часто обсуждают этот эпизод и страдают из-за него.

Что произошло в Маалоте, где хаббашевские террористы взяли в здании школы заложниками, мучили, изувечили и убили очередями в упор десятки детей, все, вероятно, хорошо знают и без меня. Я лишь на днях услышала достоверный рассказ о девушке, потерявшей в Маалоте правую руку. Ее младшему брату, пытавшемуся бежать из здания, террористы хладнокровно прострелили обе ноги; их пришлось ампутировать.

Доходить в своей жажде объективности до отождествления трагического военного эпизода с массовым убийством детей-заложников — справедливо ли? Но такова невольная инерция абсолютных оценок.

Максималистское неприятие силовых действий со стороны диссидентского сознания, ушибленного тоталитарной жестокостью, и расслабленная неготовность к отпору со стороны беспечного западного сознания сливаются в некий общий фон пассивного благоприятствования насилию. На этом фоне большой удачей для человечества было бы не остаться

глухим к тревоге, звучащей в сдержанном монологе великого человека, терзаемого сегодня в Горьком. Мир оказался слишком слаб для того, чтобы заставить хищника не когтить чету Сахаровых.

Не приговор ли это свободе мира?

”Новый журнал” № 146, 1982 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Д. Штурман, С кем вы, мастера культуры? См. в этой книге, стр. 158–208.
2. ”Посев” № 3, 1980, и др. журналы.
3. А. Д. Сахаров, Тревожное время. ”Новое русское слово” от 13–14 июля 1980 г.
4. ”Русская мысль” № 3388 от 26 ноября 1981 г.
5. Осуществленная польской же вооруженной рукой, ведомой рукой СССР.
6. А. Д. Сахаров, Тревожное время. ”Новое русское слово” от 13 и 14 июня 1981 года.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.
11. Там же.
12. Из соображений чистой гуманности Запад достаточно часто шлет безоговорочно медикаменты, продовольственные и другие товары в охваченные бедствием тоталитарные страны. Но если эта помощь распределяется по усмотрению *их правителей*, то она и используется в первую очередь для поддержания *необходимых им* групп и слоев населения — звеньев партийного и административного аппарата, органов госбезопасности, вооруженных сил и т. п.; и таким образом становится добавочным средством для обуздания голодающих и бунтующих масс подвластного народа. Именно это человеколюбивые либеральные демократы и упускают из виду... Последний и, пожалуй, наиболее яркий пример этому — Польша (см. ”Новое русское слово” от 24.12.1981, стр. 1, ”Продовольствие не доходит до голодных”).
13. А. Д. Сахаров, Тревожное время. ”Новое русское слово” от 13 и 14 июня 1980 г.
14. Там же.
15. Там же.
16. Там же.
17. ”Синтаксис” № 9, 1981; стр. 131.



ЭРМИТАЖ

В 1983 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (143 с., статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 180 с.)	6.50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с., 80 илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. "После прошлого". (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры". (145 с., 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 стр.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборн. интервью. 15 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной". (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
КОГАН, Эмиль. "Соляной столп". (Полит. психология Солженицына.)	14.00
КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
ЛЕЙТМАН, Игорь. "Контурь лучших времен". (128 с.)	7.00
ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., 15 илл.)	12.00
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист". (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник". (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Дмитрий. "Записки московского пианиста". (208 с., 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10.00
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника". (Роман, 240 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и других товарищах". (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю". (Рассказы, 230 с.)	8.50
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты". (Статьи, 230 с.)	8.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с.)	7.00
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	9.00

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.



ДОРА ШТУРМАН родилась в 1923 году на Украине. В школе писала стихи, печаталась в детских и юношеских изданиях. После второго курса университета была арестована (1941) за статьи, посвященные творчеству Пастернака и Маяковского, содержавшие попытку следовать не только творчество этих поэтов, но и советский строй. Получила 5 лет с последующим поражением в правах. После освобождения учительствовала в сельских и городских школах Украины. Закончила филологический факультет. Эмигрировала в Израиль в 1977 году и с 1978 работает в советологическом центре Иерусалимского университета. За короткий срок в журналах и газетах Израиля, Европы и США было опубликовано около 60 ее статей, многие из которых были переправлены на Запад еще до эмиграции. В 1981 году издательство Лексикон (Иерусалим) выпустило книгу Доры Штурман "Новый мир": исследование советского феномена в различных плоскостях, циркулировавшее в Самиздате под псевдонимом В. Г. Бродан. В 1982 году в Англии выходит другой крупный труд замечательной публицистки "Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Троцкого, Бухарина". Сборник "Земля холмом" объединяет ее статьи, посвященные проблемам сегодняшней — и завтрашней России. Почти каждая статья построена в виде развернутого комментария или критического анализа книг тех авторов, взгляды которых вызывают сейчас наиболее горячую полемику: Солженицына, Сахарова, Синявского, Зиновьева, Чалидзе, Буковского, Померанца и других.